

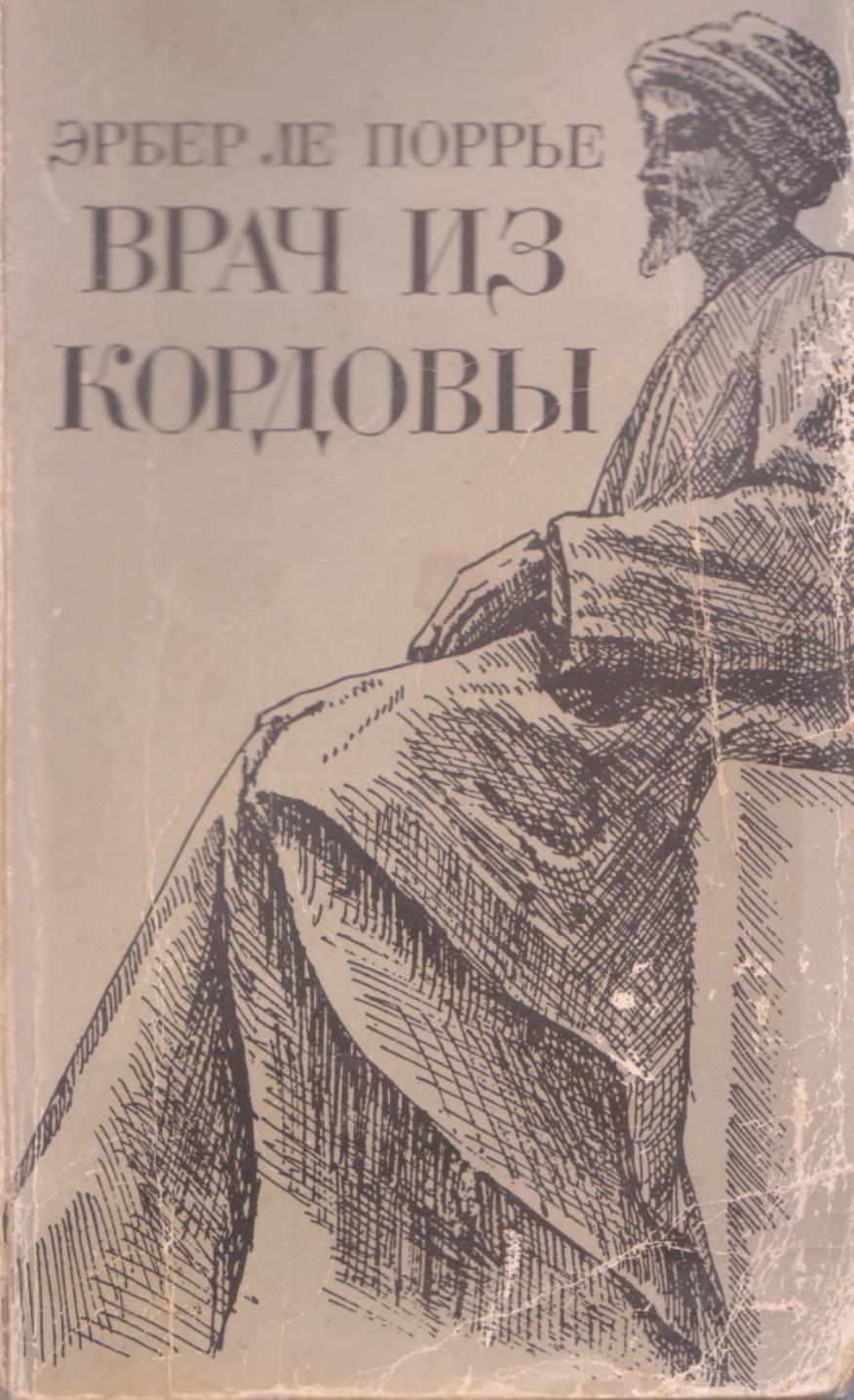
©

Эрбер Ле Поррье

ВРАЧ ИЗ КОРДОВЫ

136

ЭРБЕР ЛЕ ПОРРЬЕ
ВРАЧ ИЗ
КОРДОВЫ



Эрбер Ле Поррье
ВРАЧ ИЗ КОРДОВЫ

Эрбер Ле Поррье

ВРАЧ ИЗ КОРДОВЫ



Библиотека-Алия
1988

צ'דוויקס חביב
ארבר לה פוריה
レンפא מקורדובה
Herbert Le Portier
Le médecin de Cordoue 765

Пер. с французского *P. Ляндо*
Редактор *М. Шкловская*
Оформление обложки *Ж. Ярошевич*
Предисловие *Н. Прата*

ISBN 965-320-022-4

Перевод с издания 1974 г.
Editions du Seuil, Paris

На обложке – памятник Рамбаму в Кордове.

©

All rights reserved

הזכויות שמורות
LIBRARY * RIBBIKA
סניף ספריית אוניברסיטת
ספרינטס * סניף
הוועדה לארץ ישראלי
האגודה לחקירת תפוצות ישראל, ירושלים
וקרן זכרון למען תרבות יהודית, ניו יורק

Printed in Israel

От автора

Моше бен Маймон, называемый также Абу Амрам ибн Абд-Алла, называемый также Маймонид, или Рамбам, прозванный христианами-схоластиками "Орлом синагоги", родился в Кордове в 1135 году и умер в Каире в 1204 году. Его произведения пережили автора более чем на полтысячелетия. Идеи его живут и сейчас в сознании людей, даже если многое из его медицинских, теологических и философских трудов забыто. Во Франции перевод его книги "Наставник колеблющихся" постоянно переиздается; другие работы публикуются в Швейцарии, в Германии, в Соединенных Штатах; 14-томное собрание сочинений издано в Иерусалиме. Список посвященных ему монографий все удлиняется, хотя и с неравными интервалами во времени. Его влияние на развитие человеческой мысли было решающим в течение восьми столетий. Оно сказалось на Фоме Аквинском, Бэконе, Декарте, Лейбнице, Спинозе, Канте. Каждый из них с благодарностью признавал это. Его усилиями греческая философия и наука неслышными шагами пришли в Европу еще до того, как деятели эпохи Возрождения догадались черпать непосредственно из тех же источников.

Это был человек высокого полета, согласимся с этим. Но так ли уж он недосягаем? В той мере, в какой он утверждает свое присутствие сегодня, не является ли он достоянием каждого? То, что

однажды существовало, может существовать вновь, достаточно вернуть ему существование. Мы не из тех, кто проповедует, что история повторяется и потому из нее необходимо извлекать уроки. Но мы считаем, что история строится по ограниченному числу схем (структур на современном жаргоне), которые образуют постоянные для человечества силовые линии; их рисунок можно иногда распутать, и их стоит воссоздать для лучшего понимания, кто мы. Заниматься историей — это значит "воспроизводить для себя сколько хочешь различные типы жизни в прошлом", — писал Ренан^{1*}, глубоко изучивший еврейско-арабское средневековье. Вот что открывает вход воображаемому, если не воображению, интуитивному, если не интуиции, вольности, если не дерзости.

И потом — современность идет за нами по пятам: аналогии возникают там, где их меньше всего ожидаешь. Уже доказано, что можно понять любую ситуацию с помощью другой ситуации; именно такая попытка осуществляется здесь еще раз. Речь идет не о том, чтобы оставить события, даты и места действия там, где их поместила неточная документация, приблизительная хронология и неопределенная топография. Нужно было, напротив, расположить их по воле фальсификатора, чтобы придать им новую силу сцепления. Конечно, общее направление, главные линии перемещений, отношения между реальными лицами, скрытые и явные конфликты были сохранены в той мере, в какой они бесспорны; были также использованы "мелкие истинные факты, заботливо выверенные ссылками на литературу" (Монтерлан)². Но когда близко знакомишься с историографами (не путать с историками!), они, в конце концов, представляются не очень серьезными людьми: они либо переписывают все друг у друга, либо злобно друг

*Примечания см. в конце книги.

другу противоречат. Приходится возвращаться к Ренану и выводить истину "из себя". Следствием этого, конечно, будут возражения эрудитов, экзегетов³, философов, теологов и всякого рода других специалистов. Но это уже их проблемы, а не наши. Здесь, в этой книге, предполагаемая правда истории уступает место незыблемой правде этой истории.

Фустат на Ниле, 4960 год⁴.

Я, Моше Испанец, изгнанный из Иерусалима, старший сын почившего в мире судьи Маймона, на шестьдесят пятом году жизни излагаю здесь свои недостойные мысли; достойные, и ты это знаешь, были высказаны в многочисленных письмах и книгах, которые и доныне расходятся вокруг нашего Великого внутреннего моря⁵, от Багдада до Нарбонны, и за его пределами вплоть до Трира и Кобленца на берегах Мозеля и Рейна. Повсюду, куда бы ты ни пошел, на восход или на закат, частичка меня будет предшествовать тебе, и достаточно назвать мое имя, чтобы по-дружески или с осторожностью перед тобой открылись все двери.

Ты достаточно знаешь меня, чтобы согласиться, что я не кичусь этим. Такого рода кочующая слава никак не может дать мне настоящего удовлетворения. Если вдуматься, можно насчитать десять искренних хулителей на одного притворно восхваляющего, и я давно научился не доверять им, так что ни тем ни другим не удавалось испортить мне настроение. Я продолжал делиться своими познаниями не как богач, бросающий милостыню, а скорее как бедняк, отдающий половину ломтя хлеба и часть своей одежды, не надеясь ничего получить взамен, разве что немного больше света на дорогах мира. Моя единственная заслуга состоит в том, что я никогда не стоял на

пути у глупцов. И сегодня, когда я в плену у старости и когда смерть бродит вокруг меня, я ближе к мраку, чем к свету, заблуждающийся среди заблуждающихся, невежда среди невежд, глупец среди глупцов и более чем когда-либо одинок.

Чему могут послужить все мои знания, освоенные, накопленные, отданые на потребу? Тому, чтобы я считал себя мудрее других? Тому, чтобы я думал, будто я ближе других к разгадкам тайны вселенной и мурлыкал от удовольствия, как кот, что трется сейчас у моих ног? Тому, чтобы я добросовестно заблуждался, но не заблуждался полностью, поскольку я пришел к пониманию своего поражения?

Я думал, что собираю и раздаю золото, оказалось — это песок. Я хотел обуздить свою гордость, а дал ей волю. Я стремился переделать жизнь, а моя жизнь уходит. Значит ли это, что пришло время вкусить глубокую горечь?

Тебя, кто был моим учеником и стал моим учителем, тебя в твоем далеком диком Провансе я заклинаю укрыть в самой глубине твоего сердца и в самых потаенных местах твоего дома те откровения, которые я здесь выскажу. Да останешься ты в этом случае моим единственным наперсником. Пусть никогда не упадет на эту рукопись равнодушный взгляд. Лучше сожги ее, но не подвергай такому позору. Нет такого высказывания, которое не было бы подобно идолу, прозванному варварами-латинянами Янусом⁶, и которое нельзя было бы истолковать превратно. Если мои достойные мысли создали мне так много врагов, к чему могут привести эти, которые я никогда не осмеливался высказать открыто? Уже давно эти недостойные мысли преследуют меня, неуловимые, как тень, хоть я упорно старался держать их вдалеке. Но они так навязчивы, что кажется, будто я силой притягиваю

их, и с течением времени мне становится все яснее, что без них мои рассуждения не будут полными. В священной книге сказано, что мы должны служить истине всем самым лучшим и всем самым худшим в нас, а я следовал этому только наполовину. Какую ценность имела бы уверенность в истине, если бы она не была сдобрена сомнением?

С того дня моего детства, когда я осознал себя отличным от других, через тысячи превратностей судьбы, которым не удалось сломить меня, и до этого позднего часа, когда я пишу тебе, а усталые от свечи глаза мои слезятся, во мне жила только одна страсть: искать истину – не как исчезающий и неуловимый предмет, а как состояние, которое достигается только благодаря настойчивости, терпению и смирению. Как мог, я старался защититься от всего, что отвлекало меня от этого. Скажу ли я, что достиг цели? И да, и нет. Я не плутовал, но и не так много выиграл. По мере того, как мой разум обогащался, не зная устали, а мои знания становились все разностороннее, моя цель представлялась мне все более и более неопределенной, она убегала, как горизонт на равнине, как ветер на море. Я не был бы человеком, если бы не обманывался при этом, если бы, сам того не желая, не обманывал тех, кто ждал от меня сокровенного слова. Поскольку я считался ученым, было очевидно, что я должен обладать знаниями и раздавать их. Так я построил свою хижину в обитаемом мире, открытую всем, кто хотел приблизиться ко мне. Посетителей было много, но хижина не заполнялась, она оказалось слишком велика даже для того старого и пылкого юноши, который всегда предшествовал мне и неотступно следовал за мной, сжигаемый своим рвением.

Впрочем, хижина оставалась не совсем пустой. Может быть, потому, что я считаю тебя исключи-

тельным, я делаю исключение для тебя. Когда ты прибыл в Египет, чтобы посещать мои уроки, твоя необыкновенная любовь к естественным наукам, легкость, с которой ты постигал еврейскую и арабскую литературы, изящество твоих философских построений сразу возвысили тебя в моих глазах. Первое время я упрекал себя за слишком быстро возникшую симпатию, ведь поводов для сдержанности было достаточно. Ты был легко-мысленным, беззаботным путаником. Ты жаждал всего, сразу, без выбора. В твоем поведении и в твоих речах постоянно присутствовала неуловимая насмешка, и это раздражало меня. Ты не был рожден в вере моих отцов, ты был из той расы, которая всегда преследовала нас и проливала нашу кровь. Но у тебя был прямой и гибкий стан, уверенный голос, чистые глаза. Ты читал на латыни и по-гречески, как никто и никогда не умел среди окружающих, и мне было трудно сопровождать тебя на этом пути. Но ты был открыт нашему Закону, как никакой другой чужестранец, и я был вынужден отказаться от своей настороженности, чтобы успеть отвечать на твои вопросы. До тебя у меня было много учеников, похожих друг на друга, ты не был похож ни на кого. Когда тебя не было рядом, я давал себе слово быть сдержаным; как только ты появлялся, мои колебания рассеивались. Принимая во внимание совершенство твоего ума, расцвет юности, серьезность прилежания и все обаяние твоей личности, я долго боролся со своими сомнениями. Но когда всего лишь через несколько месяцев после появления в Фустате ты дал мне прочесть первые макама⁷ твоего сочинения, я испытал к тебе большое и радостное чувство, которое уже никогда не ослабевало. Если бы в моей власти было создать сына по своему идеалу, я хотел бы, чтобы он был подобен тебе; ведь верно, что у каждого мужчины, достигшего зре-

лости, возникает своеобразный соблазн избирательного отцовства. Ты знаешь, что Провидение впоследствии послало мне сына моей крови, моего семени, но его годы идут слишком медленно, а мои — слишком быстро; он еще мальчик, и мои желания пока остаются неудовлетворенными.

Те три года, что ты прожил рядом со мной, многому научили нас обоих. Мой ум, медленный и методичный, твой — быстрый и вдохновенный, представляли собой вместе редкую гармонию. После того, как ты изучил геометрию и логику, астрономию и физику, мы пришли самым кратчайшим путем к ознакомлению с сущностью прорицаний и к медицине. Постепенно я стал замышлять и развивать по отношению к тебе большие планы, основанные на больших надеждах. Не один раз я взвешивал твои достоинства и недостатки, и всегда чаши весов останавливались в положении равновесия. Ясность ума и гордыня, рвение и нескромность наилучшим образом уживались в тебе. В любом деле ты был склонен к крайностям, и то, что оттолкнуло бы меня от другого, неудержимо притягивало меня к тебе. Меня, чьей философией всегда была золотая середина. Истина в том, что не следует мерить всех одним аршином. Твоя судьба рисовалась мне необычайной. Вернувшись в свои края, столь бедные образованными умами, ты выйдешь на первые места: я видел тебя, по меньшей мере, епископом; может быть, даже папой, а для еврейских общин, безопасность которых по ту сторону Пиренеев столь сомнительна, очень важно, чтобы папой стал человек такой души и такого ума, как ты.

В какой-то мере мои планы относительно твоего будущего носили политический характер, к чему отрицать? Ты ведь уже тогда разъяснил мне, насколько сильна в твоей стране тяга к другой культуре, а не к войнам. Ты дал мне понять,

сколь жива у вас память о таком человеке, как Абеляр⁸, по пути которого ты хотел идти, но с большей решимостью, основанной на опыте, а главное — с меньшей наивностью и без бахвальства. Со своей стороны, я считаю, что сделать людей лучше может только знание, а не слепая вера, как утверждают ваши ученые, и именно этим объясняется, что мой народ, призвание которого — знать, не имеет равных себе в мире. Ты согласился с этим, в простых и ясных словах, когда поделился со мной своим убеждением, что мир многое утратил из-за непризнания и искажения откровений иудаизма. В тот день мне захотелось прижать тебя к сердцу; но разве можно заключать в объятия будущего папу? Я ушел и в одиночестве молился о твоей славе. Вероятно, я плохо молился.

В это время у наших ворот происходили значительные события. Франкская Сирия⁹ грубо ринулась к Нилу, но Багдадский халифат выбил ее оттуда и всей своей мощью обрушился на Александрию и Каир. Были тысячи убитых, страшный голод, ужасающие эпидемии, я старался облегчить страдания и беды вокруг, и у меня было много хлопот. Ты постоянно был рядом со мной, пренебрегая опасностью и не боясь заразы; ты умножал вдвое силу моих рук, мой разум и мою печаль; иногда по вечерам, так же, как и я, ты падал духом, сознавая наше бессилие. Ты был несравненно более раним не потому, что я привык к ужасам, к такому нельзя привыкнуть, а из-за того, что возраст придавал мне силу, у тебя же не могло быть этого преимущества. Твоя природная веселость потускнела, и я не подозревал, что это необратимо. Оторванные от занятий, размышлений, поэзии, мы бродили среди обломков прошлого. В глубине сознания я понимал, что этот пароксизм прекратится, — по крайней мере на какое-то время; может быть, ты не знал

этого? Я был слишком занят и не обратил внимания на происходившие в тебе перемены. Но если бы даже я заметил их, мог ли я остановить их течение? Египет агонизировал. В прошлом он мог выстоять, ловко играя на вожделениях, которые сам же и возбуждал. Он вступал в заговоры с греками против крестоносцев, с крестоносцами против турок, с турками против фанатиков из Алеппо и с ними против всех остальных. Он заключал союзы и предавал их в ту самую минуту, когда они создавались. Теперь, ослабленный вековой нищетой народа, коррупцией, сластолюбием, бахвальством, терроризируемый изнутри ассасинами¹⁰, а извне бесконечным соперничеством, Египет оцепенел и с облегчением сдался на волю победителя Юсуфа Салах ад-Дина¹¹.

Мне еще придется говорить тебе об этом человеке, который стал моим покровителем и другом. Но сейчас речь идет о твоем отъезде. Однажды утром ты предстал передо мной с дорожным мешком за плечами, глаза твои были полны слез, голос прерывался. С тебя довольно, говорил ты, ты больше не можешь переносить эту чудовищную жизнь, не можешь видеть попранную невинность, все это отчаяние, эти бесплодные усилия, эту бездну мерзостей. Сердце у меня сжалось, я не задал тебе ни одного вопроса. Я был слишком поглощен горем, чтобы попытаться удержать тебя. Да и что мог бы я сказать тебе, чтобы опровергнуть твои доводы? Ты не принадлежишь к моему народу, тебя не воспитывали, как меня. Из поколения в поколение нас учат принимать как неизбежное обрушающиеся на нас бедствия, но никогда, в самый разгар бурь, в самые черные ночи не давать угаснуть искре надежды. Более двенадцати веков мы ждем главной встречи, которой нельзя пропустить: в будущем году в Иерусалиме¹²; ты же ждешь встречи только с самим собой. Я внутренне

согласился с тем, что ты уходишь из поля моего зрения; но не из моей жизни. Политические надежды, которые я связывал с тобой, рухнули, так как ты предпочел уединение; и я никогда не сожалел о них. Нашел ли ты мир и покой в горах, среди овец и коз? Я почти убежден в этом, и в некотором смысле я завидую тебе.

Да пребудешь ты во здравии.

Я мог бы здесь закончить эту книгу, хоть и задумал ее пространной. Основное уже сказано. Мне осталось только поведать тебе мои блуждания и заблуждения, неизбежное продвижение к поражению и к небытию. Это не так важно. "Какое имеет значение то, что имеет значение только для меня?" — как великолепно написал Аль-Мрхо, поэт из Кордовы; добавим еще другую мысль, которую я разделяю: "Жизнь ничего не стоит, но нет ничего в мире, что стоило бы жизни". Я знаю, ты не будешь столь несправедлив, чтобы предположить, будто я предпринял этот пересмотр своего прошлого с целью подчеркнуть ценность собственной жизни. Я пытаюсь увидеть того, о ком пишу, отраженным в зеркале твоей личности, и для этой высокой цели я нуждаюсь в твоем соучастии. Я знаю, чего мне стоило жить в этом мире. Я всегда расплачивался сполна и не роптал. Я знаю точную цену существованию, вплоть до цены отбросам. То, что я делал, берет начало не от снизошедшей на меня благодати и не от случайности: это было совершено по здравому размышлению, задумано в ясном уме полвека тому назад и продолжалось беспрерывно вопреки всем превратностям. Я поставил себе целью ввести порядок в беспорядок, логику в хаос событий и идей, рациональность в путаницу слов. Другие, до меня, занимались этим; другие, после меня, посвятят этому усилия; это труд мужчины-хозяина, во всем схожий с трудом женщины-хозяйки: как только внимание ослабевает, соби-

рается пыль, и ее нужно удалить.

В некоей мере мне помог наш хаотический век, которому так нужен был пророк и в котором рождались только философы. Этого мало, я согласен. Но все же нужно удовлетвориться этим. Я был, я являюсь одним из них, не хуже и не лучше других. Я много читал, много размышлял, много написал. Именно это было самым высшим моим наслаждением. И если сегодня мои глаза слепнут, то не от новой истины, а от усталости; если моя память слабеет, то не под тяжестью очевидности, а от насыщенности. Мне остается, и это уже нельзя откладывать, упорядочить последнюю загадку — самого себя, свою болезненную и астматическую личность, ядро той жизни, которая ничего не стоит и которой ничто не стоит; то, что имеет значение только для меня и потому не имеет никакого значения. Я не найду покоя, пока не истрачу на это остаток своих сил.

В ближайшее новолуние некий марсельский купец отправляется с грузом шелка из Александрии. Он отвезет все листки, исчерканные мною, Ибн Тиббону¹³, а тот, не читая, доставит их тебе. Другие отрывки попадут к тебе подобными же путями. Существует риск, что из-за пиратства на море и разбоя на дорогах Прованса некоторые части книги могут пропасть. Эти опасения можно было бы умерить, приказав сделать копии, но искушение риска оказывается сильнее. К чему беспокоиться о пробелах в произведении, которое повествует о пробелах в жизни? За моей спиной распыляется время. Ни одна непрерывность не может устоять перед износом. Сама вселенная — это чередование пустот и заполненных пространств. Может ли претендовать на лучшее итог одной жизни? В прежние времена, когда я начинал книгу, я горячо молился, чтобы мне было дано завершить ее. Эта книга закончена уже прежде, чем я начал писать ее, и мне не о чем просить,

разве что о верности моей памяти.

Ты, конечно, заметил, что я ни разу не воззвал к Богу. Его час наступит. Все часы — Его.

* * *

В пору моих юных лет в Фесе состоялся очень серьезный диспут, на который съехались многочисленные ученые из всех известных стран. Мой отец участвовал в нем. Темой обсуждения было — назвать землю, наиболее благоприятную для расцвета человеческой личности. Спор был ожесточенным и длился много недель. Каждый ученый высказывал аргументы прежде всего в пользу своей страны, затем Греции, которая долго оставалась первой; но Персия, королевство Дамаска, Самария, берега Иордана, Нижний Египет, Прованс и даже Париж до конца сохраняли шансы. Вернувшись домой, отец красочными словами поведал общине о диспуте, потому что нам оказали честь: именно Андалусия¹⁴ вышла победительницей при последнем голосовании. Аль-Андалус, моя провинция, безупречная гармония природы и человека; и ее жемчужина — Кордова.

Я не утверждаю, что подобное решение является доказательством, и я очень сдержан в оценке полезности такого рода собраний. Хотя они и поныне в моде, я всегда отказывался присутствовать на них. Там только теряешь время и силы. Я не лучше отношусь и к съездам духовных лиц и политиков. Их цель — улаживать судьбы народов, но они лишь санкционируют уже сложившееся положение, если вообще не кончаются расприами и раздорами. Деятельность постоянно дает нам печальные примеры тому. В конечном счете, я отдаю предпочтение собраниям философов: они позволяют ученым, съехавшимся издалека, лучше узнать друг друга и сопоставить свои

знания. Так, мой отец завязал в Фесе знакомства, которым суждено было впоследствии спасти нам жизнь. Но сейчас речь идет о том, чтобы восславить мой город — Кордову.

Сегодня уже не знают, каким было счастьем, Божьей благодатью жить в нем. Я, родившийся там и насчитывающий десять поколений предков, захороненных в его земле, понимал ли я это, пока не утратил навсегда? Для ребенка, каким я был тогда, эта благодать была чем-то само собой разумеющимся, как растущий у нас в патио цветок гибискуса, постоянно оживаящий вновь и вновь, играющий переливами красок, как шелк утренней зари, с таким тонким запахом, что только пчелы могли оценить всю его пьянящую силу. Нигде впоследствии я не встречал такого сочного воздуха, такой вкусной воды, такого золотого неба, таких мягких теней. Прости мне этот пафос. Он вполне соответствует тому предмету, воспоминание о котором погружает меня в лирическое настроение. Кордова, мой город, я любил и ненавидел его с той же страстью, с какой оплакиваю его из-за себя и из-за него... Кордову того периода нельзя описать, о ней нельзя рассказывать; ее нужно почувствовать, как почувствовал я, когда пробудились мои чувства; нужно погрузиться в нее, как погрузился я. Конечно, и сейчас есть там дома, и улицы, и люди, которые ходят по этим улицам, и так будет еще долго, но Кордовы больше нет и, может быть, никогда не будет, потому что Божью благодать с корнем вырвали фанатики. А благодать не возрождается из пепла.

Кордова, мой город. У меня были права на него, так же, как у него на меня. Принято считать, что Кордову основали римляне. Я предлагаю лучшую версию: Кордову заложили мои очень далекие предки во времена первого вавилонского рассеяния, — подобно тому, как они

создали Толедо и Гранаду. Это они выбрали место в излучине реки; это они построили здесь первое поселение. Несколько семей, гонимых по дорогам древнего мира, крестьяне, ремесленники, купцы, ученые позволили себе здесь минуту отдыха, чтобы перевести дыхание, и вот уже Иерусалим возродился на северном берегу Гвадалквивира, который, как предполагают, назывался в ту эпоху Бетис.

Я вовсе не намерен преподать тебе урок географии и истории. Я всего лишь хочу мысленно вернуться в город моего детства, чтобы прояснить и понять мои родственные связи. Между новыми поселенцами и иберами, жившими вокруг, не было никаких столкновений; во всяком случае, нет никаких следов этого. Кордова стала процветать, превратилась в крепость и открытый город. Земли южнее реки познали плуг и жатву; ремесленники обрели славу, которая привлекла торговцев; в городе пряли шерсть, обрабатывали медь и железо, собирали оливковое масло в кувшины и мед в бочки, а когда наступал вечер, все мужчины общин, молодые и старые, собирались в синагогу учиться, как того требует Закон.

Это еще не был мой город, Кордова, но он уже зарождался. Неважно, что римляне превратили его в укрепленную крепость, что их гений властно запечатлелся в строительстве моста через реку и акведука, отводящего воду с гор к центру города. Знаешь ли ты, что Сенека-ритор и Сенека-философ¹⁵ оба родом из нашего еврейского квартала — иудерии¹⁶? Судьба начала свой путь; теперь ничто ее не остановит.

Мир был в то время, как сито, которое трясет чья-то гневная рука. Возникали империи, сроком на один век и на один день. Что-то зарождалось, но только для того, чтобы умереть, и никто не знал, что это. Иерусалим был разрушен, Афины забыты, Александрия повержена в прах, Исфаган

превращен в легенду, эти города существовали лишь в ностальгических воспоминаниях небольшой кучки людей, беспочвенной мечтой которых было воссоздать город счастья. Кто мог предвидеть, что перст судьбы укажет на Кордову?

Сначала, когда арабы обрушились на полуостров, было великое смятение. Но как только они укрепились под защитой своих алькасаров¹⁷, их жестокость исчезла и проявилась традиционная утонченность. Они принесли с собой ту изысканность вкуса и ту изощренность духовных и плотских наслаждений, которые в прошлом столь много способствовали пышности Востока, вызывавшей зависть Европы. Когда пришел час моего рождения, в Кордове шел третий век мира и просвещения. В истории человечества нет равного примера успешного слияния трех культур, каждая из которых отдавала лучшее для общего возвышения. Особый дух города и специфический дух трех народов, разительно несхожих между собой, без усилий способствовали рождению и сотворению целого. Еврейская община, самая малая количественно, но самая древняя по времени, вложила в общую корзину всю свою склонность к учению и к диалектике, искусное умение своих рук обрабатывать форму; ислам внес суровую поэзию беспредельных просторов, свое искусство жизни и гордую архитектуру, бросившую вызов времени; латиняне дали свой прагматизм и стойкость, свой ритм и свой здравый смысл. Это был брак по любви и по расчету, сливший воедино душу и плоть, свободу и уважение к другим, глубинные течения и поверхностную струю, это было чудо Кордовы.

Ты знаешь мою нелюбовь к иррациональному, и слово "чудо", всегда употребляемое в таких случаях, шокирует меня. Благодать, непрерывно длящаяся в течение трех сотен лет, черпает в себе самой силу, чтобы сохранять и обновлять себя.

Пожалуй, я согласился бы со словом "диво", но ограничив его значение только естественными особенностями явления. Сотворенное жило. Бесспорно, бывали ссоры и соперничество, недовольство и примирения, злословие и злоупотребления, мелочность и преступления. Но ничто не могло отвратить неизбежность дивной судьбы города.

Конечно, арабы были властителями, и в небесах господствовал Аллах Единый. У Кордовы не было выбора. Она стала арабской по языку и платью. Нравы, души оставались чистыми. В конце концов, Бог не обязательно был на том месте, которое Ему предписывал установленный порядок. Дети, игравшие на проезжей части дороги, мужчины, переходившие Римский мост или торговавшие с лотков, женщины, плавно скользившие мимо белых фасадов, кто они – евреи, христиане или мусульмане? Никто не мог сказать этого. Это никого не заботило. Все они были обитателями Кордовы, даже если прибыли недавно из Тетуана или Сарагосы. Да, город образовывал три концентрических полукружия по течению реки: у воды – испанские мосарабы¹⁸, далее – арабы-мусульмане, в центре – иудеи; но улицы были схожи, дома одинаковы, люди неразличимы, и никогда у меня не было чувства, что я перехожу рубеж, когда пересекаю город из конца в конец, никогда я не чувствовал себя не дома, чужим. Все жители Кордовы переняли у арабов ту гордую осанку, что заставляла иногда считать мужчин надменными, а женщин – недоступными, но нет ничего более поверхностного, чем это мнение. Кордова создала народ, который никогда не склонял головы. В часы молитв все лица были повернуты к востоку, и, может быть, смотреть всем в одну сторону было знаком самого глубокого единения. Треть города праздновала день отдыха по пятницам, треть – по субботам, треть – по воскресеньям, и никто не

противился этому. Существовал даже уговор с кастильцами никогда не сражаться в эти три дня, и я не помню случая, когда бы это соглашение было нарушено. По большим праздникам, когда отмечали сбор урожая, весь народ дружно собирался на площадях под звуки тамбуринов и гитар. Разнообразная и единая, Кордова наслаждалась свободой.

Кордова не была ни богатой, ни бедной, хотя на крайних точках ее жизни были и богатые, и бедные. Каждый ел досыта, утолял жажду вволю и находил чем прикрыть наготу. Если где-нибудь скапливались деньги, они сейчас же шли на пользу городу. Даже халиф брал только то, что было необходимо для его содержания. Построенный им в шести милях от города дворец служил скорее не для его нужд, а для престижа, и Аль-Мансур, стыдясь такой роскоши, приказал сровнять его с землей; порфир Карфагена и Нумидии соорудил городскую библиотеку, самую богатую в мире.

В то время, когда в ваших северных столицах жители тонули в пыли или шлепали по грязи, в нашем городе не было ни одной не замощенной улицы, и это было сделано не только для удобства ходьбы, но и для услады глаза: кирпичи, плиты, куски лавы были выложены причудливыми арабесками, разноцветными звездами или в шахматном порядке, что вызывало восхищение чужеземных гостей. Не было ни одного дома без патио, и ни одного патио, в котором бы не сверкал водоем или не журчал фонтан, где бы не цвели пальмы, миры и бугенвиллии.

Люди пустыни, арабские завоеватели относились с почти религиозным поклонением к потокам воды, изливавшимся с гор. Остатки римского водовода они превратили в разветвленную сеть, благодаря которой весь город стал цветущим садом. Вокруг Кордовы на жирной почве наносных

берегов прекрасно росли оливковые и гранатовые деревья, рис и сахарный тростник, хлопок и пряности; по причине этого изобилия в город стекались потоки золота; а ведь я еще ничего не сказал о слепящей белизне фасадов, об искусно выкованных витых балконах, о великолепии общественных зданий, ничего не сказал о наших многочисленных школах, о наших парках, засаженных елями и кипарисами, о нашем университете, самом прославленном в мире, где толпились в любое время года три тысячи студентов, прибывших из разных стран. Согласимся с чистой совестью, что на диспуте в Фесе не была совершена ошибка.

Мне достаточно на мгновение опустить веки, и я возвращаюсь туда. Пойдем со мной, я поведу тебя. Вот иудерия с прямыми, узкими улицами, покрытыми каменным ковром. Трусят мулы, бегают собаки, быстрой и легкой походкой проходят мужчины в тюрбанах, проезжают повозки. Почти у каждого ворот слышен шум ткацких станков, лязг молота, разглаживающего медь, дыхание кузнечных мехов, скребок бочара; здесь поток горячего воздуха говорит тебе о том, что в печи варят стекло; там запах свидетельствует о том, что дубильщик обрабатывает кожу. У этого окна ювелир с лупой в глазу обтачивает драгоценные камни; а у того — портной сшивает части кафтана. Слышишь за стенами визгливые голоса женщин? Они ссорятся, и только они сами знают из-за чего. На квадратной площади крестьяне разложили на прилавках перец, салат, баклажаны, а над ними повесили сушить фиги, финики, виноград.

Где-то вдалеке муздин сзывает на молитву, и одни бросаются на колени и прикасаются лбом к земле, бормоча что-то; истинные ли то мусульмане или новые, лжеобращенные, — не знает никто; в то же время другие остаются стоять; отступники

они или фанатики — никого это не заботит. Ни купля, ни продажа не прекращаются; набожность не затрагивает основных городских занятий. Неклюжие из-за тяжелых корзин, проходят женщины, треща без умолку.

Ты — уроженец севера, и я вижу и слышу, как ты хлопаешь себя украдкой по щекам: слишком белая кожа привлекает мошку, и ты клянешь ее. Ты не знаешь и не можешь знать, путник с холодной кровью, что мошки — тоже Божьи создания и что они тоже принимают участие в нашей жизни: благодаря им в небе слышен птичий щебет. Не правда ли, ты, так же, как и я, исполнен восторга перед этой истинной слаженностью и гармонией? Ты, как и я, с беспокойством думаешь, что такое согласие места и людей слишком хрупко, чтобы быть долговечным? Безусловно, ведь мы глубоко симпатизируем друг другу. В детстве и в юности, когда я жил в Кордове, и даже когда я бежал от ее чар, ставших невыносимыми, не было вечера, когда бы, ложась в постель, я не думал о бедствиях, которые могут назавтра внезапно обрушиться на мой город. Эти мысли трудно понять тому, кто не несет в крови ужас перед гонениями.

Простое рассуждение показывало мне очевидность того, что мы живем в период хотя и длительного, но проходящего благоденствия. Я упомянул триста лет мира и просвещения? Это верно только отчасти. Мой дед вынужден был бежать из своего дома, изгнанный берберами, и вся община тогда рассеялась по полуострову, как спугнутая стая воробьев. Наши молитвенные дома сровняли с землей. Случилось так, что ярость новых властителей длилась недолго, и люди вновь поселились в иудерии; мой дед тоже вернулся в ее стены. Но жителей Гранады предупредили слишком поздно, и в развалинах разграбленного еврейского квартала остались тысячи убитых.

Еще раньше римские завоеватели распространяли свое право на Кордову. Захватчики-вестготы навязали по всей ее территории свои законы. Покорители-арабы установили свое непререкаемое господство. Основателей города, нас, — только терпели. Понимаешь ли ты теперь мои опасения, тревогу юноши, так далеко зашедшего в своей любви к этой стране, к ее климату, к ее красоте?

Но вот и дом моего отца. Войдем. Кованая железная решетка ворот, выходящих на улицу, как раз открыта: нас ждут. Длинный тенистый коридор с отполированным временем каменным полом, с едва ощутимым, как воспоминание, запахом жареного лука, принимает нас под свою сень. Уличный шум затихает, ему нет входа сюда. Одна отклеившаяся плитка, третья после порога, неожиданно покачнулась под ногой: каждый раз, когда я проходил по ней, я давал себе слово напомнить отцу позвать каменщика; но едва сделав еще шаг, я тут же забывал о своем обещании. И вдруг — сине-зеленый ослепительный свет большого патио, главный водоем, выложенный фаянсом цвета морской волны, в нем журчит серебряная струя воды, а вокруг пальмовые и лиановые заросли, среди которых, как сотни порхающих, отливающих всеми цветами радуги необыкновенных бабочек, покачиваются цветы гибискуса. В жарком, но свежем воздухе пленницами жужжат мухи, в ветвях щебечут пташки. Хлопает кожаный занавес: это Элизé, наша служанка, горбатая и некрасивая, с непокрытым лицом, несет тебе, как символ гостеприимства, запотевший кувшин с холодной водой и оловянную чашу, полную варенья из роз. Она прикладывает узловатый палец к своим тонким губам и указывает острым подбородком внутрь дома: там мой отец, как всегда, занят серьезными делами. Необходимо соблюдать тишину.

Ты думаешь, что возвращение в этот дом

взволновало меня? Мое старое сердце не дрогнуло. С тех пор было слишком много смертей, слишком много страданий, слишком много равнодушия. Кордова была уютным ложем, где было приятно спать и грезить о поэзии, о науке, о братстве; потребовалось полвека, чтобы я понял, что это были куцые грезы. Впрочем, в конечном счете обещания, таившиеся в свежести зари, не были лживыми. Поэзия, наука и братство тоже сияли в небе моего города; не на своем месте находился лишь удивленный молодой человек, каким был я тогда. Я созерцал свое становление; в действительности я спал. Я готовился сжать в кулаке весь мир; в действительности я грезил. То конкретное, что было в моей помолвке с Кордовой, гнездилось в духе, а не в плоти. Мы — народ памяти. Устная традиция торжествует у нас над письменной. Большое раздробленное тело нашего народа пронизано неизгладимым знанием. Вот еще один тезис, который вы, эдомитяне¹⁹, не можете постичь: зло, причиненное одному из нас, попадает в лабиринт, откуда нет выхода. Уже давно он полон до отказа, нет места для новых страданий. Как свет неразрывен с тенью, так наша память неотделима от забвения. Забыть — не значит не знать; это значит не думать об этом. В то время, как иудерия в Кордове расширялась и наслаждалась длительным и преходящим благо-денствием, тевтоны истребляли нас на Рейне; франки — на дорогах Византии; берberы — в долинах Атласа; в Риме, в Кастилии, в Провансе плевки дождем сыпались на наши головы; в Вавилоне и Салониках нас продавали как рабов. Ветры, дувшие над Кордовой, доносили до нас крики и плач. Наша иудерия знала, но не думала об этом. Мы постоянно собирали пожертвования с целью облегчить где-то самую беспросветную нужду, выкупить раба, заплатить по требованию слишком нетерпеливого монарха. И в то же

время мы украшали свой город, свои дома, совершенствовали свои душевые порывы и свой разум; мы в изобилии давали миру поэтов, врачей, астрономов, философов в обманчивой надежде, что в один прекрасный день мир спохватится, что мы ему нужны. Иногда мир спохватывался, — когда он был в печали или в болезни, когда в небе появлялась комета или когда диспут о наличии пола у ангелов заходил в тупик. Тогда он брал у нас наши доходы, наши сбережения, а когда опасность проходила, он снова брал наши жизни, и цикл начинался вновь.

Было ли важно, что Кордова была вне течений, что в нее прибывали отовсюду с целью приобрести самые богатые шелка, самые мягкие ковры, самые сверкающие драгоценные камни, самые надежные знания? Это было важно, бесспорно; но и незначительно не в меньшей степени. Когда я восстановливаю золотое обрамление моего детства, я вижу книжку с картинками и на ее страницах молодого человека, серьезного и печального, гордого подвигами своего города и подвигами, к которым он втайне готовится сам, объятого страхом при мысли, что все может оказаться неправдой. Без сомнения, нужно переделать весь мир, вступить в состязание с самим Создателем, выявить в себе частичку Бога. Эта идея пробивала себе дорогу испокон веков; она сверкнула на мгновение в глубине нашего водоема; потом угасла.

* * *

Ты не мог знать моего отца — он умер незадолго до того, как ты прибыл в Фустат. Я стал таким, какой я есть, благодаря ему и вопреки ему. В моих воспоминаниях он стоит вне времени, ободряющий и пугающий, существо-

вавший до меня и существующий во мне, все время возрождающийся старец. Как ты, безусловно, знаешь, он был князем иудерии²⁰ в Кордове. Эта должность перешла к нему от его отца, а тот унаследовал ее от своего. Она по праву переходила к самому мудрому и справедливому, и в течение двухсот и более лет община единодушно отдавала в этом предпочтение роду Маймонов. Старший сын, я тоже должен был когда-нибудь получить эту должность. Отец не считал меня достойным ее. У меня не было никакого желания принять ее.

Только здесь, в Египте, увидев величественные монолиты, о которых мы и понятия не имели в Испании, я сумел составить себе более верное представление об отце. В Кордове я сравнил бы его с оливковым деревом. Он был плотный и коренастый, как ствол оливы, и, как ее редкая крона, давал скучную тень. Я хочу сказать этим, что искусный и умелый в словах и поступках, он был полностью поглощен своими обязанностями, неизменный и неизменяющийся, много раз повторяющийся и никогда не противоречащий себе. Мое первое впечатление об отце сливается с последним: человек, сознающий свою значительность, невысокого роста, с небольшим округлым брюшком, держащийся очень прямо, слегка откинувшись назад, с пышной квадратной бородой, с густыми бровями под ермолкой или тюрбаном. Он ходил мелким мерным шагом, скользя в мягких туфлях, почти не сгибая колен, как если бы даже при ходьбе это было недостойно его положения. У него был морщинистый лоб, тяжелые веки, и его пристальный взгляд был равнозначен наставлению. Он говорил мало и дома или в Совете произносил только самое необходимое. Я не припоминаю, чтобы он проявлял нетерпение или дал волю гневу. Если что-либо было ему не по нраву, он отворачивался и не возвращался

больше к этому, разве только его вынуждали обстоятельства. Испытывал ли он когда-либо в душе неуверенность, раздвоенность, сожаление? Возможно, но никогда не показывал этого. Он высказывал только готовый результат, бесповоротные заключения, безапелляционные мнения, безоговорочные предсказания и все это — короткими и тихими фразами, похожими на его шаги. Чувствовал ли он когда-либо усталость, болели ли у него зубы или живот, были ли ночи, когда сон бежал его? Я никогда не знал этого. Однажды утром, в Фустате, он не вышел в обычный час из своей комнаты, и я нашел его уже застывшим в постели. Уход из этого мира он сумел сделать таким же, как свое поведение в жизни, лаконичным и решительным.

В то время наша иудерия насчитывала около двадцати тысяч душ, и все они в какой-то мере занимали место в сердце моего отца. Не было ни одного более или менее значительного события в общине, которое было бы неизвестно ему и не входило бы в его компетенцию. Он знал имена всех постоянных жителей, знал, насколько прочны союзы в одних семьях и глубоки раздоры в других, знал о добрых и дурных поступках того или иного человека, знал, кто лгал и кто говорил правду, знал причины прибытия одного и мотивы отъезда другого. Все обыденное и чрезвычайное стекалось к нему, как потоки воды в город. Не было такого дня, чтобы люди не приходили к нему просить совета, чтобы не ходатайствовали перед ним о разрешении спора или ссоры, чтобы не представили на его суд какое-либо дело совести. Если у него не было готового ответа, он закрывался на час или два и искал его в священных книгах. Ты знаешь, что люди Востока обладают исключительными способностями запоминания. У моего отца была фантастическая память, она стоила целой библиотеки. Раз прочитав

какую-либо рукопись, он знал ее от начала до конца. Те часы, которые другие использовали для отдыха или развлечений, он посвящал учению. Чтобы сохранить живость мысли, он соблюдал раз в неделю полный пост; правда, он с лихвой восполнял это в остальные дни, когда, быстро и не отрывая глаз от книги, поглощал приготовленную Элизе и поставленную перед ним обильную пищу. Это был не человек, а рабочий механизм.

Таково было полученное им традиционное воспитание: никогда не иметь личной жизни, никогда не уступать своему желанию, не поддаваться приступу гнева, порыву нежности. Единственной роскошью, которую он позволял себе, был уход за телом, обряд принятия горячей ванны, регулярное посещение цирюльника, лелеявшего его квадратную бороду, ежедневная смена белых полотняных одежд под вычищенным, выстираным, выглаженным кафтаном, безупречное положение головного убора, и то потому, что в этой области владычествовала Элизе, да еще потому, что недостойно было бы допустить возможность порицания по отношению к внешнему виду князя. Он принимал у себя в доме приезжих чужеземцев, привозивших рукописи, послания, устные вопросы, и поэтому дом должен был содергаться в полном порядке – для поддержания чести общины. Будучи пастырем, отец не интересовался ничем, кроме своей паствы. Он говорил, что моральное, политическое и юридическое руководство получил в наследство по прямой линии от Патриархов, и это, вероятно, не было преувеличением: история рода Маймонов теряется во тьме веков.

Я прожил тридцать лет в тени этого человека, и я не помню ни одного интимного разговора с ним. Я называл его Рабби и обращался к нему в третьем лице; он называл меня Сын дочери резника; я объясню тебе позже, почему. Наш образ жизни был из самых скромных. Отец был

абсолютно безучастен к этому, ибо он с презрением относился к материальным и жизненным благам. Он любил говорить, что мы бедны. Это понятие заслуживает разъяснения: бедность в Кордове, конечно, была не тем, что бедность в Провансе или в Египте. Это означает лишь, что отец не получал никакого вознаграждения ни от общины, к которой принадлежал, ни от частных лиц, которые к нему обращались. Согласно традиции исключалась возможность использовать Тору, дабы возделывать свой сад.

Единственным орудием труда, которым отец умел пользоваться, было Писание, а это умение напрочь отвергало всякую выгоду. Он никогда не соглашался ознакомиться со светскими науками, он считал их ненужными, когда они повторяли известное, и вредными, если они предлагали нечто, противоречащее Закону, ибо только Закон праведен. К тому же, обязанности и учение не оставляли ему времени заниматься какой-либо прибыльной деятельностью.

У него не было доходов и не было того, что можно было бы назвать нажитым имуществом. Конечно, дом принадлежал ему и мул тоже. Еще мы владели виноградником, площадью в десять тысяч квадратных футов, расположенным в двух часах ходьбы к югу, вдоль реки; там были посажены и фруктовые деревья. Эта земля, распаханная в далекие времена кем-то из Маймонов, обрабатываемая потомками Маймонов в течение веков, была утверждена в качестве нашего владения королевской грамотой, которую отец бережно хранил. С этого участка мы получали вино на субботу и на Пасху, персики весной и виноград осенью; этот же небольшой доход шел на уплату жалованья Элизе — по крайней мере в те годы, когда небо не было слишком сурово к почве. Мой дядя Йоад выплачивал нам небольшую сумму из того, что оставалось от приданого моей

матери; Иехуда ха-Леви²¹, наш близкий сосед, который вел роскошный и расточительный образ жизни, делился с нами излишками своей изобильной кухни.

Бедность, конечно; но к ней относились с великолепной беззаботностью. Не нужно было интересоваться, откуда попадает масло в наши светильники; каким образом в часы приема пищи стол оказывается накрытым; как наполняется кормушка мула; кто приносит хворост. Все, что было необходимо, естественным образом появлялось и удовлетворяло потребности. Можешь ли ты вообразить себе более завидную бедность?

Стороннему посетителю наш образ жизни должен был казаться пышным, поскольку поток приношений проходил через наш дом и постоянно задерживался в нем. Каждый нуждавшийся в познаниях моего отца не представлял перед ним с пустыми руками, и каждый — даже самые обездоленные, и особенно они — считал своим долгом сделать так, чтобы даяние не было скучным. Не было дня, когда бы в наш дом не поступала серебряная или медная посуда, штуки полотна или шелка, меха или драгоценности; все это складывалось в сундуки, упрятывалось в ниши, настипалось в углы, подвешивалось на балки, создавая фантастический эффект. Каждую неделю отец приказывал отнести одну или две корзины этого добра в кладовую общины. Чужеземные гости покидали наш дом кто с перстнем, кто с золотой цепью. Я никогда не слышал, чтобы отец получил от этих предметов выгоду лично для себя, чтобы он извратил смысл даров. Хранитель Закона и излишков богатства, он находился на перекрестке, откуда исходили, излучая свет, справедливость и мудрость, щедрость и взаимная поддержка нашего народа.

Вот какой человек находился передо мной, когда я впервые открыл глаза, и я не видел его,

ибо сам он едва удостаивал меня взглядом. Здесь таится великое недоразумение, тяготевшее над моей судьбой. Я чтил своего отца, как предписывает Закон; я не любил его, потому что в нем не было любви ко мне. Кроме того, что в его всегда занятом уме вовсе не было места для меня, он затаил против меня обиду. Я не был его сыном; я был сыном дочери резника, которая была его женой. Вероятно, поэтому он был несчастен, но никогда не показывал этого; чувствовался только легкий налет грусти в нем, что причиняло мне боль.

Когда моему отцу исполнилось сорок лет и настало время задуматься о потомстве, он попросил руки дочери Менахема, резника. Все разумные люди иудерии считали этот брак мезальянсом. Только дочь образованного человека, ученого достойна была занять место в доме моего отца. Почему же он, всегда усердно чтивший обычай, отклонился от них в этом выборе? Я не хочу входить в тайны случайности и Провидения, то и другое вне моей компетенции; но я знаю, что из этого источника жизни на меня снизошла особая благодать. Данный случай не относится к философии, он зависит от вполне реального стечения обстоятельств.

Если отец не взял себе жену из соответствующего сословия, то это потому, что не нашел в этом сословии такой, которая обладала бы достаточным приданым, чтобы вступить в союз с человеком, не имеющим никаких доходов, никаких поступлений. Образованные и ученые люди Кордовы относились к материальным благам свысока; исключением были только некоторые расточители, как Иехуда ха-Леви, холостяк и большой мот. Еще одна причина ограничивала выбор: на всей территории Андалусии ислам нарушал демографическое равновесие из-за обычая полигамии. Мусульманская знать охотно искала руки наших девушек, более

привлекательных и горячих. Разве сам пророк не подал примера, взяв в жены Рэхану и Кафиву, пленниц Медины? Наши Советы мудрецов не противились таким бракам, ибо они скрепляли союзы, важные для будущего. Конечно, это был политический расчет. Он входил в систему законной самозащиты. Разве у такого меньшинства, как наше, одновременно открытого и сплоченного, зажатого в месиве различных народов с непредсказуемыми и быстрыми, как взрыв, реакциями, нет оснований заботиться о своем выживании и о своей безопасности? Ведь процветание наших мудрецов тоже частично проистекало от репутации наших ювелиров, суконщиков, торговцев, врачевателей, философов. Следовало ли налагать запрет на вклад наших девушек в общее дело? Тем более, что их не приходилось упрашивать: жизнь в богатом арабском доме была несравненно приятнее, чем среди нас. Но в итоге сераль прореживал наши ряды и в них оставались пустоты. Мой отец ждал долго, следовательно, долго колебался. Может быть, у него также было намерение освежить кровь Маймонов, сгустившуюся в результате ограниченной и длительной эндогамии, поскольку большинство ученых издавна находились в дальнем родстве между собой. И, наконец, наименее вероятным я считаю, что он испытал истинную склонность к еще несформировавшемуся существу, каким была моя мать: ей не было и пятнадцати лет, когда ее повели под брачный балдахин – хуппу. Ей не было и двадцати, когда она умерла. Между этими двумя главными событиями ее жизни мой отец выполнил свой долг, и она родила ему двух сыновей, меня, старшего, предназначенному учению, и Давида, младшего, предназначенного торговле. Страстное желание иметь потомство улеглось. Отец мог больше не думать об этом, и он перестал думать. Не могло быть и речи о том, чтобы поддерживать

отношения с членами семьи Менахема, с этими простолюдинами, хотя они и выплачивали нам ренту и отец принимал ее, как нечто само собой разумеющееся. Жизнь приобрела прежний порядок, не считая того, что этот порядок не принимал меня, а я не принимал его.

Я забыл, какой я видел свою мать; но ее образ живет во мне, и сегодня еще я могу воспроизвести его. Сотни раз я расспрашивал о ней ее брата Йоада, с которым виделся тайно. Он выдавал мне маленькие разрозненные детали, которые я заботливо складывал в копилку памяти, кусочек — сюда, кусочек — туда, и все это в конце концов сплавилось воедино, создав представление о человеческой личности. О непокорных волосах, узком, полумесяцем, лбе, миндалевидных глазах, задорном взгляде, раскатистом смехе, легкой походке... Счастливое слияние Востока и Андалусии! Как я гордился, что в том человеке, которым я должен был стать, находилась частица всего этого! Что за важность, что она не научилась хорошо читать и еще меньше писать, что она должна была дрожащей рукой поставить закорючку под контрактом, который связывал ее на всю оставшуюся жизнь; зато, кроме этого, она умела все: бегать по полям, вкусно грызть зеленое яблоко, петь на закате солнца, выпускать кровь из барана и разделять его, печь хлеб, лгать и говорить правду в зависимости от обстоятельств, угадывать погоду, следя за полетом птиц. Та интуиция и тот здравый смысл, которые я проявил в учебе, достались мне от нее. Мой отец ошибался: я не был сыном дочери резника, я был сыном именно этой женщины, этой дочери резника. Я был также племянником Йоада, простолюдина, который научил меня важнейшим вещам.

Теперь все данные на месте. Можно перейти к маленькому Моше.

Однажды ты попросил меня дать краткое определение иудаизма, и я не смог. Сегодня я могу: иудаизм — это та культура духа, где один и тот же глагол обозначает "познать" и "любить"; где достаточно другого, тоже одного, глагола, для выражения значений "поглощать" и "учиться". Это не случайные совпадения или омонимические игры; это единые действия. "Учить", "познать" — это физическое поглощение, объятие, плотские отношения между субъектом и материей. Это также наслаждение, испытываемое от удовлетворения ожидания, того ожидания, которое достаточно пробудить, чтобы оно разгорелось.

Путь к познанию не в том, чтобы накопить знания, как другие накапливают богатства, а в том, чтобы осознать реальность собственного существования в этом мире и уметь судить о ней, в том, чтобы воссоздать в себе тайну сотворения. Если бы это было не так, разве смог бы такой ребенок, как я, вынести существование, которое он обязан был вести по традиции?

У меня было еще только двадцать зубов в рту, я еще нетвердо держался на ногах при ходьбе, едва мог построить фразу, но я уже вставал до зари и, не проснувшись окончательно, весь сжавшись от ночной прохлады, должен был сам находить дорогу в школу, куда в тот же час сходились, пошатываясь, и другие мальчики того же возраста. Это квадратная комната, побеленная грубою известкой; в ней стоит легкий запах затхлости и прогорклого масла. Вдоль стен расположены деревянные скамейки. Маленький народец рассаживается под пронизывающим взглядом учителя, пробующего длинные розги на полах своего кафана. Берегись, кто позевывает: достанется тут же. Достанется и тому, кто почесывает

волосы под ермолкой, и тому, кто запустил палец в нос. В идеале дети должны были бы быть из воска или теста, а не из плоти и крови; но это был бы ложный идеал: испытание лишилось бы смысла. Как раз плоть и кровь включаются в обучение. А не слишком ли строг учитель? Праздный вопрос: он — учитель, его роль — учить, чтобы учение стало мастерством. Нетвердым пальчиком малыши водят по строчкам, их чистый взгляд схватывает буквы, цифры, слова. Звуки прокатываются между языком и нёбом, с трудом проходят между губ, расслабляются в гортани, ребенок глотает их, чтобы освоить навсегда.

Ты думаешь, что мальчики в школе учатся только читать? Они учатся есть фразы — сначала безвкусные; потом, когда их смачивают слюной, обсасывают, прожевывают, — восхитительного вкуса. Да возлюбишь ты Господа Бога всем сердцем твоим и всеми твоими низменными побуждениями! Что означает этот наказ? Разве можно не любить Еgo? А как узнать, что участвует все сердце, а не часть его? Среди значений слова "сердце" — мысль, разум, воля, сила, мощь — какое предпочтеть и почему? Что такое побуждение и по каким признакам узнать, что оно низменное? Подавить низменные побуждения — не значит ли это лишить Бога части принадлежащей Ему любви? Так проходит утро и целый день. По мере того, как бегут часы, исчезает усталость, и ребенок, захваченный магией слов, с наступлением темноты, бодрый и свежий, возвращается в отцовский дом, где ему как раз хватает полной снов ночи, чтобы переварить то, что он поглотил.

В шесть лет, если он не идиот, не слепой и не глухонемой, он будет обладать умением читать и писать, добром, которое никакие преследования никогда не смогут отнять у него. Пусть будущее сделает из него ремесленника или врача-философа,

он уже скрепил союз со Словом, наш священный союз. Будь он богат или беден, могуществен или ничтожен, все равно он будет каждый день своей жизни продолжать диалог с Невыразимым, он уже стал на этот путь. Я предлагаю тебе для размышления следующую фразу из Талмуда: *"Мир висит на дыхании детей, которые ходят в школу"*.

Я был таким малышом. Одним из тысячи. На каждой улице иудерии была школа, и в ней висело дыхание мира. Мы знали, что дыханию остальной части города был присущ другой ритм. Вокруг нас молодые арабы пользовались своей изумительной памятью для заучивания наизусть сур и хадисов²², реже встречались изучавшие грамоту. Что касается испанцев, то у них совсем не было школ, кроме той, где обучали будущих писцов. Молодые пастухи и погонщики ослов учились непосредственно у природы и укрепляли мускулы в потасовках.

Я не утверждаю, что в том возрасте я уже мог оценить особенности нашего народа. Для меня не существовало другого образа жизни, кроме как пойти по следам, оставленным нашими предками. Я шаг за шагом ступал по великому пути духовного развития нашего народа, не догадываясь даже, как это необычно, настолько это было принято. Случалось ли мне испытывать тоску по огромному открытому небу, по тропинкам, убегающим в лес, по веселому ручейку? Не помню. Возможно. Нет никакого сомнения, что поскольку я испытывал, с одной стороны, принуждение, а с другой, как будущий ученый, — непреодолимое влечение к учебе, я принимал эти робкие желания за низменные побуждения, и это подозрение заставляло меня подавлять их силой. Так же, как необходимо было есть, чтобы жить, в той же мере необходимо было учиться, чтобы жить. Мое небо, мой лес, мои ручьи были на страницах книги. Я не сомневался, что когда-нибудь сумею

вернуть их на истинное место.

Был я счастлив или несчастлив? Как судить об этом после стольких лет, стольких событий? У меня были товарищи по классу; у меня совсем не было приятелей, не было друзей. Глагола "играть" не было в моем словаре и его эквивалентов тоже. Ты думаешь, мне не хватало таких забав, как подложить огонь под кучу мусора или привязать сковороду к хвосту кошки? Я видел шумные непоседливые оравы мальчишек и девчонок, которые бегали в любое время года по пустырям или по берегу реки; я слегка жалел их; я им сильно завидовал. Учитель говорил о них сурово; это был пример, которому нельзя следовать. Они никогда не достигнут истины и мудрости. Им закрыт вход в царство света. Они не принадлежат к избранным. В конечном счете, я стал меньше завидовать им и больше уважать себя; но без глубокой убежденности. Я допускал, что могло существовать два образа жизни — хороший и плохой. Я благодарили Пророков за то, что мне дано вести хорошую жизнь, но благодарили без энтузиазма. Обещание, содержащееся в союзе, оставалось абстракцией. При всей моей неопытности я уже знал, что предстоит платить высокую цену. Резня наших братьев в Вормсе²³ потрясла иудерию, и я знал в подробностях об этом событии. В Магрибе нетерпимость по отношению к нам проявлялась волнами убийств. Один за всех и все за одного, объяснял нам учитель. Где же она, эта грешная душа, из-за которой все мы подвергаемся преследованиям? Впрочем, в следах, горевших на моей коже после розог учителя, я был более уверен, чем в огне ада.

Дома — ни отца, ни матери. Ворчащая все время горбунья. И пухлый толстощекий малыш, ползающий повсюду на четвереньках попкой кверху. Если бы в то время у меня спросили, кого я

люблю, я не колеблясь ответил бы — Элизе. Она была бесконечно преданна и деятельна. При всем ее безобразии и уродстве, у нее были прекрасные печальные глаза, в которых постоянно светился огонь поруганной доброты. Мы с ней всегда были заодно, и мне это было приятно. Когда у меня выдавались свободные часы — впрочем, весьма редко, — я любил держаться около нее, в патио или в доме, и она пичкала меня необыкновенными рассказами и вареньями. Когда ей не хватало новых историй, она пережевывала старые; и я внимательно следил, чтобы все версии совпадали до мельчайших подробностей, до интонационных повторов.

Оказывается, все это было правдой. Она рассказала мне, как ее взяли в плен во время набега турок на Смирну, где она беспечно жила у родителей, торговцев сукнами, и я шел запирать решетку, выходившую на улицу, чтобы Элизе была теперь в безопасности; как ее изнасиловали и бросили в поле среди оливковых деревьев, посчитав мертвой, и иногда я видел ее во сне с обнаженным животом и бедрами в крови; как ее передавали из каравана в караван вдоль всего африканского побережья и выставляли на продажу на всех невольничих рынках, и никто не хотел купить ее из-за горба и уродства, и я решил стать великим врачом, чтобы выпрямить ей спину и сделать ее красивой; как она попала в Кордову, и мой отец, узнав, что она еврейка из Смирны, попросил общину выкупить ее и сразу отпустить на свободу, и я думал, что мой отец великий принц; как повезло ей, не имевшей никого на всем белом свете, заменить мою мать, которая как раз незадолго до этого умерла, и я думал, что если судьба была жестока к Элизе, то еще более жестока она была ко мне.

По пятницам нас отпускали рано, после полудня. Меня встречал праздничный дом, все светильники

горели, весь пол был натерт маслом, вся еда на целый день была торжественно выставлена на белой скатерти. До захода солнца Элизе мыла меня в ванне. Ее узловатые пальцы долго бродили по моему телу, изучая впадины и выпуклости, по несколько раз проходили по чувствительным местам, и ее некрасивое лицо выражало при этом напряжение и сосредоточенность. Эта процедура невольно вызывала во мне волнение, и я приписывал его низменным побуждениям, которые должны были способствовать любви к Богу. Я желал, чтобы это скорее кончилось, и надеялся, что это продлится долго. Может быть, мое тело еще помнило руки матери? Может быть, надо мной тяготело проклятие? Я находился в нерешительности между смехом, слезами и гневом, меня парализовали стыд, раздражение и какая-то невыразимая истома. От недели к неделе Элизе делала успехи, ее поддразнивания становились более определенными, более настойчивыми, и в той же степени росло мое смущение. Что же в действительности происходило в моем теле, тайна которого была мне неизвестна? В моей наготе проявились в равной мере сила и слабость; в моем сознании — приятие и отказ. Я возвышался и оставался на месте, в ужасе от неизбежного приближения голоса неба, который мог прозвучать в любой миг и назвать меня по имени. Значит, мне тоже суждено обратиться в прах?

Но небо оставалось немо; Элизе же, наоборот, говорила. Она на свой лад объяснила мне главу вторую из книги Бытия, и так как и этот рассказ она повторяла не раз, я знал, что она говорила правду. Я, кажется, изначально знал, что я не невинен. Я видел краем глаза спаривание петуха и курицы, козла и козы; я не понимал механизма явления, но принимал его необходимость. Таков был закон природы. То, что нужно было не смотреть на это, не говорить об этом, делать вид,

что это не существует, входило в церемониал взрослых; и этого я тоже не понимал. Мне кажется, я интуитивно чувствовал, что не так уж далеко от петуха до человека, как это мне старались внушить. Когда я читал, что Адам *познал* Еву, голос мой начинал хрипнуть, а в ушах звенело. Внезапно мне стало ясно, что действительность написана не теми знаками, что книги. Это было странное открытие. Еще раз по миру прошла трещина, разделившая его надвое. Но ведь истина могла быть только одна, и я уже тогда дал себе слово быть предельно бдительным, чтобы не упустить ее. Как же велико было мое облегчение, когда я прочел позже в Талмуде, что *даже голос Неба не превыше существующего*. Другие, до меня, испытывали те же муки и сомнения. Когда-то автор этого комментария сделал выбор. Нужно прожить жизнь человека смиренно, гордо и, главное, трезво.

Однажды в пятницу — мне шел тогда восьмой или девятый год — я сухо заявил Элизе, что отныне буду принимать ванну сам. Мне больше не нужны были ее руки, чтобы изучать мое тело; мои — справлялись не хуже. У Элизе захватило дух, она что-то буркнула и выбежала из дома; три дня я не видел ее. Между нами долго стоял холодок.

* * *

Если бы я был блестящим учеником в школе, я, наверное, знал бы об этом. Все более хмурое, насупленное лицо отца, обращенное ко мне, беспрестанно напоминало о моей посредственности. Я должен признать, что сын дочери резника вовсе не делал ему чести. То, что род Маймонов неизменно посвящал себя учению и этим проявлял свою избранность, было прочно установившимся

фактом в иудерии Кордовы. Старшие по мужской линии уже с отцовским семенем получали необыкновенную склонность к библейским наукам. Этот своего рода трон мандарина, хотя и не передавался по наследству, тем не менее переходил в семье от одного к другому, благодаря врожденным данным. И вот нити, тянувшейся через поколения, предстояло оборваться на мне. Я не был тем, кого ожидал отец. Он примирился с этой изменой. Я, в свою очередь, тоже вынужден был примириться; и, чтобы не прийти в отчаяние, открыть в себе что-то другое.

В то время я не знал, что логика была систематизирована перипатетиками и что арабские мутакаллимы²⁴ искусно применяли ее. Само понятие логики было мне незнакомо, как и понятие конкретного, хотя, вероятно, уже жило во мне. Тогда во мне был силен только здравый смысл, который — мой отец не ошибся — я получил непосредственно от дочери резника. Я не был неуменым. Я без всякого труда понимал очевидный смысл фраз. Я твердо запоминал то, что читал. Я был вполне способен рассуждать по заданным схемам, пережевывать различные уже существующие интерпретации, строить из себя мудреца, взяв за образец учителя с розгами. Сегодня я думаю, что это обучение должно было казаться мне слишком простым, слишком легким и, следовательно, малоинтересным.

Мне не хватало усердия, а может быть, и честолюбия. Если меня не спрашивали, я упорно молчал. У меня не было, как у других, желания вылезти вперед, стремясь упиться похвалой. Учитель часто жаловался отцу, что у меня такой вид, будто я сплю с открытыми глазами. Розга уже не помогала, она применялась слишком часто и активно, чтобы сохранить свои целебные свойства. Замечал ли ты, с какой легкостью ребенок умеет уйти от скуки и принуждения? Надежный, прове-

ренный рецепт — ускользнуть с помощью фантазии. Смена образов не связана с течением времени; это позволяет дождаться того момента, когда неприятности рассеиваются и улетучиваются.

Я берег себя для лучших времен, когда учеба будет основана на свободе. А пока необходимо было подчиниться строгим правилам и вести себя прилично, не более того. Умеренное дозирование присутствия-отвлечения требовало лишь некоторой привычки. Я грезил только наполовину, но этого было достаточно, чтобы учитель постоянно был настроен против меня. Он безусловно считал, что поступает разумно, регулярно беседуя обо мне с моим отцом. Я ловил на себе мрачный взгляд судьи Маймона. Совершенный им вираж — союз с семьей резника — явно не дал хорошего потомства. Отец был бы еще больше огорчен, если бы узнал, что я полюбил резников — в лице моего дяди Йоада. Но прежде, чем это открылось, я отведал скандала — и нашел, что вкус его не так уж плох.

* * *

Иехуда ха-Леви жил на широкую ногу и был шумным повесой. Его без сомнения отлучили бы от общины из-за его поведения, как впоследствии это случилось со мной из-за моих сочинений, если бы он не был поэтом и если бы слава его не была так велика. Его искусство врачевателя было известно далеко за пределами Андалусии. Рассказывали, что его много раз призывали к Кастильскому двору и что он возвращался оттуда, сопровождаемый караваном мулов, нагруженных дорогими вещами. Гранды Эстремадура и вельможи Леванта, не колеблясь, тайно пересекали границы, чтобы попасть в его дом. Его познания не меньше ценились и знатью Магриба и Андалусии;

он никогда не отказывал в помощи также и мелкому люду нашего города.

Людская молва приписывала ему самые противоречивые черты: для одних он был алчным, грубым, безжалостным; для других — щедрым, любезным, милосердным; он и бывал иногда таким, а иногда другим, в зависимости от обстоятельств и расположения духа. Я думаю, ты согласишься со мной, что не следует придавать значения этим пересудам. Такого человека, как Иехуда ха-Леви, нельзя заключить в клетку эпитетов. Гнусные сплетни, которые распространялись о нем, и то, что он сам из презрения к условностям приписывал себе, ничуть не уменьшали того поклонения, в котором ему никто не мог отказать. Да, он был, конечно, искусственным врачом, но также — и это главное — несравненным поэтом, самым влиятельным в мусульманской Испании, с тех пор как смолкли голоса Ибн Нагдэлы, Ибн Габирола и Ибн Эзры Старшего²⁵. В халифате Кордовы поэзия справедливо считалась состоянием высшей благодати, которую дано достичь человеку при жизни. Многие образованные люди занимались стихосложением, но такой поэт, как Иехуда ха-Леви, был только один, и интуитивно самые различные люди в Андалусии понимали это.

О поэте нельзя рассказать, нельзя объяснить его; можно только приблизиться к нему, открыть его и полюбить его.

Я был тогда еще подростком, во мне бродила юношеская кровь, и смысл слов волновал меня больше, чем их поэтическая красота. У меня не было ни малейшей склонности к лирическому опьянению. В своей высшей форме поэзия — это тишина; мое же любопытство, наоборот, привлекало в этом человеке то, что было в нем шумного, бьющего через край. Иехуда ха-Леви занимал большой двухэтажный дом с многочис-

лennыми, полностью застекленными окнами. Дом этот находился недалеко от нашего. Я знал (от кого? — вероятно, от Элизе), что он вел там беспутную жизнь и что только благодаря заступничеству Музы Небо до сих пор не испепелило его. Хотя он и состоял в Совете мудрецов, куда он никогда не показывался, он в открытую глушился над Законом, не соблюдал субботний отдых, осквернял свой рот убитой охотниками дичиной и другой запрещенной пищей и не почитал ничего; только наслаждение было его культом. Дом его являл собой настоящий гарем, в нем постоянно томились демонические существа — гурии, едва достигшие совершенолетия, привезенные работорговцами за большие деньги из Магриба, и юноши, у которых еще и пушок на губе не рос. Почти дети, они целые дни принимали ванны, умащивали себя благовониями, болтали и ссорились под присмотром двух матрон и трех слепых музыкантов. С наступлением вечера оттуда доносились странные мелодии. Иехуда ха-Леви принимал у себя за столом друзей из Кордовы, Гранады или из Севильи, арабских вельмож или богатых купцов, иногда испанских посланцев, и веселье заканчивалось только поздно ночью, а иногда и на заре, с первыми лучами солнца.

По пути в школу мне нужно было пройти мимо этого вытянувшегося в длину солнного фасада, и каждый раз я чувствовал, как мой затылок застывает и спина вся напрягается, настолько я боялся, что и на меня падет от него тень позора. И однако из окон не слышны были отзвуки пронесшейся бури и сквозь щели не пробивалась чумная зараза разврата. У решетки дремал подобный монументу вольноотпущенник, турок, говорила Элизе, охранявший порог, и ступни его ног торчали из калитки, так что нужно было либо обойти их, либо перешагнуть. Иногда я осмеливался краем глаза заглянуть внутрь, но никогда не

случалось мне увидеть там ни малейшего следа его обитателей среди листвы внутреннего сада, одного из самых ухоженных и самых роскошных в еврейском квартале. В фонтане плескалась вода; попугайчики порхали вокруг насеста. Почему я не был одной из этих птиц, я мог бы быть свидетелем вакханалий, о которых говорила вся Кордова! Врач-поэт — существо реальное или миф? Действительно ли в этом доме, с виду зажиточном и спокойном, находились молодые пленницы, которых лишили невинности, и мальчики моего возраста, которых предали содомии? Элизе утверждала, что именно в разгар оргий Иехуда ха-Леви находил самые патетические выражения для своих поэм во славу земли Сиона. Рядом с ним находился слуга и записывал. Списки переходили потом из рук в руки просвещенных людей, и те замирали от наслаждения. Ведал ли Бог об этих восторгах? Может быть, он относился с особой снисходительностью к чародеям слова?

Иехуда ха-Леви слыл тонким знатоком чистейшего библейского языка, на котором не говорили уже века; он владел также языком Корана в самой изящной его форме, он чередовал на нем рифмы и ассонансы, использовал различные ритмы; а иногда писал и латинским гекзаметром. Позже намного позже, списки этих поэм прошли и перед моими глазами: это был поистине великий вдохновенный элегический поэт. В то время я не мог ничего знать об этом. В то время меня манил дьявол.

Один раз мне случилось встретиться с ним. Ты конечно, ждешь признания о моем немедленном разочаровании: у него не было ни рогов, ни копыт, и от него не исходил запах серы. Воображаемое сникает при столкновении с действительностью, как туман оседает при холоде, вот почему встреча с реальностью оказывается еще более захватывающей. Эта сцена осталась в моей

памяти столь красочной, что я могу и сегодня воспроизвести ее без малейшего затруднения. Когда я вернулся в тот вечер из школы, отец приказал позвать меня. Он сидел в своем рабочем кабинете с Мессуламом, писцом, там же находился еще какой-то посетитель, черты которого я сначала не мог различить, так как он сидел спиной к лампе. Это был человек в возрасте моего отца, слегка полысевший, с непокрытой головой, в элегантном одеянии из вышитого шелка. Я отметил белизну его рук, длинных и тонких, которые, казалось, жили самостоятельной жизнью. Сегодня я могу с полным правом утверждать, что я сразу догадался, кто был этот посетитель; пронизывающий насквозь взгляд позволил мне и в полумраке безошибочно узнать его.

— Старший сын Маймона, — сказал он мне высоким голосом, — да будет с тобой мир. Да станешь ты мудрым и справедливым, как твой отец — мой друг.

— Иехуда ха-Леви, — ответил я не раздумывая, — я хочу стать, как ты, врачом, поэтом и распутником.

За столом послышались приглушенные смешки. У меня мелькнула мысль, что я сказал что-то чеуместное, но исправить сказанное уже было невозможно. Отец расчесывал бороду пальцами, что было у него признаком сильнейшего неудовольствия.

— Интересно, — сказал посетитель, — очень интересно. Поэтом и распутником? Не знаю. Для этого нужен особый дар. Но врачом ты можешь стать. Достаточно выучиться.

Мессулам, писец, терся боками об стол, вероятно, сились побороть неудержимый смех. Фитиль мигал в лампаде, и причудливые тени плясали по стене.

— Мой сын будет судьей, знатоком Закона, как все старшие сыновья в роде Маймонов, — спокойно произнес отец. — Не забивай ему

голову дурными мыслями. У него и так их достаточно, незачем добавлять еще.

— Не такая уж это дурная мысль, — ответил Иехуда ха-Леви. — У меня это получилось совсем неплохо. — Он отвернулся от меня и продолжал прерванный моим приходом разговор. У меня сжало горло, я был неспособен сдвинуться с места. "Я тоже буду врачом", — пробормотал я, скорее для того, чтобы укрепить свое решение, нежели чтобы противоречить отцу: впервые в жизни я осмелился открыто выступить против него.

Речь шла о политической обстановке. Говорил главным образом Иехуда ха-Леви. Я слушал, как порхали фразы из слов-явлений, некоторые были мне совсем незнакомы, но смысл доходил до меня с удивительной остротой. Отец время от времени ворчливо вставлял что-то. Мессулям только вращал зрачками. На севере полуострова кастильцы и арагонцы готовились к давно задуманным действиям широкого размаха. Несмотря на поражение испанцев при Салаке, Толедо все же оставался в их руках. Учитывая это, их попытка отвоевать свои владения была не лишена соблазна, тем более что Андалусия, раздробленная и разделенная на эмираты, представляла собой легкую и желанную добычу.

— Ну что же! — прервал мой отец. — Если Кордова станет испанской, мы будем испанцами. Что в этом дурного?

Иехуда ха-Леви внезапно повернулся ко мне. "Ты знаешь арабские буквы?" Захваченный врасплох вопросом, я размышлял несколько мгновений, прежде чем покачал головой. Я немного разбирал куфические письмена и совсем не знал курсива. "У меня есть, — сказал он, — очень редкий экземпляр 'Канона' Ибн Сины²⁶, где оригинальный текст, строчка за строчкой, сопровождается переводом на иврит; это арабский язык суннитов,

очень близкий к нашему. Я пришлю тебе его завтра. Ты сможешь приобщиться к некоторым понятиям медицины и к чтению великих писателей”.

— Я запрещу ему это, — ответил отец, не повышая голоса.

И снова они забыли обо мне на некоторое время.

— Испанцы, — продолжал Иехуда ха-Леви, — не доверяют нам. Их идолопоклонническая ненависть дремлет, но она не угасла. По отношению ко мне лично они не скучаются на любезности и роскошные подарки, но меня не проведешь. Мы слишком долго жили с арабами. Для кастильца андалусец — враг или предатель, а когда солдатня начинает резню, берегись любой, кто на ее пути. У арабов быстрые кони и огромная империя. Мы же тяжелы на подъем, да и куда нам отступать? Но в настоящий момент я больше всего боюсь не испанцев. Они придут позже, гораздо позже.

Он сделал паузу и некоторое время рассматривал при свете лампады свои длинные тонкие руки. Мой отец что-то проворчал. Мессулам обнажил в застывшей гримасе свои желтые зубы. Каждое произнесенное слово впивалось в меня, как острые кусочки металла. "В долинах Атласа неуклонно расширяет свои владения фанатичная секта альмохадов²⁷. Суровость, чистота и жестокость — таковы их основные девизы. Они придут сюда раньше испанцев, — пророчествовал Иехуда ха-Леви. — Андалусские эмиры, крупные землевладельцы, купцы примут их с распростертыми объятиями как спасителей. И тогда — берегись, еврейская община! Горе нам!".

— Это уже произошло при альморавидах²⁸-берберах, — сказал отец. — Были убитые. Были выжившие. Арабская цивилизация взрывоподобна, наша — гибка, способна уйти в себя. И там, и здесь — это рефлекс выживания. Латиняне —

покорители холодные, бесстрастные. Мы вклиниены между теми и другими. Что делать? Молиться. Надеяться.

Отец, казалось, внезапно заметил, что я еще здесь. "Ты можешь идти", — сказал он мне. Я вышел из кабинета, не говоря ни слова. Зачем, в сущности, меня позвали? Кто должен был сказать мне что-то, если не мой внутренний голос? Я ушел в сад размышлять над тем, что услышал. Весенняя ночь, полная ароматов, трепета и звезд, распростерлась над крышами. Ласточки ныряли в воздухе, на лету пили воду в бассейне и опять взмывали в молочное небо. Странное возбуждение охватило мою душу и грызло мою плоть. Меня ожидали где-то, куда я должен был прийти, где-то существовала маленькая ячейка, отведенная для меня в большой ячейке всего живого, и все, что было во мне чувственного и духовного, все, что уже созрело и еще должно было созревать, все получило приказ устремиться туда. Я узнал, что такое нетерпение.

Я не увидел больше Иехуду ха-Леви. Назавтра, когда я проходил мимо его дома, вольноотпущенник-турок сделал мне знак приблизиться и вручил толстую книгу в сморщенном и потрескавшемся на сгибах переплете. С этой книгой я уже не расставался. Ты видел ее у меня в Фустате. Я распорядился, чтобы ее похоронили со мной. Мой сын, я думаю, проследит за этим.

Что было мне неизвестно и что я узнал только впоследствии, это тот факт, что Иехуда ха-Леви приходил прощаться с моим отцом. Он покидал Андалусию. Он покидал Испанию. В сопровождении своей последней любовницы, шестнадцатилетней гурии, он отправлялся в землю Израиля, чтобы закончить там свои дни. Он совершил путешествие по морю; едва уцелел при буре, чудом спасся от пиратов и высадился в порту Ашкелона в конце лета. Когда он достиг горы Сиона и золотой от

солнца Иерусалим раскинулся у его ног, он упал на землю, и слезы заструились по его лицу. Какой-то франкский рыцарь случайно проезжал там. Он увидел старого еврея, валявшегося на дороге среди камней. Ты думаешь, он натянул поводья, чтобы удержать лошадь? Он пришпорил животное и проскакал по распостертыму телу. Железная подкова размозжила череп человека, который в этот момент был в единении с Предвечным. Это был, я думаю, доблестный защитник Христа, и, возможно, он даже был в мире со своей душой. *"Так хочет Бог!"* Этот мозг, разбрзганный в пыли, пролился бальзамом на раны распятого, явился лептой, внесенной заранее во имя вечного спасения убийцы: ведь священники проповедовали это, епископы утверждали это, папа ручался за это. Мог ли этот благородный крестоносец сомневаться в необходимости раздавить насекомое?

Так кончил свои дни Иехуда ха-Леви — ученый, эстет и распутник.

* * *

Я подружился с дядей Йоадом благодаря петуху, великолепному петуху, весившему не менее шести фунтов. Красновато-коричневый с золотистым отливом, весь трепещущий и гордо несущий свой тройной гребень, он был избран стать нашим субботним бульоном. Никогда до этого дня я мысленно не связывал содержимое наших тарелок с существом из плоти и крови. Пища рождалась непосредственно в сковородках Элизе, благодаря магическим действиям, и она была хранительницей этого секрета. Я не помню, почему Элизе дала мне в руки этого петуха, что помешало ей пойти самой. Она связала ему лапы длинной веревочкой и свободный конец закрепила

у меня на запястье.

Не очень хорошо понимая, хотя и понимая слишком хорошо, я пустился в путь, прижимая к груди теплый комок перьев, не отводя взора от круглого глаза прекрасной птицы, голова которой покачивалась в такт моим шагам. Всю дорогу я шептал в ее взъерошенный воротник ласковые слова, но мое беспокойство не уменьшалось. День стоял жаркий; я был весь в поту. На берегу было большое движение; люди и животные шли вверх и вниз, женщины колотили белье, бродили оборванные дети, торговцы вопили, держась за открытые лотки. Никто не обращал внимания на меня, влачащего свой позор. Возникала ли у меня мысль бросить петуха? Возможно. Но мы были связаны друг с другом. Даже если бы мне удалось развязать узлы, его сразу поймали бы. Его судьба была предрешена. Я шел вместе с ним на казнь.

Двор резника, моего дяди Йоада, находился в тупике на краю иудерии; удобнее было проходить туда через всегда открытые ворота по тропинке, по которой гнали скот. Клейкие каменные плиты двора липли к подошвам. Дядя Йоад как раз смывал их из ведра сильной струей, когда он увидел меня. Это был коренастый малый, мускулистый, с рыжими волосами на груди, с лицом, усыпанным веснушками цвета соломы. Он был старше моей матери; ему, должно быть, было лет тридцать или чуть больше. Он сразу понял мое волнение и ободрил меня. Наука ритуального убийства скота имеет строгие, отработанные многовековым применением правила, и цель ее — свести к минимуму причиняемое зло, не дать животному почувствовать боль. Йоад показал мне свои ножи с таким острым лезвием, что они на лету разрезали надвое пушок. Малейшая зазубрина на стали делала орудие непригодным. Он провел острием по тыльной стороне ладони, показалась

кровь и он заверил меня, что ничего не чувствует. Быстрота, точность и великолепное знание тех точек, от которых зависит жизнь, способствуют в определенной мере тому, чтобы сделать приношение жертвы безболезненным; ибо если человеку для поддержания жизни необходимо питаться взращенными им животными, ему запрещено оскорблять их, причиняя страдания.

Продолжая спокойно разговаривать со мной, Йоад освободил меня от петуха и кончиками пальцев стал поглаживать ему зоб. Вдруг крылья тяжело дрогнули, затрепетали; разлетелись перья, и я почувствовал судорожные толчки в запястье. Темная лужица растекалась у моих ног. Еще несколько подрагиваний в лапах — и все было кончено; то, что лежало на камне, было всего лишь безжизненным куском мяса. Йоад приподнял его за когти, прикинул вес, как знаток, подул в пух на гузке, чтобы оценить жирность. "Видел? — спросил он. — Из этого бездельника выйдет хороший бульон". Я не мог ответить, у меня сжалось горло. Движений, лишивших мою прекрасную птицу жизни, я не уловил.

Появилась моя тетя, два малыша держались за ее юбки, третий находился в ее расцветшем лоне. От стакана воды с ложкой варенья, предложенных ею, мне стало лучше.

"Я должен еще разделаться с бараном, — сказал Йоад. — Хочешь остаться?" Я не хотел, и все же я хотел бы. Это дело ставило под сомнение многие идеи, воспринятые мною как непреложные. Губы дяди Йоада расплылись в широкой улыбке. "Ты вернешься, — сказал он. — Чтобы стать мужчиной, нужно знать эти вещи".

И действительно, я вернулся. Я увидел, как Йоад вонзает в горло ягненку что-то вроде бандериллы и как на самом деле эта бандерилья оказывается струей крови, вырвавшейся из животного. Однажды, накануне праздника, когда

хозяйки разошлись, унося каждый свой комок жирного семейного бульона, и когда сумерки опустились на усыпанный перьями двор, где стоял тот тошнотворный запах, который всегда оставляет за собой смерть, я увидел Йоада — с руками, до локтя покрытыми, как лаком, кровью, забрызганного остатками ушедших жизней; он стоял один, великолепный, как Самсон среди поверженных филистимлян. И еще я видел, как он сразил одного из тех быков черной масти, которые как бы исполняют танец, когда резвятся на выгоне, и зябких телят, которые до последней возможности всасывали в себя воздух.

Конечно: это было отвратительно, и мой желудок не раз возмущался; но я держался стойко, я был зачарован тем необратимым, что здесь совершалось. Достаточно было малейшего движения, чтобы разрушить живое творение, которое, может быть, и держалось на этом малейшем. Быть может, Йоад был демоном? Или прообразом того, чем я собирался стать?

Я сразу же увидел, что он был человеком простым и великодушным, спокойным и набожным; он любил животных и меня научил любить их. Он предельно просто, в наивной манере, объяснил мне великий естественный процесс, в котором общее равновесие обеспечивается тем, что каждый род занимает предназначеннное ему место; он поведал мне и как производит земля, и как поглощает она все, что состоит из материи и что имеет форму. Он говорил, что он тоже на своем месте, неповинный во всей пролитой им крови, приносящий пользу тем, кто назначил его на эту должность, на основании сказанного в Писании, что человек будет владычествовать над всяkim животным, ибо это хорошо. Он рассказывал мне о частях тела, а потом о частях скелета, по мере того как обнажал их. Так я научился различать пути крови, одни — упругие и гибкие,

другие — вялые и суженные; я научился не путать перламутр нерва с перламутром сухожилия, распознавать апоневроз²⁹ и мускул, орган и его ложе, содержимое и содержащее. И я сделал то удивительное открытие, что лапка цыпленка сделана так же, как и конечность быка и нога человека, что вопреки разнообразию форм материя идентична себе самой. В том возрасте, в одиннадцать-двенадцать лет, это открытие было потрясающим.

Однажды Йоад дал мне вскрыть сердце барана. Я обнаружил странно вывернутые карманы, спрятанные узкие проходы, путаницу полосок и пластиночек, но не получил ни малейшего представления о потайном порядке этого устройства. Я нашел такое же расположение в сердце утки и в сердце телки. Йоад тоже не знал, как оно действует. Оно сначала билось, как мое, в груди у животного; а потом, извлеченное из груди, становилось обычным куском мяса, из которого навсегда ушли и биение, и жизнь. Я думал, что проникаю взглядом в некую тайну, а оказался еще более несведущим перед нею, сгустившейся предо мной.

Ни сейчас, ни прежде, никогда я не был склонен к преувеличенной чувствительности, и мне не помнится, чтобы в разгаре всех своих эмоций я перестал наслаждаться жирным бульоном или прекратил есть рагу из баранины, которое Элизе ставила передо мной; потому что я тоже считал, что это хорошо. Я стал вполне сознательным пособником Йоада и, как и он, чувствовал себя невиновным. Я осознал, что мне нашлось место в навечно установленном распорядке вещей, в котором земля принадлежит траве семяносной, трава — животным, кормящимся ею, животные — человеку, чтобы он убивал их и питался ими, и, наконец, человек — чтобы воспевать хвалу Всевышнему. Это движение, казалось, было определено раз и навсегда, как движение небесных сфер или движение четвертей луны, и было очень хорошо

иметь глаза, чтобы видеть, и разум, чтобы понимать все это; но это не было и не могло быть частью идеала справедливости, который был дан мне и который я сделал своим.

Безусловно, для человека было очень хорошо есть баранину; было ли это столь же хорошо для барана? Поскольку бараны никогда не могли высказать свое мнение, проблема решалась сама собой, даже до того, как ее поставили. Самым тяжким для меня в это время было то, что я ни с кем не мог поделиться. Йоад жил вне сомнений. Отец посмеялся бы надо мной и отоспал бы меня к Священному Писанию. В школе вопросы следовало ставить публично; хорошо бы я выглядел перед классом: в ответ мне наверняка просвистела бы розга учителя. Я оставался наедине со своей мукой; я терялся в мыслях днем; я видел их во сне ночью.

А что, если бы Провидение по своей непостижимой воле сделало бы меня не тем, кем я был, а бараном или теленком? Может быть, именно для того, чтобы понять их, я ходил к дяде Йоаду смотреть, как они умирают, обескровленные? Может быть, именно для того, чтобы найти их ответ, я принялся потрошить их сердца? Можно ли быть уверенным, что жертвы не чувствовали при входе во двор запах смерти, этот тошнотворный и сладковатый дух, который я ощущал уже у ворот? Ни одна из жертв не делала даже малейшей попытки бежать; но что можно поделать против пут, против силы, против того, что предрешено?

Я видел впоследствии, как стражи толкали Йоада к виселице, чтобы повесить его за шею и так умертвить; он тоже, когда увидел виселицу, сделал только едва уловимое движение назад — оно длилось всего лишь одно мгновение — перед тем, как покориться. Может быть, для эмира было хорошо предать смерти Йоада; вся иудерия Кордовы, включая жертву, обошлась бы без

этого. А я, бессильный свидетель, еще безбородый юнец, любивший своего дядю, как старшего брата, я силялся держать глаза открытыми, чтобы не упустить ни одной судороги, потому что, может быть, в этой агонии был ответ на вопрос.

Я не осмелился сформулировать этот ответ, но он несомненно уже был во мне. То, что мир был создан и ему была придана форма, как думают наши мудрецы, или что он сам по себе существовал извечно, как утверждают некоторые философы (и в этой дилемме главное разногласие нашего века, а может быть, — и всех веков), — это не хорошо. Мой зарождающийся здравый смысл восстал против оценочного суждения. Как согласиться с этим божественным самоудовлетворением, изложение которого — ложь? Волк и агнец никогда не будут жить вместе; только на быстроту своих ног может рассчитывать газель, если хочет спастись от голодного льва. Мир таков, каков он есть, а мне нужно было еще многое узнать, чтобы лучше разобраться и увидеть хоть некоторые из тех темных сил, которые сходятся и расходятся волнами, не имеющими начала и конца.

Взгляд свыше, рассудивший, что это *очень хорошо*, или ничего не видел или пытался ввести нас в заблуждение. Потому что я не мог считать, что *хорошо*, когда человек владычествует над животным, большой над малым, сильный над слабым, богатый над бедным, один народ над другим, одна вера над другой, и так было, и никакая буря гнева никогда не проносилась над всем этим, чтобы установить настоящий порядок.

Если верить тому, что написано, вина лежит на нас, и *некорошо*, что человек не устоял перед искущением; за это он был наказан. Мое искушение состояло в желании знать, а это начало всякого зла на земле, как говорили наши мудрецы. Считается, конечно, что блаженны неразумные. Но незнание может только не знать о существовании

зла, но не бороться с ним. Я же был убежден в необходимости одержать верх над злом. Так незаметно, понемногу, я входил в мучительный круг вечного проклятия.

Никто из окружающих не подозревал о моих муках, за исключением, может быть, Йоада, который догадывался о них, наблюдая поверхность душевного водоворота. Йоад был очень внимателен ко мне. Я был сыном его умершей сестры, к которой он испытывал нежность, как я начинал испытывать нежность к Давиду. Я был также наследником Маймонов, которые, по преданию, через рабби Иехуду ха-Наси³⁰, являлись потомками самого царя Давида. В присутствии Йоада я чувствовал себя облеченным княжеской властью, он становился моим вассалом. Как бы ни был он занят неотложной работой, он всегда находил время, чтобы самозабвенно объяснить все, что я хотел знать, и никогда не принимал того снисходительно-высокомерного тона, которым взрослые так охотно говорят с подростками. Впервые в жизни я встретился с мужчиной, который, несмотря на свой рост, силу и возраст, не пытался подавить меня и уважал меня таким, каким я был.

Хотя он носил имя знаменитого полководца³¹ и ежедневно проливал потоки крови, он пребывал в глубоком мире с самим собой. Каждый день после своей грязной работы он мылся, обильно поливая тело водой, потом усаживался за Книгу, которую полностью прочитывал каждый год. Он знал Тору наизусть и в точности выполнял все ее предписания. В противоположность многим простым людям Кордовы, у него были блестящие белые зубы. "Это от запаха мяса", — объяснял он, весело смеясь. Даже сразу после купанья от его заросшего рыжими волосами тела исходил запах пота. Он говорил медленно, как бы подталкивая слова руками *резника*, и часто высказывал глубокие мысли. О явлениях природы, которые

были ему близки; о животных, его друзьях, языке которых он, по его словам, понимал.

Кроме двора резника, где он родился и который он в назначенный час оставит старшему из сыновей, он владел тремястами баранами, которых пастухи и собаки пасли на склонах сьерры и которых в холодное время года он запирал в овчарне, примыкавшей ко двору. Йоад был человеком зажиточным, и сумма, которую он выплачивал моему отцу, ничего для него не значила. Проситель никогда не уходил от него с пустыми руками. Он заказал мне в Толедо ножик с двенадцатью лезвиями, который я храню до сих пор. В каждое из моих посещений его жена настойчиво пичкала меня лакомствами, и если у меня иногда бывали деньги, то только потому, что Йоад незаметно опускал их в мой карман.

Эти посещения не могли не нарушать в какой-то мере мою школьную жизнь; случалось, что иногда я пропускал уроки, и об этом в тот же вечер ставили в известность моего отца. Я был лишен свободы и рассматривал как оскорбление то, что я должен был оправдываться, если предпринимал что-нибудь. Я ожидал бури; она не разразилась. В первый раз меня удостоили только пристального взгляда; затем последовали глубокие вздохи, которыми отец выражал свое разочарование. Резники во мне вновь смыкали ряды. Еще прежде, раз и навсегда, отец решил, что я — утенок, попавший в гнездо лебедя; вот почему мои поступки не совсем удивили его. Все же однажды вечером, на неделе, когда мои пропуски умножились, он заговорил со мной:

— Ты бродишь вокруг дома, — сказал он мне; — ты не входишь в него. Я боюсь за тебя, как бы ты не остался на всю жизнь вне дома.

Я чувствовал себя странно спокойным, отвечая ему.

— Рабби, — сказал я, — говорит аллегориями, как Книга; я тоже объяснюсь аллегорией. Верно, что я брожу вокруг чего-то. Что такое дом? Закрытое пространство, отделенное от открытого пространства. Мне нужно сначала познать и испробовать предметы, которые я хочу взять с собой в дом, а они рассеяны повсюду в бесконечности без порядка. Возьму я то или это? Как быть уверенным, что я не совершаю ошибки? В каком направлении двигаться? Открытое пространство не имеет границ; у дома тесные границы; раз расставив мебель, уже ничего нельзя изменить. Я бродяжничаю не из-за легкомыслия, Рабби, мною движет прилежание. Я не творю и не хочу зла. Я ищу его с целью помочь изгнать его из его логова.

Отец долго молчал.

— То, что ты хочешь узнать, — сказал он наконец, — уже давно написано. Многие незаурядные люди до тебя проверили, что следует взять и что следует оставить. Достаточно последовать их примеру. Никакая твоя мысль не может быть новой. Все они уже были прощупаны, взвешены, им была придана форма, никакая ошибка не смогла прокрасться, таково Учение, таков дом, который предлагают тебе для жилья, и ты колеблешься?

Опершись локтями на стол, мой брат Давид удивленно моргал. Никогда еще он не слышал таких долгих и серьезных разговоров за столом. Элизе застыла в странной позе ожидания.

— Я не отрицаю, — сказал я, — глубокие достоинства нашего Учения. Оно существует уже пятое тысячелетие; мир изменился; оно — нет. Из века в век оно требует тысячи страниц комментариев, столько есть в нем темных мест, архаизмов, противоречий, столько в нем ссылок на положения и события, которые выпали из памяти народа и значение которых утрачено. Но

оно вместе с тем представляет собой нашу землю — Израиль, которая везде с нами; и в любом месте оно восстанавливает наш старый союз; и в этом смысле ему нет равного. Мы — завязь и плод этого Учения, и в полном соответствии с Законом оно — мое. Чем же я виноват, если оно только наполовину удовлетворяет мой голод и мою жажду познания?

Отец расчесывал пальцами бороду. Взволнованный, он все же внимательно слушал меня.

— Каковы же твои намерения? — спросил он наконец.

Мой ответ зрел уже давно; он был готов.

— Рабби, меня привлекает светское обучение. Я хочу учить математику и геометрию, астрономию и естественные науки, логику и метафизику, медицину и политику. Если у моей программы есть начало, то конца у нее нет.

Отец медленно склонил голову. "При условии, — сказал он, — что ты не будешь дотрагиваться до этих книг в субботний день. Завтра же я найду кого-либо, кто обучит тебя геометрии и астрономии по всем правилам".

— Благодарю, Рабби, — сказал я. — Благодарю от всего сердца. Не нужно никого искать. Я уже нашел себе учителя.

Мне показалось, что отцу все известно. Несомненно, он предпочел не говорить со мной об этом.

* * *

По пути к дяде Йоаду мне случалось встречать на берегу реки необычного человека. Его тонкий, высокий стан от шеи до ступней ног облегал белый шерстяной сук³², что еще увеличивало рост; на гордо поднятой голове красовался тюрбан; веки всегда были полуприкрыты и

угловатое лицо обрамляла коротко подстриженная смоляного цвета борода. Издали он походил на движущуюся березу. Прохожие почтительно расступались перед ним, некоторые приветствовали его поклоном, но никогда не удостаивались в ответ ни малейшего знака приветствия. По всей видимости, он был погружен в свои мысли и шел размеренным шагом, как человек, знающий кто он и куда идет.

Я поинтересовался и вскоре уже знал его имя, которое, впрочем, было известно мне: Мухаммед Ибн Рушд³³. Как и я, он происходил из одной из самых старинных семей Кордовы, в мусульманской общине его отец занимал в точности такую должность, как мой – в еврейской; он был судьей, как мой и его дед. Я с изумлением узнал, что он старше меня лишь на десять лет и что он преподает мусульманское право по Корану и естественные науки в университете; параллельно он продолжал изучать медицину и философию. О нем говорили, что он спит только четыре часа в сутки и что он прочел уже все книги.

Ты можешь представить себе, как я был мгновенно очарован этой личностью. Он воплощал при ярком свете дня образец того, что я искал в потемках. Я не хочу говорить сейчас о чрезмерной восторженности и неосознаваемой серьезности, свойственных юности. Когда издалека я замечал его, кровь во мне загоралась, в горле пересыхало, в ногах появлялась слабость – это были признаки глубокого смятения, прелюдия безмерного счастья. Я прислонялся к одному из столбов, стоящих на берегу, чтобы вволю наблюдать за ним, не надеясь, что когда-либо его затуманенный взгляд скользнет по мне. Никогда, казалось мне, я не видел более благородного лица, более гордой посадки головы, более безмятежного вида. Только по тому, как из-под складок суфа показывалась то одна, то другая нога, обутая в сандалии из

ремешков, как носили в Кордове, можно было судить, что статуя жива. Руки были скрещены на груди. На одном из пальцев блестел громадный бриллиант.

Пока он проходил, я весь сжимался и чувствовал себя несчастным, оттого что я так мал, так ничтожен, и вместе с тем я был полон решимости пуститься на завоевание такой же славы и превзойти ее, если возможно. Я тоже хотел прочитать все книги до того, как достигну двадцатилетнего возраста. Полет фантазии уносил меня в будущее, в общем довольно близкое и тем не менее недостижимое. Я уже видел себя шагающим тем же величественным строгим шагом по улицам моего города, несущим бремя приобщения к высшим тайнам, а на моем пути, приветствуя меня, в низком поклоне расступались толпы почитателей. Безрассудное самомнение юности, глупое самодовольство! Я был полон желаний и ничего не делал; я видел себя уже у цели и не двигался с места. Завтра, говорил я себе. Завтра я поговорю с Ибн Рушдом, он возьмет меня за руку и поведет. Я заранее выяснил, когда он проходит, и каждый раз проявлял изобретательность в том, чтобы мое решение зависело от случайных обстоятельств, а они были не на моей стороне: мул не поднял хвоста, пока я успел сосчитать до десяти; голубь не слетел с колышка, на котором он сидел; туча в форме головы быка не закрыла диск солнца, как я загадал.

Потом наступил довольно длительный период, может быть, месяц или больше, когда этот необыкновенный человек не показывался. Я опускаю описание моего состояния, как я переходил от оцепенения к ужасу, от различных страхов к вершине надежды. Вероятно, это было необходимо. Я часто думаю, что я был просто ленивцем, который принуждал себя к деятельности, и что отец был не совсем неправ, когда презирал меня

и смотрел на меня свысока. Мое "я" развивалось не в играх; оно формировалось, как правило, в мечтах или в школьных занятиях, а кроме этого не было ничего. Я, безусловно, хотел получить знания, но так, чтобы они пришли ко мне сами, а не я набрасывался на них с жадностью. Уже наступила осень, сильные ветры дули на берегу, когда я наконец узнал издалека знакомый силуэт. Я сразу понял, что это произойдет сегодня. И это произошло.

Одним прыжком я очутился перед Ибн Рушдом, отрезав ему дальнейший путь. Я почувствовал, что от него пахнет амброй, и это почему-то разочаровало меня. Мгновение он смотрел на меня без всякого удивления. Мир тебе, сказал он, кашлянув в ладонь. Мир с тобой, сказал я сдавленным голосом. Долгие минуты мы не находили, что сказать друг другу. По обычаям, с моей стороны было бы неприлично без преамбулы приступить к главной теме разговора, с его стороны было бы невежливо спросить меня о причинах, заставивших меня помешать ему продолжать путь. Один из нас должен был сделать какое-нибудь замечание о погоде, отметить, что ласточки в этом году прилетели рано и что зима, наверное, будет суровой. Кажется, это сказал он. Можно было возразить, что Кордова находится в преимущественном положении по отношению к Гранаде, где шесть месяцев хлад, а шесть месяцев ад. Кажется, это сказал я. Теперь мы имели право приветливо улыбнуться друг другу. Я старший сын Маймона, сказал я. Ибн Рушд кашлянул, прикрыв рот. Мне известно имя твоего отца, сказал он. Он мудрый судья. Я сразу же нашел ответ. По сравнению с твоим мой отец просто невежда. Мир им обоим.

Снова на долгие минуты между нами повисло молчание. Потом я немного запутался в словах, рассказывая о дяде Йоаде, резнике нашей общины,

к которому я иногда хожу вскрывать сердца. Впервые за то время, что мы стояли лицом к лицу, Ибн Рушд, казалось, заинтересовался.

Ты вскрываешь сердца? Зачем? — Чтобы видеть. Чтобы знать. Чтобы понять, зачем оно и как оно действует. Там внутри есть дух, который стучит, но когда открываешь, он исчезает. Оно выглядит очень сложным. Внезапные порывы ветра поднимали вихри пыли, и на западе небо стало черно от дождевой тучи: она шла с моря. Ибн Рушд еще раз кашлянул в ладонь и с любопытством посмотрел на меня из-под полуопущенных ресниц. Дух, который стучит? — сказал он. — Что ты там ищешь? По существу, это очень просто. — Все просто, когда знаешь. Тот, кто сделал сердца, должен был знать. Наш учитель в школе часто говорит, что знать можно только то, что умеешь делать. Я не думаю, что он прав.

Тяжелая повозка, влекомая четырьмя быками, катилась прямо на нас. Ибн Рушд взял меня за плечо и отвел с дороги. Сколько тебе лет? — спросил он. Я ответил. Меньше чем через год я буду принят в сообщество мужчин. — Ты выглядишь старше, сказал он. Твой учитель неправ. Я не мог бы сделать сердце. Но я знаю, как оно сделано, для чего оно служит и как оно работает. Это написано у Галена³⁴ и у всех авторов после него. А Гален, может быть, переписал это из книг, которые до нас не дошли. Которые, может быть, были переписаны с еще более древних текстов. Мир уже очень стар, но каждую минуту он начинается вновь. Ты, может быть, хотел бы, чтобы я объяснил тебе? — Я хотел попросить тебя об этом, если ты согласен. — То, что принадлежит мне, сказал он, принадлежит и моему брату. — Ты мог бы не согласиться. — Знаешь ли ты, что я слыву зендиком³⁵, бунтовщиком, вольнодумцем, а некоторые даже называют меня нечестивцем? Твоему отцу, конечно, не понравится, что ты

задерживаешься в моем обществе. — Мой отец живет своей жизнью. Мне предстоит прожить свою. В вольнодумце есть воля и есть дума. Эта программа полностью подходит мне. Он коротко засмеялся. Ты мне нравишься, сын Маймона. Я был, как ты, в твоем возрасте. И я еще не изменился. Хотя я и безбожник, я повторяю за пророком: "Дай пищу голодному, дай пить жаждущему; дай знания алчущему знаний". Я должен идти теперь. Если ты не изменишь своего намерения, приходи завтра после второго *салата*³⁶ в апельсиновый сад. Я буду ждать тебя у Пальмовых ворот. — Наши мудрецы говорят почти так же. Я приду. — Мир тебе, сын Маймона. — Мир с тобой, Ибн Рушд.

* * *

То, что началось в тот день, было без всякого сомнения самым счастливым периодом моей жизни. Этот промежуток времени будет коротким, поскольку далеко от Кордовы, далеко от моих мыслей превратности судьбы уже набирают разбег. Вопреки предсказаниям, зима была мягкой, весна ранней и ласковой, лето щедрым; но что мне было до времен года? Я чувствовал себя губкой, брошенной в высохший рукав реки, вода вдруг начинает прибывать, и я с жадностью впитываю ее до предела своих способностей поглощать. Неизвестные силы поднялись во мне и выталкивали меня из укрытия, в котором так долго удерживала меня моя плотская заземленность. Я переходил от изумления к изумлению, открытию, опьяненный самим собой и той субстанцией мира, которая проникала в меня, и я не обращал внимания на порождаемый этим миром непрерывный поток зла.

Я считаю маловероятным, чтобы, уйдя целиком

в сокровенные мысли, я в своем ослеплении не замечал, как Андалусия разваливалась, подобно плохо гашеной извести. Чума посетила побережье у Малаги, просочилась к Антекерре, набросилась на Кадис и Севилью. Кордову закрыли и охраняли, и во время эпидемии я, как и все, носил под рубашкой ожерелье из долек чеснока. Рецепт, без сомнения, был хорош: чума пощадила нас. У Альмерии земля дрожала, гора сдвинулась с места и поглотила деревни и предместья. Между Гранадой и Хаэном завязалась война; не было ни победителей, ни побежденных, только тысячи убитых с той и с другой стороны. В Андухаре Гвадалквивир вышел из берегов и затопил долину площадью в три дня ходьбы, унося дома, людей и стада. Гроза и град уничтожили весь урожай в провинции Осuna, и голод косил жителей. Дальше на севере, в стране испанцев, короли гневно провозглашали свое намерение изгнать неверных с полуострова и, раздираемые склоками, воевали друг с другом. Еще дальше король Франции и король Германии завязли в Антиохии в совместном крестовом походе, перед этим предав огню и мечу все, что попалось им на дорогах Византии.

Но самые тяжелые тучи собирались на юге. Беспощадно разгромив Магриб, полчища альмохадов, доведенные до фанатизма Ибн Тумером, пересекли пролив и расположили свой стан в Джебель-аль-Тарике. Их воинственный клич: Один Бог! Одна вера! Один халиф! начинал наводить повсюду ужас.

Но что мне было беспокоиться о толчках земной коры и о безумии людского сброва, о гневе небес и о скудости почвы, о том, что мусульманин-отшельник с Римского моста пророчествовал скорый конец света и жестоко клеймил падение нравов и угасание веры? Все бури были далеки от Кордовы, моего города, сытого, спокойного, нежащегося в благополучии в стороне от

путей несчастья. Никогда еще не было празднеств веселее, чем в ту зиму, не было таких сочных плодов на базарах, такого обилия редких товаров, мулов и лошадей на улицах, скота в хлевах и овчарнях; никогда еще масло наших олив не было более жирным, а вино наших виноградников — более сладостным и приятным на вкус, наряды наших богачей более элегантными и радующими глаз. Деньги текли, как вода с холмов, и все были обрызганы ими, даже я: дядя Йоад все более и более щедро наполнял мои карманы.

Какое мне было дело до рассеянно выслушиваемых рассказов путешественников, когда им вновь разрешили посещать наш город. Внезапно в нашем доме началась суета. Люди, о существовании которых я и не подозревал, а ведь они были близкими родственниками моего отца, останавливались у нас на несколько дней или несколько недель на пути к новым горизонтам: бездействующие и молчаливые мужчины, причитающие женщины, шаловливые дети — люди, сумевшие спасти от бедствия только свою жизнь и жалкий скарб. Я вспоминаю семью Рубен, беженцев из Альмерии, которые прибыли, можно сказать, голыми; два их сына погибли, унесенные потоками ила; третий, мальчик лет шести-семи, когда воображал, что никого нет рядом, пел одни и те же веселые куплеты, прославляющие радости путешествий. Тогда я не обратил на них никакого внимания; много позже эта мелодия и слова воскресли, они навязчиво звучат в моей памяти и посейчас.

Особенно мне запомнился дядя Эммануэль из Сеуты, мастер по изготовлению клепсидр — водяных часов, бежавший от преследований альмохадов. Это был красивый старик с медленной речью и скучными жестами, выглядевший комично в слишком широком и коротком кафтане, который дал ему мой отец, чтобы прикрыть наготу, ибо он прибыл к нам в лохмотьях, но не бросил

водяные часы — единственное спасенное им имущество. Он подарил их мне. Чаще всего он сидел на корточках на ярком солнце, на пороге нашего дома, глядя перед собой пустым взглядом, положив неподвижные руки на колени, и только легкое подрагивание бороды свидетельствовало о его беззвучном бормотании. Таким я представлял себе Иова, на убогом ложе, возносящим благодарения Господу. Постыдная мысль приходила мне в голову каждый раз, когда я проходил мимо него: как можно быть беженцем? Какой страх, какая паника доводит до столь жалкого состояния бродяжничества, которое неизбежно связано с нищенством и благотворительностью, если не с шаткой солидарностью семьи или клана? Что это, трусость или героизм? Упорство или потеря воли? Поражение или победа? Альтернативы были слишком тяжкими и могли привести меня к крайним суждениям, а я остерегался таковых.

Почему дядя Эммануэль покинул дом отцов своих? Бесстрастно рассказал он мне об этом. В то самое утро, когда воины нового халифа Абд-эль-Мумена овладели Сеутой, в то время как последние защитники города истекали кровью под ножами нападающих, кади³⁷ силой захватил еврейский квартал и объявил жителям приказ незамедлительно принять ислам или тут же уйти из города. Многие направились в мечеть, где их уже ждал имам³⁸. Некоторые пытались протестовать, и им тут же перерезали горло. У Эммануэля не было ни жены, ни детей. Он вышел из дома, держа в руках последнюю изготовленную им клепсидру, механизм которой он как раз тщательно отлаживал в это время. Он поклонился кади и ушел. Он поднялся на борт корабля, шедшего из Пизы, и сошел с него в Альхесирасе. Он потратил больше двух месяцев, добираясь горными тропами до Кордовы. Здесь он ждал, пока наберется сил, чтобы идти дальше.

Что это значило, дальше? Вне Кордовы для меня не существовало конкретных мест. Эммануэль сделал неопределенный жест рукой. Дальше. Может быть, в Испанию. Или в Прованс? Наг я вышел из чрева матери моей, нагим и положен буду в могилу³⁹. То, что происходит между этими двумя событиями, не столь важно. Я хотел бы родить сына, чтобы передать ему семейный секрет изготавления клепсидр. Сына? Ты, дядя Эммануэль? Так я узнал, что ему еще нет тридцати пяти лет. Мое удивление вызвало у него улыбку. Я состарился только за эти три месяца, сказал он. А раньше, если бы ты меня видел! Он встал передо мной и проделал какое-то танцевальное па, отчего чуть не упал. Весь прозрачный, в вытертом, слишком коротком и слишком широком кафтане, хлопающем его по икрям ног, он был похож на огородное пугало, раскачиваемое порывами ветра. Мне хотелось одновременно и плакать и смеяться.

Я не понимаю, сказал я. Столько горя, искалеченная жизнь — ради того, чтобы избежать притворного обращения в мусульманство. Счет не сходится. Задыхаясь, закрыв исхудавшее лицо руками, Эммануэль вновь упал на порог. Помолчав мгновение, он сказал: Тут нечего понимать. И так как я намеревался уйти, он позвал меня: Ты считаешь меня безумцем, малыш? Признайся, ты считаешь меня безумцем. Твой отец приютил меня и кормит меня, но и он считает меня безумцем. Да и сам я, с тех пор как покинул свой дом, иногда думаю, что я безумен. Может быть, так и есть? Ведь ушедших в мечеть много, во главе их раввин. Я не осуждаю их, я не одобряю их. Это их личное дело. Были такие, что не смогли сделать выбор, и тогда кади сам выбрал за них, и от этого у меня до сих пор болит сердце, потому что на это было страшно смотреть. И потом, были некоторые, и я среди них, которые почувствовали в душе тоску и

предпочли все бросить и уйти с каменным *нет* в сердце. Я говорю о себе. Секунду я колебался, а затем почувствовал *нет*. Я не утверждаю, что сам Бог вложил в меня это *нет* или что он мне должен что-то за это *нет*. Он сделал большие часы, я делал маленькие, между людьми одного ремесла не принято делать друг другу подарки. Я хочу сказать, что я недостаточно тверд в том, что касается религии. Неизвестно, куда может завести такая мягкость, и тогда предусмотрительный человек принимает некоторые меры. Утром и вечером я читал молитвы, чтобы поступать, как все люди моего народа. Я и сейчас читаю их и буду читать до последнего вздоха, потому что я, Эммануэль, связан с этой молитвой не обманной сделкой, а союзом, начало которого теряется в глубине веков. Я никогда не был настолько глуп или настолько наивен, чтобы считать, что Бог наблюдает за каждым из нас и взвешивает наши деяния в каждое мгновение. У него, должно быть, есть более важные дела. Я знаю, сколько забот доставляли мне маленькие часы. Ну, а большие?! Отвлечешься на миг, и все смещается. Ты думаешь, что мне должно было быть безразлично произносить *Аллах акбар*⁴⁰ вместо *Адонай элохейну*⁴¹, к тому же одно является переводом другого, да и никто не знает, не понимает ли Бог сегодня арабский лучше, чем еврейский. И все же я сказал *нет* и ушел, даже не оглянувшись. А ведь я любил смеяться, я любил петь, я любил свою работу, ко мне относились с почтением в моем квартале и во всем городе. У меня было все необходимое, и у меня было то количество излишних благ, которое делает приятной повседневную жизнь. Как раз в это время я думал, что наступила пора найти жену, чтобы иметь сына, которого я научил бы секретам ремесла, перешедшим ко мне от отца. Пустые мысли. И когда я был поставлен перед необходимостью выбора

между тем добром, что у меня было, и той растерянностью, что жила во мне, мною овладела глубокая тоска и из нее родилось это ужасное *нет*, которому я не мог противиться. Ты думаешь, будто я не знаю, что принудительное отречение от веры не имеет никакого значения и не обязывает по существу? Бог простил бы мне его, он прощает все, он и есть для этого. Я — нет, я не простил бы себе. Жить изо дня в день, как если бы я, Эммануэль, никогда не существовал? Следить за своими словами, жестами, образом жизни, рискуя каждое мгновение выдать себя? Прятаться, когда творю молитву, в страхе, что это откроется или что на меня донесут или оклеветают, зависеть от злой прихоти соседа? Построить свой очаг на лжи и фальши, признаться себе, что я уступил шантажу, и делать вид, что меня это удовлетворяет? Всему этому я сказал *нет*. Теперь ты видишь, малыш, я безумен...

Эммануэль не восстановил свои силы. Каждое утро я видел, как он становится все более серым, все более сухим. Он умер до наступления зимы и был положен в гроб нагим, как того желал. Его место не долго оставалось свободным. Семья кузенов, бежавших из Тарифы, заняла его, когда оно еще не успело остыть.

* * *

Заблуждаюсь ли я, говоря, что был нескованно счастлив в ту пору? Не думаю. Дядя Эммануэль вызвал у меня сочувствие, другие беглецы вызывали скорее раздражение. Мне казалось, что они стесняют окружающих, что они никому не желаны, что они спесивы под фальшивой личиной смирения. Что бы мой отец ни делал, дабы их жизнь в изгнании была сносной, все вызывало неудовольствие. Всегда всего им было недостаточно. Без-

действие накладывало на их лица выражение вечного упрека. У себя дома они располагали и тем и другим, и вдруг им страшно стало не хватать всего этого. Кузены из Тарифы старались подчеркнуть свою более близкую степень родства с нами, чтобы получить предпочтение перед кузенами из Альмерии; строгое равенство положения возмущало их, они по минутам высчитывали время у фонтана, они следили опытным взглядом за содержимым тарелок, они готовы были ссориться из-за воды, которую пили, из-за воздуха, которым дышали. Женщины ухищрялись давать указания Элизе, а та с криками и плачем отбивалась от них. Детвора по-хозяйски пробиралась во все уголки дома, без стеснения опустошала сад или завершала затеянные родителями распри.

Отец соглашался со всеми требованиями, ублажал одних, утешал других, но старался почти не показываться. Он устроил себе рабочий кабинет в соседнем с синагогой здании, принадлежавшем общине, и возвращался домой только есть, молиться и спать. Он сохранил эту привычку и тогда, когда все кузены рассеялись и временно можно было не опасаться новых нашествий. Действительно ли политическая обстановка в Андалусии шла к упрочению? Надеялись на это, но не очень верили; верили в это, но не очень надеялись. Не очень много думали об этом, основываясь на поверии, что именно страх открывает дорогу несчастью. Кордова продолжала существовать под покровительством небес, под мудрым руководством своих предводителей — мусульман, евреев, христиан. Они сделали ее образцовым городом, где процветали искусства, творения духа, где текла беззаботная жизнь, и крепостью, противостоящей пагубным веяниям. Ничего удивительного, что она вызывала завистливые взгляды и вспышки вожделения.

Иудерия любила беженцев: они подтверждали

степень ее стабильности и могущественности, она не меньше любила, когда они уходили и распространяли о ней добрую славу; она же тем временем принимала новых. Переселенцы, со своей стороны, восхваляли ее сдержанно и неохотно, они втайне таили на нее обиду за то, что она нуждалась в их свидетельстве. Таким образом все уравновешивалось как нельзя лучше. И только мусульманин-отшельник на Римском мосту целыми днями предрекал близость иных времен.

Я же общался с более высокими личностями и звали их Пифагор из Самоса, Эвклид из Александрии, Птолемей из Птолемаиды, а также Альфараби, Газали, Саадия⁴². По утрам я еще присутствовал в талмудической школе, и с тех пор, как я посещал ее только полдня, учение там приносило мне больше пользы. У нового учителя уже не было оснований жаловаться на меня отцу и тот больше не укорял меня взглядом. В день моего тринацатилетия я был допущен к церемонии *бар-мицва*⁴³ в присутствии Совета мудрецов и его князя, который впервые на моей памяти улыбнулся мне и сказал несколько любезных слов. Сын дочери резника обретал свое место в обществе, и это событие требовало некоторого снисхождения.

Для меня это изменение отношения наступило слишком поздно: шалопаем я был, шалопаем я останусь. В течение всей церемонии во мне, как эхо, звучали слова дяди Эммануэля: "Не обманная сделка, а союз". Впрочем, если подготовка к публичному возведению в сан вызывала во мне робость, то само заседание показалось мне томительным, а его завершение разочаровало меня. Печать Господа, возложенная на мое чело, не оставила на нем никакого знака. Я не почувствовал себя ни взрослее, ни лучше, ни в моих качествах, ни в моем состоянии не произошло никаких изменений, которые говорили бы мне, что отныне я — муж среди мужей. Но вокруг шумно

ликовали. Меня обнимали, поздравляли, целовали; после чего каждый вернулся к своим занятиям, а я остался, растерянный и немного грустный. Лучше, чем кто бы то ни было, я знал, какой долгий и суровый путь мне предстоит пройти, чтобы стать мужем, открытым для мира по тому образцу, который я для себя создал.

Странная привязанность влекла меня к Ибн Рушду, моему учителю. Он по-прежнему держался холодно и на расстоянии, иногда даже оскорбительно, когда направлял на меня острие своего юмора, но всегда был готов помочь мне и направить меня; и я любил его. Он ввел меня в библиотеку, которая сразу же стала моим вторым, если не первым, домом. Ничто на земле не может с ней сравниться, даже Александрийская Птолемея, уничтоженная огнем⁴⁴. Можешь ли ты представить себе более роскошное святилище, размерами с целый город, объединяющее десятки зданий, отделенных одно от другого апельсиновыми деревьями и кипарисами, и лабиринт галерей, перемежающихся фонтанами и тенистыми уголками, столь благоприятными для размышлений? Сюда нет входа мирскому шуму и ярости толпы. Сюда стекается вся поэзия и вся наука обитаемых земель. Считалось, что в деревянных и кожаных сундуках хранится более четырех сотен тысяч книг. Множество переписчиков, каллиграфов, рисовальщиков, переводчиков, студентов, читателей трудились там в тишине, и у каждого было свое дело, свои мечты, свои думы. В то время существовала поговорка: если ты хочешь продать драгоценный камень — поезжай в Багдад; лезвие меча — в Сирию; но если хочешь отдалиться от какой-либо книги — поезжай в Кордову. В течение трех веков наш город собирал, не скупясь и тратя большие суммы, самые полезные и самые редкие манускрипты и заботливо хранил их. Там были египетские папирусы, арамейские свитки, тексты

на санскрите, еврейском, греческом, латинском, персидском, сирийском, магрибском, андалусском, оригиналы, копии и арабские переводы; все они дремали, готовые воспрянуть по первому зову эрудита или любознательного читателя. Рассказывают, что халиф Аль-Хакем содержал целую армию посланцев вокруг Великого внутреннего моря; они должны были искать и покупать книги для библиотеки, основанной им на деньги, завещанные одной из наложниц, и что за некоторые фолианты было уплачено до ста тысяч пиастров.

Все эти сокровища могли быть моими, достаточно было хотеть этого и к этому стремиться, я же не желал и не хотел ничего другого. Как только школьные занятия отпускали меня, я устремлялся в святилище, дабы продолжить прерванное накануне поздно вечером чтение. Ибн Рушд руководил моим выбором в первое время. Он был прав, когда заставил меня начать с геометрии, математики, астрономии — дисциплин, сравнительно легких для постижения. Логику, медицину и философию следовало отложить на более позднее время, но мое нетерпение жаждало слишком много, и я бросался на все, что попадало под руку, без системы. Я досадовал, что дни столь коротки, часы столь быстротечны, а темные места в текстах столь многочисленны и мои возможности столь ограничены.

Дважды в неделю, после второго *салата* я присоединялся к моему молодому учителю в апельсиновом саду мечети. Мы располагались на краю большого фонтана Аль-Мансура, который служил нам и сиденьем и столом; когда шел дождь, мы находили убежище среди колоннад, окружающих внутренний двор. Ибн Рушд отвечал на мои вопросы, объяснял то, что мне казалось трудным, или то, что, по его мнению, я неверно понял. Иногда я читал по его указанию поэмы Мутенабби или Хабиба⁴⁵, иногда он приносил

любовные мадригалы собственного сочинения. Случалось, что и другие юноши окружали нас, и тогда завязывался разговор об Аристотеле⁴⁶, общем властителе дум. Ибн Рушд знал "Органон"⁴⁷ наизусть и цитировал оттуда без труда целые страницы. Он недостаточно владел греческим для изучения Аристотеля в оригинале, но у него имелось несколько переводов на сирийский⁴⁸, и он сопоставлял и критиковал их достоинства и несовершенства. Он сам намеревался составить обширный комментарий к перипатетической философии. Могу ли я передать тебе, каким блаженством для меня было стать учеником такого чуда учености?

Я не понимал половины того, что говорилось, но я понимал, что это должно быть сказано, ибо говорило само олицетворение истины. Когда речь заходила о философии, я мог только безмолствовать; слушать — казалось мне уже незаслуженной привилегией. Ибн Рушд боготворил Аристотеля. Я боготворил Ибн Рушда. Понадобились долгие годы учения и размышлений, чтобы суметь впоследствии отделить долю теории от доли разглашений. Истинная доктрина грека из Стагир известна нам очень плохо; то, что мы знаем, основано на приблизительных копиях приблизительных переводов, и многие тонкости и нюансы, вероятно, были утеряны в пути или изменили смысл по произволу переписчиков. Несмотря на такие неточности, воспитатель Александра в наше время властвовал над умами. Аристотель, говорил Ибн Рушд, — начало и конец всей учености. Он заложил основы самых высоких наук человеческого духа и вознес их до абсолютного совершенства. Ничего нельзя отсечь и ничего нельзя добавить, не нанося ущерба самому совершенству. То, что все это соединилось в одном человеке, — удивительно и чудесно, и делает его равным Богу.

Мой молодой учитель богохульствовал и очень

хорошо знал это; и мы, слушавшие его, тоже знали. Но гром не грянул с небес, земля не разверзлась и не поглотила дерзкого, и легкий ветерок, игравший апельсиновыми листьями, не обернулся ураганом. Я же почувствовал от этого вольномыслия сладостную дрожь, как при победно преодоленной опасности. Значит, можно без особого риска так думать и говорить такой исключительной серьезности вещи, воспрещаемые как верой Ибн Рушда, так и моей, возносить человека, будь то хоть сам Аристотель, до равенства с Богом, которому нет равных? В определенные эпохи этого было достаточно, чтобы святотатец был предан смерти, ибо если Бог и не убивает, то ревнители его прекрасно выполняют за него эту работу.

За одно только подобное слово отец навсегда прогнал бы меня с глаз долой. А мой молодой учитель отваживался! И под сенью мечети! Разве не было некоего совершенства в таком акте свободы? Вечером в постели, мучимый волнением, не дававшим мне заснуть, я еще долго думал. А что если бы я тоже посмел? Мне вовсе не нужно было совершать насилие над собой, чтобы думать, будто Ибн Рушд для меня тоже равен Богу. Я громко и отчетливо произнес эту фразу несколько раз. И сон обнял меня в самый разгар богохульства. Назавтра, когда я уже собрался идти в школу, Элизе остановила меня. С лукавым видом она сообщила, что ночью я громко говорил во сне, а это признак того, что я должен немедля познать женщину.

* * *

На левом берегу реки, за Римским мостом, на вершине холма выселись три мельницы. Самая большая служила для давления оливок; самая

малая — для размалывания зерна; средняя — для выжимания сусла. Владельцем их был тучный бербер, он также давал внаем верховых и тягловых лошадей. Случалось, что возчики брюзжали, томясь в ожидании у ворот мельниц, и от скуки частенько затевали потасовки. И вот предприимчивый и хитрый мукомол-барышник устроил у подножья холма публичный сераль, где мужчины развлекались в ожидании очереди на мельницу.

Другие подобные заведения процветали за пределами города. Это же обязано было своей славой стечению некоторых обстоятельств. Возчики приезжали только в сезон жатвы и сбора урожая. Когда же крылья мельниц переставали вертеться, там охотно прогуливалась золотая молодежь Кордовы. Тогда бербер обновлял состав девушек и приглашал врача, который каждое утро осматривал их и следил строго и требовательно за гигиеной. Дешевые скверные вина сменялись первоклассными и дорогими; шелка и бархат покрывали ложа, шерсть регулярно взбивали. На восемь месяцев в году мельничный сераль превращался в придаток университета. Не было ни одного будущего доктора, который бы не прошел там практику, посещая сераль регулярно или с перерывами. Ибн Рушд не пытался скрывать, что был там завсегдатаем.

Ты знаешь, что наше Писание не скupится на советы в этой области и что наши мудрецы карающим перстом указывают на недостойного, который находит удовольствие в любовных упражнениях. Я и сам много написал о таких недостойных действиях, в частности целый трактат о половой жизни по просьбе султана Аль-Афдала. Эта книга считается авторитетной; однако я вложил в нее не все мои знания. Самое меньшее, что я могу о них сказать, это что они не свободны от путаницы. Я с сожалением констатирую, что мое мнение подобно флюгеру, стрела которого то в одной

стороне, то в другой – по воле ветра. Как и наши ученые, я считаю, что унизительно думать об этом, позорно говорить об этом, заниматься этим мерзко; вместе с тем, я вынужден признать очевидным, что многие люди, если не большинство, с удовольствием мечтают об этом, со вкусом рассказывают об этом и считают возвышенным предаваться этому.

Я не могу забыть, как Ибн Рушд соглашался с Аристотелем, что это влечение – самое постыдное в человеке, но при этом добавлял, что для него невыразимое удовольствие – быть бесстыдным человеком. Парадокс вольнодумца? Я же в ту пору бесстыдным юношей был, но удовольствия не знал. Как новое вино в старых бурдюках, соки юности бродили в моей окаменевшей плоти. Жгуче болезненные фурункулы нарывали у меня на коже. Мне снились кошмары, и, проснувшись, я долго еще вздрагивал при воспоминании о них. Элизе угадала верно: наступило время; но время чего – спасения или проклятия? Я читал в писаниях наших мудрецов: *Если ты испытываешь вожделение и если ты страдаешь от этого, беги в школу бегом, отдайся целиком чтению и размышлением, спрашивай себя и пусть другие спрашивают тебя, и несомненно твое страдание рассеется;* и так я и поступал, но страдание не рассеивалось. Я читал в другом месте: *Если к тебе придет желание, не беги его, противься ему; как железо оно расплавится; как камень оно раздробится;* я противился, но оно не плавилось и не дробилось.

Следовало ли заподозрить наших мудрецов в отсутствии мудрости или винить себя в неумении применить советы? Кто из них, Бог или демон, придумал такое устройство, чтобы подвергнуть нас испытанию или предать бесконечной муке? Чем больше я погружался в эту дилемму, тем она становилась менее ясной. Меня не так уж страшили молнии и громы суда небесного. Все

мое существо возмущалось неотвратимым характером процесса, который я был не в состоянии обуздить. Дело было не в том, чтобы зажать мою волю сильнее, чем если бы целью было — сломить ее, а в том, чтобы стать ангелом, а об этом и речи быть не могло. Зверь хотел сказать свое слово, и он говорил его, ни о чем не заботясь. Главная роль была у него, поскольку он присвоил себе последнее слово.

Не устоять перед вожделением — это было не страшно. Не устоять в звании человека — вот что было ужасно. Такое поражение содержало в себе признание нашего животного начала и ставило под сомнение все учение; оно влекло за собой последствия, размах которых потрясал самый рассудительный ум. Или под всем этим скрывался демон, и в таком случае вся природа по своей сущности демоническая; или деление, совершенное Законом, имело началом невозможное и заранее проигранное pari. Муха на мухе, петух на курице, баран на овце — они не ели запретного плода от древа. Станный генезис, по которому все, живущее парами, сотворено из праха, кроме человека, ведь его жена создана в ущерб его субстанции и с запретом знать, что нага она.

Тебе известно, что среди очень многих поколений наших толкователей Учения я первый стал утверждать как принцип, что слово Божье отлито в символах и что только успехи познания позволят открыть его значение. Это весьма неудобное утверждение вызвало волну враждебности ко мне, что меня не удивляет. Всю свою жизнь я старался вводить логический смысл в то, что, по видимости, не имело его. Я бросил вызов аллегории, дабы заставить ее сбросить маску, опираясь как на бесспорное, что Закон может быть только справедлив и мудр, и дабы возвысить человека. Мне часто приходилось признавать слабость моего разума и прерывать доказательства у порога

тутика. Это была моя личная трагедия, о которой никто не знал. Я бился над откровениями, чтобы прийти к истинам, которые ускользали, как только у меня возникала иллюзия, что они в моей власти. Таковы были мои достойные мысли. А недостойные? Сегодня, подводя итог своим размышлениям, я глубоко убежден, что толкователью, каким я пытался быть, и натуралисту, каким я стал силою обстоятельств, никогда не удавалось жить в мире и согласии.

Существует то, что я думаю. Существует то, что я считаю. Существует то, что я делаю. Существует то, что я испытываю. И при этом у меня есть только одна оболочка для всего этого разнообразия, и оно безжалостно раздирает меня на четыре части. Какая безумная гордыня заставила меня обучать подобных мне науке, которая во мне самом была лишь смутой? Если ты внимательно читал мои книги, ты, конечно, заметил, что я неоднократно употребляю оборот: **ясно, что...** Если это выражение так часто выходит из-под моего пера, то именно потому, что **ничто никогда не было ясно**.

Является ли сказанное признанием того, что я лукавил? Тоже нет. Я упивался умозаключениями, и это было весьма благотворно для смягчения состояния опьянения. Я утверждал, что инстинкт воспроизведения — самый низменный в иерархии чувств и физическое наслаждение — смертельный яд, дабы дать награду моему помраченному разуму, отказывающемуся прийти в согласие с плотью и упорно укрывающемуся в наигранной нематериальности. Но я никогда не сомневался, что плоть и разум имеют одну сущность, и все написанное мною свидетельство тому. Тогда к чему эта ложь? Дабы каждый был волен найти свою собственную истину.

В моем толковании к **”Авот”**⁴⁹, в моем сочинении о диете, во многих местах в **”Морé”**⁵⁰

ты увидишь безусловное осуждение того импульса, который толкает мужчину к женской наготе, и того удовлетворения, которое он при этом получает. Но я был достаточно честен и добавил, что любовное упражнение не слишком вредно для молодых и что сохранение привычки является менее опасным, чем ее нарушение. Итак, дверь остается открытой для естества и закрытой для злоупотреблений.

Прости мне это отступление: я не вышел в нем за пределы темы. Сегодня, когда мне больше шестидесяти пяти лет, я рассчитался с этими волнениями полностью или почти полностью. Я могу смотреть сверху и объясняться без страсти. Как мог я обрести такую отрешенность в возрасте, когда у меня ломался голос? Мой разум живо последовал бы за велением плоти, если бы мой страх перед необратимым не держал его в узде. Иногда я налагал на себя ребяческие обязательства умерщвления плоти, как, например, целый день ни к чему не прислоняться сидя, или воздерживаться от мочеиспускания, доводя себя почти до обморока, или еще, держать руку над пламенем лампы до ощущения запаха паленого рога, и все это без всякого результата, если не считать того, что я убедился в своей слабости. Зверь не отступал, а если он позволял усыпить себя на время, то вскоре просыпался еще более требовательным и властным. Я чувствовал себя погибшим, но вовсе не удрученным этой погибелью. Зверь играл наверняка; бесспорно, сопротивляясь ему было еще большим безумием, чем уступить. Мысль, что можно сделать его своим союзником, еще не коснулась моего разума. С каждым днем усталость от этой битвы без славы и без надежды становилась сильнее страхов. И наступил момент, когда я вынужден был сдаться.

Однажды вечером, когда споры в апельсиновом саду, угаснув, затихли, я последовал за Ибн

Рушдом и некоторыми другими в сераль у мельниц. Я ожидал увидеть ад; это оказалось наивным подобием рая: роскошный, пышно разросшийся сад, мягкое мерцание огней, аромат курящихся благовоний и тихое спокойствие. Щедро лилось вино из Малаги. Мой молодой учитель и некоторые из его учеников с неожиданным вдохновением читали волнующие лирические поэмы. Часы незаметно текли в чередовании музыки, песен и танцев. Это было как раз в меру весело, чтобы не быть омерзительным, и настолько изящно, что не было вульгарным. Под утро юная невольница, едва достигшая совершеннолетия, своей гладкой атласной кожей похожая на обкатанную рекой гальку, мягко провела меня через порог невинности. Когда я заметил это, все уже было позади.

Что нового могу я открыть тебе, ведь приключение настолько заурядно? Может быть, только то, что я вновь обрел свободу. Мир, и не только для тела, но и для души, мир, завоеванный ценой падения; плата была не очень дорогой. Больше не было необходимости бежать в школу бегом; я мог идти туда шагом и не для того, чтобы доводить себя до изнеможения, а ради углубления в знания. Больше не было необходимости умерщвлять плоть; напротив, я был ей признателен за ее богатую творческую силу, приливы которой унижали только то, что было низким, но облагораживали то, что было благородным. Грех – это то, что смущает душу; моя же душа вышла из испытания чистой, омытой от всей накопившейся в ней грязи. Я не чувствовал себя ни торжествующим, ни подавленным. Я чувствовал себя совсем другим, новым в обновленной оболочке, как если бы самим собой я был рожден заново.

Взошла заря со своей обычной свитой – прохладой и усталостью. Заспанные и молчаливые мы беспорядочно пустились в обратный путь. Я

жался к Ибн Рушду, мне так нужны были его братская дружба и теплота. На Римском мосту внезапно вынырнул из своей каменной норы мусульманин-отшельник, бледный призрак в бледном свете ветреного утра. Никогда еще он не бередил мне так душу: с беззубым ртом, с досиня выбритой половиной черепа, с одной босой ногой, а другой обернутой в солому, хромой, в лохмотьях, болтающихся на изможденном теле. Презренные философы! кричал он, поднимая гневный перст к небу. Развратники! Подонки! Когда земля задрожит и когда она сбросит с себя то, что тяготит ее, совершивший атом добра увидит это и совершивший атом зла тоже увидит это! Суд грядет! Уже наточен меч, который падет на ваши гнусные дела! Гнев Всевышнего будет страшен! Обычно достаточно было мелкой монетки, чтобы смягчить его и заставить замолчать. Никто из нас не сделал ни малейшего жеста. Мы быстро прошли мимо. И долго вслед нам неслись его хриплые угрозы и проклятия.

Когда я добрался домой, у порога меня встретил мрачный взгляд отца, подобный, как сказано, *огненному мечу, разящему налево и направо*. Первый раз я провел ночь вне дома, и отец не спал и ждал меня. Он казался не столько разгневанным, сколько удрученным. Ты пришел в этот мир, сказал он мне, только ради низостей жизни. Иди, я не знаю тебя! Сказав это, он отвернулся и пропустил меня. Элизе дала мне горячего питья, провела к постели и тепло укрыла. Спи, мой большой, сказала она мягко. К тому времени как ты отдохнешь, старый ворчун сменит расположение духа, я ручаюсь тебе. Несмотря на усталость, сон не шел ко мне. Потихоньку, осторожно тишина спальни, запах свежего воска приблизились ко мне, все знакомые предметы и даже стены окружили меня вплотную.

Но все это волшебство уже ничего не могло изменить в бесповоротно принятом мною решении: я покину отцовский дом, как только проснусь.

* * *

Уйти. Это нужно было сделать без промедления, без уступок, без возврата. Ты знаешь, я всегда выступал против астрологии, которую считаю спекуляцией и притворством; только простакам она внушает почтение. Но я вынужден признать, что рожденным весной⁵¹ присуща некая порывистость, часто неосмотрительная, доводящая до крайностей, и именно она составляет основу моего характера. Впереди у моей решимости не было никаких планов; позади — только неприятие. Мне нужно было рвать привязанности, и тем хуже, если Кордова была частью этого разрыва. Куда я пойду, что буду делать — у меня не было ни малейшего представления, и это не имело значения. Уйти — только это одно было важно.

Было еще темно, когда сон покинул меня. Я сообразил, что необходимо взять с собой некоторые вещи: плащ, потому что дело шло к осени; дорожное покрывало, может быть, нож обязательно, таллит и тфиллин⁵² и книгу Ибн Сины, доставшуюся мне от Иехуды ха-Леви.

В то время как я наощупь связывал все это в узел, на пороге комнаты засветился огарок свечи и тени заплясали по стене. Мягкими неслышными шагами ко мне подошла Элизе. Фитиль коптил и пламя едва не срывалось с его кончика, потому что державшая его рука дрожала. Я перестал затягивать шнурок: я боялся, что горбунья поднимет крик. Молчи! умолял я ее одними губами, когда она подошла совсем близко. Желтое лицо Элизе, зажатое между плечами, подергивалось судорогой. Ты уходишь? сказала она почти без

голоса. Приободренный этим сообществом, я кивнул. Куда ты идешь? Неопределенный жест, показывающий, что мир велик. Ты вернешься? Я еще не думал об этом. Конечно. Когда? Когда-нибудь, может быть, скоро. Позже, наверняка. Элизе закрепила остаток свечи в щели на столе. Пойди поцелуй брата, сказала она. Не буди его. Только посмотри. И если сможешь, поцелуй.

Она бесшумно открыла дверь, вновь взяла огарок и пошла впереди меня. Я слишком поздно понял, что горбунья завлекла меня в ловушку. Слабый свет падал на кудрявую голову, пухлые губы и приоткрытый рот. У меня сжало горло и к глазам подступили слезы. Маленький царь Давид. Слишком занятый собой, я забыл о нем. Тень от длинных шелковистых ресниц падала на щеки, во сне он выглядел по-незнакомому дерзким. Он спал, как все дети, разметавшись на спине, отбросив одеяло, рубашка на груди шевелилась от его ровного дыхания. Несколько капелек пота выступили у крыльев носа. Шесть, семь лет? Я не знал точно. Он уже несколько лет ходил в школу, к учителю, который сильно был розгой. Элизе поправила одеяло на его голой груди. Поцелуй его! шепнула она мне. Я не мог; если бы я поцеловал брата, я не ушел бы. Из приоткрытой двери соседней комнаты слышался негромкий храп, похожий на журчание глубокого ручья. Бедный Давид! Он остается со слишком старым отцом и подобной ребенку горбуньей, а ведь кто может помочь этому мальчугану найти свой путь, если не я, старший брат, которому помог случай? Так же внезапно, как раньше пришло решение немедленно уехать, мне стало очевидно, что придется скоро вернуться. Я не имел права порвать эту связь, как бы ни была тонка удерживавшая ее нить.

Поцелуй же его! еще раз прошептала Элизе и для усиления приказания подтолкнула меня. Я

упрямо покачал головой. Хитрость была слишком явной и не могла провести меня. Я не буду долго в отсутствии, подумал я; несколько месяцев; самое большее год, и вернувшийся не будет подобен уходящему, не будет подобен отломанной от ствола ветви, плывущей неглубоко под водой; я приобрету корни. Я протянул руку и двумя пальцами слегка коснулся непослушной кудрявой пряди волос, упавшей на лоб брата. До скорой встречи, Давид. Я постараюсь часто вспоминать, что я, может быть, нужен тебе. Я не мог больше выдержать и выбежал из комнаты.

Элизе последовала за мной мелкими торопливыми шажками. В патио она вцепилась мне в руку. Есть горячая вода, сказала она. Я приготовлю тебе чай. Ты, по крайней мере, не уйдешь с пустым желудком. И потом, что же! Ведь нет ничего срочного. Подожди пока рассветет. "Низости жизни" не дают мне покоя, сказал я, слегка повысив голос. Я ничего не хочу, спасибо. Элизе хлопнула себя по лбу, как если бы вдруг к ней пришла вдохновенная мысль. А деньги, есть у тебя деньги? Ответом было мое молчание. Но тебе необходимо иметь немного денег! Подожди, стой здесь! Главное – стой! Обещаешь? Она исчезла и быстро вернулась, задыхаясь и держа в руке кожаный кошелек. Она силой привязала его мне на шею, пока я прилаживал на спине узелок. Здесь не так уж много, сказала она. А вести? Ты дашь мне знать о себе? Поклянись, что дашь! Для меня самое трудное было уже позади. Мне осталось только сделать последний шаг. Ну, как я дам тебе знать, Элизе? Ты же не умеешь читать. Она все еще цеплялась за меня. Многие люди ездят туда и сюда. Если встретишь тех, у кого в мыслях пройти через Кордову, скажи им. Клянешься? Клянусь, сказал я. Мне пришлось силой разжать ее паучьи пальцы, чтобы освободиться. Когда я поспешил проходил в темноте по коридору,

отклеившаяся плитка, как всегда, покачнулась под моей ступней. Дом подавал второй знак, призывая меня к моим обязанностям. Ребенок и камень. Этого было достаточно, чтобы уже пробудить во мне чувство сожаления.

В двух шагах ничего не было видно, такая стояла непроглядная ночь. Половка прошло с тех пор и совершилось столько более памятных событий, но мне кажется, я и сейчас до кончиков пальцев чувствую гулкие удары сердца того юноши, который ощупью пробирается по пустой и темной улице. Подвергни его пыткам, он все равно не признается, что ему страшно; и все же страх в нем так же велик, как то неведомое, в которое он сладострастно погружается. Страх, что дом придет в движение и вернет меня; что город покроется волнами и я не смогу пройти посуху; что пустыня, которую предстоит пересечь, окажется безбрежной, что свобода, которую предстоит завоевать, — непобедимой, что этот побег превратится в поражение, которое окажется поражением всего моего существования. Страх без причины и без основания, но ясный, холодный, напряженный, как тетива, готовая разорваться и разорвать меня между отказом и зовом.

Ни звука, ни огонька — ничто не спешило мне на помощь. Каждый последующий шаг не был вознаграждением за предыдущий; впрочем, нет: только памяти стоп моих, ног моих я был обязан тем, что очутился на дороге, ведущей ко двору моего дяди, и я понял в тот же миг, что не могу покинуть Кордову, не поговорив с Йоадом. И с Ибн Рушдом. Мне не нужно было ничего объяснять им и просить их о помощи. Я был уверен, что они и так поймут меня и помогут мне. Тем самым, я давал себе отсрочку, которая, может быть, могла смягчить безрассудство моего поступка.

Справа в прибрежных ямах с плеском бились

волны, и низко в кустах свистел ветер. На небе ни одной звезды. Я шаркал подошвами по земле из опасения натолкнуться на что-нибудь и упасть. Изредка впереди что-то шуршало: мышь или уж, обеспокоенные моим приближением. Берег, столь веселый и оживленный днем, был сейчас зловещим. В какой-то момент я подумал, что ошибся и миновал свою цель, настолько длинным показался мне путь. Наконец по запаху я угадал двор дяди. Засов на воротах был задвинут изнутри, но в стене был проход, и я направился туда. Как подстегнутые кнутом, бросились ко мне собаки, но вовремя узнав меня, виляя хвостами, последовали за мной. У меня не было ни малейшего представления о времени. Дверь овчарни держалась только на задвижке. Внутри стоял сильный теплый запах и в глубине что-то шевелилось. Мне удалось нащупать в углу охапку сухой соломы. Подложив узелок под голову, я заснул.

* * *

Понятно, сказал Йоад. Может быть, ты прав. Может быть, ты не прав. Кто может знать? В конце концов, твоему возрасту свойственно желание видеть разные страны. Я тоже в тринадцать-четырнадцать лет отправился посмотреть мир. Есть другие реки, другие города и повсюду люди до того схожи с тобой, что просто невероятно. После того, как ты долго будешь влакить свои стопы в пыли дорог, ты рад будешь вернуться, я ручаюсь. Твой отец — справедливый и добрый человек, но он считает себя не обычной спицей в колеснице. Если действительно он царских кровей, как об этом говорят, что осталось от этой крови после сорока семи поколений диаспоры? Не больше капли или двух. Так или иначе, кровь — это ничто. Я, Йоад, уж я-то в этом кое-что

понимаю. Ученый — согласен; царственный — может быть; сухарь — наверняка. Тот, кто не умеет ничего делать руками, вызывает во мне уважения не больше, чем муха. Спасение людей создается руками, а не головой. Заметь, я не говорю дурно о твоем отце. Я рассуждаю в общем. Я уверен, что его гордость будет сильно задета, когда в городе узнают, что старший сын Маймона сбежал как вор и что он отправился куда глаза глядят. Ему будет полезно сжать зубы и пережить этот стыд. Он будет рад еще больше тебя, когда ты вернешься, не опустившись, цел и невредим. Потому что ты не совершишь ничего бесчестного, я верю в тебя. Мне смешно, когда я думаю, сколько своей царской крови он попортит. Он не покажет вида, но ему это дорого станет и будет хорошим уроком. Я давно ожидал чего-нибудь в таком духе. Оно пришло, и это справедливо. Как бы то ни было, ты не только носитель той капли, ты еще получил пять литров крови от моей сестры, а мы — порядочные люди. Не позже, чем сегодня пополудни я сделаю для тебя письмо-обязательство, по которому ты сможешь получать деньги в любом городе Андалусии и даже у испанцев и царфатов⁵³, если тебе вздумается пойти к ним. Хорошо! Не говори ничего! Тебе это не нравится? И все же ты возьмешь письмо.

Прежде всего, я даю тебе не милостыню. Тебе это полагается по праву. Потом, я не заставляю тебя бросать деньги на ветер. Их слишком трудно зарабатывать. И если тебе удастся обойтись без письма, тем лучше. Образованный парень, как ты, может найти себе работу всюду, где он будет. Если ты хочешь доказать себе это, считай, что уже доказано. Не забывай, что мы представляем собой большую семью и что ты — Бен-Маймон⁵⁴ из Кордовы. С таким именем вполне можно обойти вокруг света, не попадая в затруднительное

положение. Но лучше иметь запасное колесо к телеге. Никогда не знаешь, что может случиться. А есть опасения, что в скором будущем что-то случится. По последним сведениям, альмохады двинули свои отряды к Ронде. Ты говоришь: а что тогда? А тогда они проведут там зиму, а к весне двинутся в сторону Осуны и Эсихи. Их интересует Кордова, а, может быть, и Толедо. Ты думаешь, что они не посмеют? Что эмир Кордовы располагает войском в сто тысяч человек? Прежде всего, они посмеют, потому что они высадили более пятисот тысяч всадников из Магриба, возбужденных, как макаки в брачный период, и коварных, как гиены. Затем, потому что армия эмира – это дермо: одна половина – слишком жирные наемники, а вторая – слишком худые рабы. Когда альмохады причалят к берегу реки, и жирные, и худые разбегутся, как стадо ослов при виде льва. А со стоящими во главе войск еще хуже. Многие из них открыто ропщут на загнивание нравов, на слишком легкие деньги для тех, у кого они есть, на упадок веры и особенно на развращенность как следствие просвещения. Твердая и сильная рука – вот о чем они вздыхают, эти военачальники. И альмохады несут им ее под копытами своих коней. Один Бог. Одна Вера. Один Халиф. Ты не заметил, что на стенах арабского города все больше таких надписей? То, что произойдет, – я хорошо представляю себе. Верхушка армии раскроет им свои объятия, сама армия побежит со всех ног, эмир уедет в Гранаду, затем в Альмерию, а оттуда в Левант, нам на голову свалятся фанатики. Ты думаешь, я преувеличиваю? Пусть будут твои мысли вернее моих! Что знаю я точно? Придется брать то, что есть. Ты знаешь, что люди, несущие в себе ревматизм, чувствуют приближение грозы? Я несу в себе иудаизм; я чувствую приближение преследований. Слишком долго мы жили здесь спокойно.

В тебе, может быть, течет капля царской крови? Во мне наверняка течет пinta крови пророка. Нет ничего легче, чем прорицать будущее; достаточно предрекать несчастья и злоключения, они тлеют, как огонь под землей, и всегда достаточно близки. Ты говоришь, что такие времена миновали? Что мир вступил в эпоху разума? Что Кордова слишком развитый город, чтобы вернуться к варварству? Что люди всех общин научились понимать, принимать и уважать друг друга? И это верно. Если глупость и дикость не являются естественным состоянием, у Кордовы есть надежда. Что там в вышине Бог определил для нас — знает только Он один. Если Он готовит для нас одно из тех испытаний, секрет которых Он хранит, я постараюсь, я, Йоад, достойно выдержать его. А теперь, хватит разговаривать! Пойди причешись, я вижу, у тебя полно соломы в волосах. Моя жена даст тебе поесть. А мне пора идти в город. У меня там дела.

* * *

Ибн Рушд не выразил никакого удивления привести о моем уходе. Несмотря на разницу в возрасте и в положении, между нами давно установились отношения доверия и дружбы. Глядя, как мы вместе прохаживаемся, никто и подумать не мог, что это учитель и ученик. За минувший год я вырос как на дрожжах. Я стал на полголовы выше отца, мне всего лишь одного дюйма не хватало до роста Ибн Рушда, а он был явно ростом выше среднего жителя Кордовы. Без похвальбы я могу также признать, что шаги, сделанные мною в науках, были весьма успешны — и в наших беседах моему мнению случалось одерживать верх. Он никогда не проявлял досады, если мои доказательства оказывались более обос-

нованными, чем его; напротив, в подобных случаях он выражал свое удовлетворение (произошедшее не только из учтивости), то есть как если бы я оказывал ему честь, запомнив "Альмагест"⁵⁵ лучше, чем он.

Когда он восхвалял меня в кругу окружавших его студентов, я никогда не был уверен, что точно распознаю долю иронии и долю искренности. Может быть, он и не думал об этом ничего? Он был соткан из солнца и песка. Исключительный формалист, он, казалось, не был привязан ни к какой форме, и его речь, изящная и с оттенком высокомерия, могла означать что угодно, содержащее высокомерие и изящество, но смысл этого был ему в общем и целом безразличен. Слово было не более устойчивым, чем дюны на берегу, меняющие форму по воле ветра.

Взамен оказываемой мне помощи в свое время он попросил меня заниматься с ним Талмудом, который он изучал с большим любопытством. Так учитель становился учеником, ученик — учителем, что в какой-то мере уравнивало наши отношения. Очевидно, таким образом он старался избавить меня от признательности. Какова бы ни была основа его поведения, горячее чувство влекло меня к нему. Случалось, я показывал свою обиду, когда мне казалось, что обо мне забыли. Я хотел быть для него тем же, кем он был для меня; тогда шутливым словом или легким пожатием моего плеча он ставил меня на место, место четырнадцатилетнего юноши рядом с двадцатицелтиным мужчиной.

Он писал диссертацию о естествознании у Аристотеля, так что его престиж был вне досягаемости; но он говорил о своей работе смиренно и скромно, как человек, неуверенный в себе, и это делало его доступным, несмотря ни на что. В то время как я по характеру был склонен к резкому поведению, он весь состоял из нюансов.

Трудно было бы найти более различных людей, чем мы; и все же между нами было сходство. Мы были, и я могу уверенно сказать это, он — мусульманин-еретик, я — еврей, исполненный веры, но задетый сомнениями; мы были людьми одного склада. Я называл его Учитель, он говорил мне Брат; и в самом деле, в наших отношениях было и ученичество и духовное братство. Во мне были некая вдумчивость и связанность, из-за чего я казался старше; в то время как вследствие беззаботности и манерности Ибн Рушд выглядел моложе своих лет. Издалека нас могли признать за близнецов; вблизи мы могли чувствовать себя равными. Он ранее уже путешествовал по Испании. Почему он должен был удивиться моим намерениям?

Обязательно побывай в Толедо, сказал он мне. Я знаю там ученика Ибн Ферризуэля, который тайно вскрывает трупы. Это наверняка заинтересует тебя. Ты даже сможешь быть ему полезен, ведь ты научился у дяди действовать ланцетом. В трактате Галена по анатомии полно ошибок. Все нужно изучать заново, все нужно открывать заново. И пока он говорил со мной, я уже знал, что пойду прямо в Толедо и останусь там столько, сколько потребуется. Сам Ибн Рушд тоже намеревался прибыть туда к середине зимы. Итак, мы увидимся там. Не отвлекайся на развлечения, сказал он мне еще. Способность мыслить — как глина: ее нужно разминать до истощения сил, если хочешь, чтобы сосуд удался. Не забывай, что избранный тобою путь — долг и труден; он еще и опасен. Две силы правят миром: та, которую дает мощь, и та, которую дает дух. Никогда они не объединятся. Между ними идет бой не на жизнь, а на смерть. Знай же, что ты под прицелом и тебе, может быть, придется платить большую цену за твой выбор. Когда земля будет населена учеными, тогда мы

победим; не раньше. Будь осторожен, брат. Не показывай первому встречному ни твой кошелек, ни твои знания. И не прекращай учиться. Человеческой жизни едва хватит на это.

Мы размеренным шагом кружили вокруг фонтана. С апельсиновых деревьев свисали тяжелые зрелые плоды. Сквозь широко распахнутые Пальмовые ворота радовал взор один из прекраснейших в мире ансамблей: лес колонн и кружево аркатур⁵⁶, озаренных мягким светом и уходящих вдаль бесконечной перспективой. Ночной ветер разогнал облака. Ласточки стрелами взлетали в небо. О, как хорошо было жить в этот вечерний час в Кордове, в минуты безмятежной тишины, когда два друга дарили друг другу счастье, остановив бег времени! Когда ты уходишь? спросил меня Ибн Рушд. Завтра, на рассвете, сказал я. Он поклонился и, скрестив руки, прижал их к губам. Доброго пути, брат. Да пребудет с тобой мир. Мир тебе, учитель. До скорой встречи, я надеюсь.

* * *

Почти месяц пришлось мне брести через деревни и поля, по горным и лесным тропам, пока я добрался до Толедо. Не было границы, отделяющей Испанию мусульман от Испании христиан, если не считать опустошений и исчезновения следов человеческой деятельности. Иногда много дней проходило в полном одиночестве, на горизонте не видно было поселений, только разрушенные и покинутые дома да гнетущее молчание кладбищ. Здесь и там среди руин был виден сохранившийся очаг, но люди запирались и спускали собак. Я с трудом находил себе пищу, и то только в одичавших садах, а надежный кров — среди стен без крыш.

Однажды мне повстречался караван всадников-арабов; один из них дал мне хлеба и пообещал зайти к Элизе. В другой раз я застал врасплох какого-то крестьянина, и он приютил меня на две ночи. В течение четырех веков Запад и Восток сходились на этой сожженной земле, преданной унынию и разорению. Время от времени еще убивали друг друга в кратких беспомощных стычках, не получая от этого никаких выгод. На всех отдаленных горных отрогах в беспорядке высились сторожевые башни: квадратные, из розового кирпича, увенчанные зубцами, их называли *рибат* и они были арабскими; круглые, из синеватого камня, прорезанные бойницами, они носили имя *кастийос* и были испанскими. Иногда они соседствовали на таком расстоянии, что брошенный камень мог долететь до вражеской башни. Их разделял только глубокий овраг, и они были подобны петухам, готовым броситься друг на друга, имам против епископа, герцог против эмира. Но когда я приближался к развороченным входам, я видел лишь колючий кустарник и мух.

Если единый Бог создал мир, с какой яростью Он разрушал его сейчас и не мог совладать с ним! Он довел человечество до того, что оно не может ни жить, ни умереть как следует! Как тягостно было дышать в виду мертвых деревень, заброшенных, превращенных в пустошь полей, осаждаемых хищными птицами оставов лошадей, испепеленных лесов! Разве этот воздух не поднимался ввысь? Если Бог знает, Бог ли Он? А если Он не знает, разве Он Бог? Ибн Рушд держал богохульные речи, и я содрогался от того, что слышал. По дороге в Толедо я содрогался от того, что видел. Когда я не мог одолеть омерзения и печали, я бросался наземь в стороне от тропинки, в тень какого-нибудь дерева и читал Ибн Сину. Я знал уже почти весь "Канон".

наизусть. Если в этом мире мы могли еще что-то делать, то только это: принять на себя часть страданий и бороться с ними; это единственная война, имеющая смысл.

Однажды утром, когда я спешил к ручью утолить жажду, я упал и вывихнул лодыжку. Несколько часов я оставался там; я не мог двинуться с места. К вечеру я услышал голоса в подлеске: это были два капуцина, они собирали грибы. Поддерживаемый ими, я добрался до Калатравы⁵⁷, которая, к счастью, была близко. Замок часто переходил из рук в руки; в то время уже больше года или двух он был испанским, и орден воинов-монахов занимал алькасабу⁵⁸, воздвигнутую арабами. У меня спросили, беженец ли я. Я гордо заявил, что нет. По понятным причинам всё, пришедшее с юга, казалось подозрительным. Будь я беженцем, это смягчило бы проступок. Но даже ради военной хитрости мне претило называться тем, кем я не был.

Среди монахов было много новообращенных, и один из них, которого называли падре Соломон Каддафи, был родом из Андалусии. Имя моего отца было известно ему, и он стал в какой-то мере моим поручителем. Ко мне хорошо отнеслись, и я несколько дней оставался в монастыре, пока не оправился от падения. Падре Каддафи лечил мою лодыжку втирая секрет которых он получил, по его словам, от какого-то китайца. Благотворное воздействие лечения на опухоль и боли оказалось столь быстрым, что я принял упрашивать дать мне состав снадобья. Падре долго не поддавался уговорам, но в конце концов уступил. Это был отвар из листьев и цветов мака, выпаренный на малом огне и сдобренный маслом из кунжута. Некоторыми из моих превозносимых успехов в излечении вывихов я обязан этому рецепту.

От падре я получил и множество других

сведений. О его обращении прежде всего. У него было глубокое убеждение, что Бог Израиля больше не любит свой народ. Союз был заключен в одном направлении; время и события лишили его сущности. Как можно столь упорно отрицать многочисленные признаки забвения? Носить "желтое колесо",⁵⁹ — это ничего; никогда не знать покоя — это ничего; подставлять свое горло как жертва во время жертвоприношения — это ничего. Нет больше места надежде в этом мире. Он, Соломон Каддафи, не может уже питаться только притчами, единственная цель которых — скрывать от него действительность. А действительность состоит в том, что Бог колеблется в выборе между двумя великими верами, но по многим признакам видно, что Его решение неотвратимо. На Западе, как и на Востоке, крест одерживает верх над полумесяцем. Звезда⁶⁰ же превратилась в тлеющий, готовый вот-вот погаснуть огарок.

Его, падре, никто не принуждал к обращению, только сознание, что в истории происходят глубокие изменения. Король Кастилии Фердинанд — третий, носящий это имя, — великодушный и терпимый принц. К евреям хорошо относятся в Толедо. Их ремесла и их торговля способствовали богатству королевства. Некоторые занимают высокие посты в управлении государством и в войске, а один из приближенных короля, министр финансов, — не кто иной как Иехуда Ибн Эзра⁶¹, племянник Моше Ибн Эзыры, преподающего философию в Кордове. Сам же он, Соломон Каддафи, получил приказ благоприятствовать переправе беженцев в Толедо. Иудерия насчитывает там не менее двенадцати тысяч душ, и монарх желает умножить ее. Доброе семя христианства, говорил падре. Рано или поздно все увидят, где истина. Вы хотите сказать — выгода? Выгода? Истина? Это одно и то же, сухо возразил Каддафи. Главное — служи Богу, обращайся к Нему хоть

на еврейском, на арабском или на латинском. Нет сомнения, что лучше всего Он понимает латинский. Было бы грехом говорить с Ним на языке, который он перестал понимать. Да будет так!

Когда я собрался продолжить свой путь к северу, падре дал мне в дар пузырек со втираниями, снабдил меня мешком с провизией и многими рекомендациями к видным лицам в Толедо. Иди, сын мой, сказал он и обнял меня. Будущее за христианской Испанией. Мавры вернутся в пустыню, откуда они никогда не должны были уходить. Господь прострет над ними свою сильную руку и поразит их своим судом. С Его помощью и во славу Его принцы-христиане очистят от них полуостров, и мы лишим их богатств и жизни, дабы покарать за их ожесточенные сердца. Кордова тоже будет испанской, и Гранада, и вся Андалусия. Подумай, сын мой, где твое место. Возлюби Бога, и Бог возлюбит тебя.

Падре провожал меня по извилистой тропе, уводящей от крепости. Он был очень добр ко мне. Моим долгом было сказать ему, что я думаю. Где мое место? Оно на земле, приносящей зерна и плоды, среди людей, подобных мне. Я не знаю, разорван ли союз, как вы говорите; но я знаю, что никогда не соглашусь заменить его сделкой. Если я люблю Бога, то это ради любви к Нему, а не для того, чтобы выторговать Его любовь. Если Бог любит меня, Он, который сама любовь, нужна ли Ему моя любовь? Видите ли, падре, меня не учили любить Бога, и я думаю, мы почти все такие. Мое детство было долгим движением во страхе. Вначале этот страх внушал мне отец, непреклонный хранитель Закона, а затем книги, полные предостережений, предупреждений и угроз. Небо было только громами и молниями. Прошу вас, попытайтесь вспомнить, как это удручет сердце ребенка. Согласен, от

этого не умирают; есть много других возможностей умереть. Но из этого выходят либо сломанными, либо коварными; либо ягненком, либо волком. И вот судьба подарила мне милость и охраняла меня справа, и охраняла меня слева, и я оправдился от страха. Тот, кто угрожает и мстит, тот, кто сеет страдание и несправедливость, тот, кто отрекается и покидает, тот не мой Бог. Я подверг Его испытанию, и Он сломался. Он сломался здесь, в моей груди, и я бросил на пути обломки. А того, кто сотворил небесные сферы и луну, и существ, живущих и дышащих под луной, того, кто в мире и справедливости мог бы быть моим Богом, того я еще не научился любить всем сердцем. Я сейчас меж двумя вратами, я вышел из врат страха и не вошел во врата любви. В этот час я чувствую себя свободным. Я иду в Толедо; а куда идет моя душа? Три пути открываются перед ней: быть свободной, вновь погрузиться в страх или уйти в любовь. Я не знаю, я поистине не знаю, падре, какой она сделает выбор. Если бы я мог дать ей совет, я бы порекомендовал ей оставаться свободной. Только будучи свободным, я могу требовать уважения к себе, а без свободы я буду только безвольной вещью или презренным рабом. Нет, падре, я не хочу другого места, будь оно в тысячу раз более прельстительным, чем то, что полагается мне; я не хочу любить Бога только в обмен на Его любовь. Союз между народом Израиля и Создателем всего сущего не может быть разорван. По крайней мере, один из заключивших союз — вечен, а это значит, что обязательство принято навеки. Это как в математике: когда одно из слагаемых равно бесконечности, вся сумма обретает значение бесконечности. Может быть, теперь наша звезда только огарок, тлеющий под пеплом, но если в одном сердце огонек затухает, то в другом он разгорается. До каких пор так будет?

До тех пор, пока мы вновь обретем свободу. До тех пор, пока мы вновь обретем мир. Даже если свобода и мир выпадут нам на краткое мгновение, это будет наш миг вечности. Вот, падре, что я должен был вам сказать. Крест? Полумесяц? Сегодня — друг, завтра — палач. Империи возникают и распадаются. Гордыня одних, ярость других, чума, голод и землетрясения, Израиль, распавшийся на клочки, исхлестанный ветрами истории, переворотенный ногами гигантов, наше царство, уничтоженное и обращенное в прах, и среди этих мук наш союз остается нерушимым, не разделенный меж теми, кто несет его бремя, а цельный, как атом золота, весь состоящий из золота, как капля воды, определяющая всю воду.

Мы достигли подножия холма. Дальше дорога углублялась в лес. Падре Соломон Каддафи последний раз сжал меня в объятиях. Не знаю, говоришь ли ты правильно, сын мой, но ты говоришь хорошо. Да сопутствует тебе мир.

Долгие дни пути еще отделяли меня от Толедо. По мере приближения пейзаж оживлялся присутствием людей. То там, то здесь появлялись похожие на клубки шерсти стада овец; они обгладывали траву на склонах холмов. Когда из-за горки показывалась круглая башня, на ней зачастую видны были крылья мельниц, задевавшие в своем медленном движении низкое небо. Я опасался беленьких деревушек, сгрудившихся вокруг колоколен, торчащих, как колпаки, на горных хребтах: случалось, что путешественников забрасывали там камнями или наусыкивали на них собак. Уединенные укрытия попадались все реже, ночи становились все холоднее, а на краю плато Ла-Манча, там, где, как сказал мне падре, дождей вообще не бывает, долгие часы лил дождь.

Тем не менее я продвигался вперед, и не один, как я опасался того и желал. Если бы я не был

уверен в ясности своего разума, я принял бы за пророческое видение когорту старцев, идущих по моим стопам, — просвечивающие насквозь фигуры предков в вышитых золотом и серебром таллитах, суетящиеся и нервно бьющие себя кулаком в грудь в знак раскаяния, прерывисто, одними губами шепчущие молитвы. Они все были здесь, начиная с Рабби ха-Наси, который легко нес груз тысячи лет, и до моего отца, замыкавшего шествие. Мог ли я сомневаться в реальности этого эскорта, плывущего по моим следам, как струя воды за кормой корабля?

Он придавал мне вес и наполнял мой путь значением. Я думаю, ты поверишь, что не тщеславие заставляет меня считать эту генеалогическую нить не прерывающейся в течение многих веков. В этой преемственности нет ничего вымыщенного; поручительством тому — наша внутренняя память. У моего деда хранился фрагмент свитка, написанного рукой Рабби ха-Наси, который был князем Галилеи в царствование Адриана⁶²; эта рукопись утеряна во время нашествия берберов. И даже если бы в физическом отношении на родословной нити были узлы, духовная связь не имеет разрывов.

Юноша, одиноко шагающий по пути в Толедо, — это весь народ Израиля, наделенный священным бременем Слова и устремленный к своей родной земле; вот что шептали старцы, обратившиеся за моей спиной в ключья тумана. Даже не вставал вопрос о Боге; стоял только вопрос о нас, о бесконечной борьбе за введение справедливого порядка в людских делах, о горячей вере в то, что после всех грехов нас ожидает вечное блаженство. Долгая история страданий не может ничего с этим поделать. Ощутимый опыт не может ничего с этим поделать. Как ил на дне колодца, безумие надежды пластами откладывается в глубине наших душ; и моя душа уже получила свою долю. Я надеялся по-другому, не так, как

старцы, но я надеялся на те же свершения; моя вера была другой, не такой, как у них, но она была не менее полной.

Я сказал падре Каддафи, что чувствую себя свободным? Слова без истинного основания. Я принадлежал старцам, Израилю, Книге. Я был их эманацией. Пока я существую, я носитель их мысли, носитель их слова и, в лучшем случае, — носитель их знамени. Так же, как я не могу ускользнуть от предопределенности в моей плоти, я не могу и не смогу уйти от предопределенности в моем духе. Мрачным взглядом моего отца старики укоряли меня: соскользнул в то, что они принимали за извращение. Я не шел прямо — они были правы; они осуждали то, что отказывались знать, — они были неправы. Не следовало балансировать между материей и формой, между телом и духом, между светской наукой и наукой библейской; следовало пытаться извлечь то, что было в них общим и бесспорным: человек существует в реальном мире, и они познают друг друга.

Лунный камень подобрал я на своем пути⁶³.

* * *

Бесспорно, Толедо — великолепный город, расположенный на гранитном пьедестале и любующийся своим отражением в зеленых водах Тахо. Я пришел не настолько издалека, чтобы восторгаться ожерельем его церквей, его синагогами, украшенными арабесками, вырезанными в гипсе и порфире, его обезглавленными мавританскими банями и обветшавшим, поросшим колючим кустарником алькасаром. Придя в город, я сразу же поселился у Ибн Ферреоля, называемого также Авенсоль, королевского врача.

Это был сорокалетний сухой и коротконогий

человек, почти как в корсет затянутый в бархатный, вышитый и украшенный кружевами камзол, с остроконечной бородкой, подстриженной по неизвестной в Андалусии моде. Нраву его были свойственны только два состояния: меланхолия и гнев, и он переходил от одного к другому с быстротой, которая всегда поражала, и так по нескольку раз в день в зависимости от того, изливалась ли его желчь или задерживалась. Я наблюдал у него приступы бешеной ярости по смехотворным причинам: книга, чуть сдвинутая с места, блюдо, поданное слишком горячим или слишком холодным, не дочищенный до блеска сапог. Тогда он был виновную служанку хлыстом и даже ногами; потом, охваченный угрызениями совести, он призывал ее, просил прощения и жаловал ей серебряную монету. Кроме испанского, он хорошо говорил на арабском и бегло читал по-латыни и на еврейском. Между нами было договорено, что по утрам я буду работать писцом, чтобы оправдать получаемые мною блага. Прожив месяц по такому распорядку, я осознал, что теряю слишком много времени. Без дальнейших колебаний я воспользовался письмом-обязательством дяди Йоада, и это позволило мне оплатить расходы, не стесняя своей свободы.

Мой учитель Авенсоль занимал нижний этаж обширного каменного дома у Пуэрта Нуэва, напротив Мураллас. Я помещался в клетушке без огня под самой крышей. Из моего окошка взгляд падал на руины римского цирка и часть ярмарочной площади, где раз в неделю собирался большой базар. Вдалеке возвышалась крыша большого приюта, в то время нового явления в Испании; то была выдумка толедского епископа с целью дать нищим пристанище для смерти.

Хотя мой учитель получал от приюта немалые доходы, он гнушался ходить туда, но не гнушался посыпать меня вместо себя, если какая-нибудь

сестра милосердия слишком настойчиво требовала его вмешательства. Когда я в первый раз вошел в этот ад, я был на грани обморока. Только присутствие двух женщин в высоких белых чепцах, невозмутимо ухаживавших за больными, удержало меня, и я не убежал. До того момента я причислял медицину к некоему привилегированному ордену и считал, что она способствует развитию и расцвету высших умственных возможностей, что она — своего рода благородное слияние сердца и разума, дарующее власть над заблуждениями и ошибками природы и людей, способ защиты невинности, путь смягчения Божьего гнева, пусть даже справедливого. Если ты хорошо подготовлен чтением книг, занятие медициной не должно представлять собой исключительной трудности. В лучшем случае это разговор в салоне, а в худшем — битва против сил зла с достаточными шансами выйти победителем.

Не пренебрегать мытьем рук после прикосновения к больному. Никогда не забывать молиться о Божественном милосердии для больного. Не требовать платы у неимущих. Принимать со смирением знаки признательности людей состоятельных. Ты был со мной во время войны, во время голода и во время чумы. Ты знаешь, о чем я говорю. Что знал об этом любознательный юноша, из гордости покинувший отцовский дом? Со всем простодушием он совершил головокружительное падение и очутился в наихудшем из проклятых мест. Зрелище ужасов, зловонная клоака, душераздирающие стены, муки ада.

Одна из женщин в высоком белом чепце подвела меня к кровати, на которой лежали три призрака. Один из них вопил от смертельной боли. Я смотрел на него одно мгновение, борясь с собой, чтобы не потерять сознание; потом я побежал к Пуэрта Нуэва рассказать о нем учителю; тот дал мне какую-то мазь и велел приложить

половину сейчас же, а половину — через три часа. Когда я, задыхаясь, вернулся в больничный дом, человек уже был мертв. Таково было начало.

Весь день я был не в состоянии спуститься со своего чердака, все мои чувства были уязвлены, и я испытывал телесные муки. К вечеру учитель прислал за мной. Я не ел и не пил с самого утра. К своему великому стыду, я понял, что голоден и что получаю удовольствие и наслаждение от еды. Служанки не скрывали полунасмешливого, полусочувственного ко мне отношения, какое обычно вызывают слабоумные люди. Мое положение было безнадежным. Я не знал, как поступить, ревностно поедая свой обед, весь во власти тоскливого отчаяния и сверх того еще ощущая на себе иронические взгляды. Может быть, я сбился с пути? В таком случае еще не поздно вернуться: склонить голову и пойти по стопам отца.

Но веселое настроение девушек в конце концов вызвало прилив желчи у Авенсоля. Он выгнал их из зала. Мальчишка! воскликнул он, когда мы остались одни. Нельзя войти в женщину, когда у тебя мягкий член, и также нельзя войти в жизнь, когда у тебя трепещущее сердце. Ты остаешься вне ее, как те отбросы, которые ты видел, ни живые, ни мертвые, годные только для медленного гниения. Это не творение Бога; это мы создали. Посмотри на кузнеца, на плотника, на того, кто обрабатывает землю, на всех тех, кто имеет дело с материей и придает ей форму, посмотри на их руки, и ты поймешь! Нужно, чтобы на твоей душе появились мозоли, сила в сердце и сталь в жилах, иначе тебя понесет течением, как соломинку ветром. Завтра же ты вернешься в больничный дом. Ты научишься давить вшей, подтирать сукровицу, нюхать выделения, потому что все это от человека. Да, мой мальчик! Те, кто говорили тебе, что в нас чистый дух, насмеялись над тобой. Или ты подчиняешь себе зло, или оно тебя

подчиняет. Вот весь секрет жизни. Попадающей в приют швали либо не выпало удачи, либо она не сумела ею воспользоваться, либо и то и другое; и это не стоит слез. Во всяком случае, помочь ты им можешь не своим плачем. Если ты не способен погрузить во все это руки до локтей, возвращайся к своим мечтаниям и не берись за мужское ремесло. Ничто не запрещает тебе утешать добрым словом, это не приносит вреда. Но добро, которое ты можешь сделать, — в твоей холодной решимости и в умении твоих рук. Теперь иди спать. Говорят: утро вечера мудренее. А когда ты определишь свой выбор, ты скажешь мне, да или нет.

Как многие нечистокровные латиняне, Авенсоль был соткан из сумбурной смеси здравого смысла и коварства на основе неудовлетворенного тщеславия. Безусловно, я не присудил бы ему пальму первенства как лучшему учителю. Конечно, ко мне не раз приходила мысль найти другого наставника; но мне нужны были советы, и я не был уверен, что выиграю от перемены. То, что я не чувствовал к нему приязни, не делало его менее знающим. Я был его единственным учеником, и такое положение давало мне некоторые преимущества. Я имел доступ к лаборатории, где он варил противоядия и толок травы для мазей. Он обещал открыть мне секреты этих рецептов, когда сочтет момент подходящим.

Но больше всего его занимал поиск философского камня. Он возился с тиглями и ретортами, получал пары серы и просеивал пепел, бормоча непостижимые каббалистические формулы. Я уже близок к цели, доверился он мне. Совсем близок. Совсем. Один только недостающий пустяк, и дело будет сделано. Я спросил у него, что он будет делать, когда найдет формулу золота. Он посмотрел на меня с жалостью. Что за вопрос! Я буду богат. А когда вы будете богаты, учитель? Весь

мир будет у моих ног. Король, епископ и сам папа падут предо мною ниц. У меня будет власть, которой никто никогда не обладал.

В прошлом он прочел по звездам, что расположение светил в высшей степени благоприятствует ему. Тем временем, в ожидании той поры, когда он будет богат и могуществен, мой учитель проявлял себя мелочным: я застал его однажды, когда он тайком ел и пил, дабы восполнить умеренность наших совместных трапез. Но у него были основательные знания трудов Герофилла, Диоскорида, Галена, Гиппократа, Разеса⁶⁴, Ибн Сины. У него было не менее пятидесяти книг великого медика из Пергама⁶⁵ и он охотно, хотя и напуская на себя важность, помогал мне читать и цитировал наизусть длинные отрывки. Моя память усваивала латинские тексты, хотя перевод зачастую был мне неясен. Давать мне уроки – это было единственное, на что Авенсоль не скupился. Я даже подозревал его в хвастовстве, столько он проявлял рвения. Если взвесить все доводы, мне не на что было жаловаться: я прибыл в Толедо учиться, и я учился.

Однажды поздно ночью поднялась какая-то суматоха. Удалили служанок, погасили часть свечей. Внезапно открылась дверь и четверо мужланов внесли какой-то длинный, завернутый в грязные простыни тюк. Тюк спустили в подвал, уложили на мраморный стол, развернули и осветили: это был труп безбородого мужчины с обширной раной на шее. Из него выпустили всю кровь, с удовлетворением отметил Авенсоль. Он дал парням деньги, и те ушли. Этот синевато-бледный мертвец на столе не произвел на меня никакого впечатления: он был точной копией восковой модели, такой же холодный на ощупь и такой же тяжелый в работе; даже его нагота не была оскорбительна.

Не говори об этом ни одной живой душе! приказал мой учитель. Я ничем не рискую. Ты, в

каком-то смысле, — не больше меня. А могильщики ставят на карту свою жизнь; к ним правосудие будет беспощадно.

Я пообещал молчать даже под пытками, что вызвало громкий, усиленный сводами подвала, смех. Держа “*Ars parva*”⁶⁶ под рукой, мы проработали почти всю ночь, разбиная внутренности восковой фигуры. Авенсоль раскладывал органы, как для выставки, я помогал ему, действуя по его указаниям. Пневма⁶⁷ была сырой и клейкой; только уже появившийся резкий запах отличал ее от пневмы барана или теленка. Учитель предупредил меня, как опасно, если ланцет соскользнет; но рука у меня была твердой, грех жаловаться. Мы отметили, что большой кровеносный сосуд в печени находился не на указанном книгой месте, что форма брюшной полости не соответствовала описанию, что нерв диафрагмы оказался не там, где его надлежало искать.

Авенсоль заявил, что это плохой труп. Невозможно было допустить, что Гален ошибался. Подумай только! сообщил мне Авенсоль, ведь его консультация стоила до сорока сестерциев для простого люда, и он оказывал услуги Марку Аврелию, Септимию Северу, Каракалле и всем прекрасным дамам высшего римского света, и ни разу его не постигла неудача. Такой врач — это не человек; он равен Богу. Эти слова пробудили во мне смутные воспоминания, но у меня не было времени останавливаться на них, ибо следовало торопиться с работой. Нужно было переложить каждый орган полотном, впрыснуть клистирным насосом смесь воды с краской в сосуды. После этого мне разрешили пойти отдохнуть.

На следующий день солнце уже стояло высоко, когда Авенсоль с бесконечными предосторожностями ввел в подвал посетителей; их было человек десять; все закутанные в плащи, с надвинутыми на лица шляпами, молчаливые, чо-

порные, они, казалось, были незнакомы между собой. Мне почудилось, что, по меньшей мере, двое среди пришедших были женщинами; но я мог ошибиться: ставни были закрыты, и освещение было слабое. В стоявшей прямо на земле жаровне курился ладан, и посетители закрывали лица плотными надушенными платками.

Почти два часа Авенсоль держал речь об анатомии внутренних органов, и никто, кроме него, не произнес ни слова. Мой учитель говорил свободно, с непринужденными жестами — видно было, что он занят своим обычным делом. Время от времени он позволял себе остроумное словцо, но улыбался в ответ только он сам. Закрепленный во главе стола смоляной факел изредка выбрасывал яркое пламя, и его покачивающиеся отсветы ложились на выпотрошенный труп и шеренгу прислонившихся к стене незнакомцев. Обоняние было подавлено смешением различных запахов. Сильная головная боль сжимала мне виски и временами я с трудом дышал. Но Авенсоль не выказал ни одного признака слабости. От начала до конца речь его была четко построенной и твердой.

Когда он закончил лекцию, посетители, такие же молчаливые и суровые, как в момент прихода, покинули подвал и дом. Никто не обменялся никаким приветствием. Мой учитель не двинулся с места. Когда я подошел к нему, я увидел, что по щекам у него текли слезы. Это вызвало мое любопытство, но я не посмел спросить, в чем дело, а он ничего не сказал.

В последующие три дня мы закончили потрошить органы до самой кожи. Этот труп явно был скверным представителем своего вида: многие связки, мышцы, нервы и сосуды были не на тех местах, где их расположил непогрешимый Гален. Будем надеяться, сказал Авенсоль, что следующий будет больше соответствовать написанному. Давно

пора было парням удалить из дома оставшиеся части: уже нечем было дышать. Для меня опыт закончился возникновением серьезных сомнений в правдивости книг.

Со мной приключился странный случай. Я проникся нежными чувствами к юной больной из больничного дома. Она была примерно моего возраста и угасала от чахотки. Судьба поступила коварно: я понял характер своего смятения, когда уже глубоко погрузился в него. Меня позвали в помещение женщин снять струпья с парализованной. Полностью погруженный в свое занятие и обеспокоенный стонами, вырывавшимися у несчастной, когда я вырывал уже омертвевшие ткани, я, должно быть, долго оставался глух к зову, раздававшемуся с соседней кровати. Пожалуйста! Помогите мне! Пожалуйста!

Закончив работу, я хотел убежать, но этот зов пригвоздил меня к месту. Помогите мне! Пожалуйста! Я увидел два огромных направленных на меня глаза и тонко очерченный очень красный рот, звавший меня. Пожалуйста! Помогите мне! Это было не в моей власти. Я не знал, что нужно делать в подобных случаях. Слово утешения? Почему бы и нет? На одном соломенном тюфяке, вместе с безногой женщиной, полусидевшей, опираясь на культи, лежала девушка, почти ребенок. Помогите мне! Пожалуйста! Этот тоненький монотонный зов проник до самых глубин моего существа из-за этого горящего взгляда, из-за этого кроваво-красного рта. Я подошел и дотронулся до ее щеки. Кожа была шершавой от лихорадки, дыхание прерывистым. Несомненно, ей стоило больших усилий говорить. Пожалуйста! Помогите мне!

И так целый день, проворчала калека. Не может сказать ничего другого. Уж лучше бы сдохла сразу. Зачем? Я наклонился к девочке. Что у тебя болит? Пожалуйста! выдохнула она.

Помогите мне! Это не было жалобой. Это не было мольбой. Это было своего рода молитвой, исторгаемой скорбью, молитвой, которая, может быть, даже не была обращена ко мне. Я не мог сдвинуться с места, опустив руки, не зная, что делать с самим собой, весь открытый этому взгляду и этому голосу, захватившим меня в плен. Помогите мне! Пожалуйста!

Меня освободила из плена одна из женщин в высоком белом чепце. Никто ничего не знал о чахоточной девочке, даже имя ее не было известно. Ее подобрали у каких-то ворот дней восемь или десять тому назад уже умирающей, но смерть медлила и не приходила за ней. Я побежал в Пуэрта Нуэва, чтобы привести Авенсоля. Он занимался своими ретортами; дистилляция для него была превыше всего. Все же он дал мне мягчительный отвар, и я немедленно понес его в больничный дом. Дабы напоить девочку, мне пришлось приподнять ей голову. У нее были длинные смолисто-черные волосы. Ее взгляд не отпускал меня ни на мгновение. Кончив пить, она схватила мою руку и поцеловала. Благодарю, прошептала она. Благодарю.

Странные, фантасмагорические сны посетили меня в ту ночь. Мне снилось, что я принес чахоточную девочку на руках к Господу Предвечному и требовал от Него ответа. Вопреки моим опасениям, это не вызвало Его гнева. Он занимался своими ретортами, в которых дистиллировались судьбы мира. Понятие человеческого существа здесь было связано со всем родом. Как мог Господь Предвечный быть озабочен дыханием песчинки — одной личности? На земле разыгрывались величайшие события. Что мне, Вседержителю, до жизни девочки без имени, когда мой народ под угрозой исчезновения? В хороших домах, Пресвятой Благословенный, каждая крупинка соли имеет свой вес и свое место. Девочка без имени,

просто больная девочка. Исцелите ее, Всемилосердный. Исцелите ее, а я возьму на себя все остальное. Я позабочусь о ней, о ее чистоте. Я дам ей имя, мое имя, оно станет и ее именем, и мы будем вместе славить имя Ваше. Исцелите ее ради меня, Всемилосердный. Я не смогу больше мирно жить без нее. Кто ты такой, ты, пришедший в этот мир только для низостей жизни? Как смел ты предстать перед моим ликом? Ты возвел себя в провидцы, не получив от меня на то благословения? Ты принимаешь меня за Клавдия Галена, которого ты называл равным мне и который за сорок сестерциев излечивал любого от любой болезни? Я – Господь Всемилосердный, Предвечный войск Израиля, у которого нет больше войска, Вседержитель небес и земли, смешанных и отделенных, я пресыщен вашими прошениями, вашими жертвованиями, вашими сетованиями, я не могу больше выносить их скуку, я прячу глаза и уши, ибо мои помыслы – не ваши помыслы и мои пути – не ваши пути. Но спасение близко. И мой суд близок. Возвращайся к своим делам и берегись, не смей затрагивать мои!

Я проснулся в поту, усталость опутала мое тело и тревога душу. Неужели я тоже заболею? Зима стояла суровая; мне пришлось разбить лед, чтобы зачерпнуть воды. Я силой заставил себя пойти туда, где меня ждали. Было ли это действием отвара или моего горячего участия? Чахоточная девочка, казалось, начала поправляться. Она стала принимать пищу, правда, неохотно, едва прикасаясь к еде, в то время как прежде она совсем отказывалась есть. Ее переодели, дали приличную рубашку, вымыли и причесали волосы. Интерес, который я питал к ней, поддерживал ее, но еще больше он поддерживал усердие ухаживавших женщин. Каждый день я поил ее свежим лекарством, приготовленным Авенсолем, и ее короткое дыхание становилось глубже, лихорадка

немного отступала, где-то в тайных глубинах больного организма пыталась укрепиться жизнь. И каждый день, выпив микстуру, девочка со все растущей живостью успевала схватить и поцеловать мне руку, прежде чем мне удавалось отдернуть ее. Благодарю! О, благодарю!

Откуда возникло это имя Марьям, живущее до сих пор в моей памяти? Скорее из моего воображения, чем из ее уст. Она была настолько безгласна, что я считал ее глухой либо прибывшей из какой-то далекой страны. Но она очень хорошо понимала испанский и арабский; ее речь не находила выхода под действием великого страха. И тогда я стал рассказывать ей о Кордове, о городе, лежащем среди полей, как раскрытая ладонь, о городе, по которому, как по венам, текут потоки светлой воды, об илистом, волнуемом ветрами с земли и с моря, похожем на шарф, Гвадалквивире, и о доме моего отца, куда я решил привести ее, Марьям, когда она восстановит здоровье, и где она будет жить среди нас, как равная в семье, и об Элизе, которая многому обучит ее, и о Давиде, моем дорогом брате, который и для нее станет братом. Она слушала меня, и зрачки ее глаз казались бездонными колодцами.

Но однажды утром... Говоря правду, это не было для меня полной неожиданностью. Еще и сегодня, спустя более чем пятьдесят лет, я чувствую комок в горле, когда вспоминаю. Я все время надеялся, не имея надежды. Я считал себя достойным особой снисходительности со стороны Провидения; почему не признать? — чуда. И вот однажды утром я увидел опустевшей ее кровать. Безногая женщина рассказала мне, что Марьям угасла ночью, без мучений.

Мне нелегко довести исповедь до конца. Но нужно. Два дня спустя Марьям в форме длинного тюка появилась в подвале Авенсоля. Охватившая

меня дрожь была только наполовину от удивления: я мог догадаться о пути, который уготован этому никому не нужному трупу. Мой учитель так поставил дело, что похищение останков было своего рода рутиной. Когда развернули полотно, Авенсоль выразил удовлетворение тем, что перед ним — женщина. Он ставил себе целью проверить, действительно ли имеются две матки, как писал Гален, одна для каждого яичника, что соответствовало логике природы, но не подтвердилось его предыдущим опытом. Только заметив мое смятение, он сопоставил мягчительные отвары и эту восковую фигуру. Он проявил себя участливым человеком. Ты можешь уйти, сказал он мне. Я буду работать один. Мне казалось, что мир рушится. Буду ли я отствовать или присутствовать, все равно мне остается только защищаться. Повинен я или безвинен, отныне здесь решается моя судьба. Скорбь овладела мною; не та обычная скорбь, которая сначала тяжела и остра, а потом становится легче и светлее; напротив, это была крошечная скорбь, но ей суждено было со временем разрастись и стать моей неизменной спутницей.

В этой грациозной восковой фигурке, не испорченной ни жизнью, ни смертью, не было Марьям; больше не было ее взгляда, не было ее припухлых губ. Чему, кому послужит мое бегство? Нет, учитель! громким голосом, усиленным каменными сводами, сказал я. Я остаюсь с вами. Я думал: "с ней". Я хотел сам железом выжечь свои иллюзии. Авенсоль предупредительно накрыл полотном лицо умершей. Понемногу великое спокойствие снизошло на меня. После того, как я долго смиренно склонял голову перед величием науки, я открыл ее ничтожество. Природа не чтила своих законов. И на этот раз мы обнаружили изъян. У этой восковой фигуры была только одна матка, и отныне она была столь же бесполезна,

как если бы их было две, соответственно описанию Галена.

* * *

Ибн Рушд не появился в Толедо, как намеревался; или, если появился, я не знал об этом, ибо наши пути не обязательно должны были пересечься. Насколько тепло он относился ко мне в моем присутствии, настолько же легко он забывал то, что удалялось с глаз долой. Тот, кто тесно общался с ним, быстро замечал, что ничто не затрагивало его глубоко. Не то чтобы он был поверхностен; он никогда ничему не отдавался целиком. Вероятно, этим объяснялась его столь необычная манера воспринимать все сущее. Он верил только тому, что мог видеть, слышать, осязать. Напряженная учеба и отдаленность от него несколько рассеяли воздействие его обаяния. Вскоре мне предстояло вновь увидеться с ним, еще лучше узнать и почувствовать всю силу его очарования. Но прежде мне необходимо сделать признание, до сих пор остающееся в моей душе тревожным воспоминанием.

В ту зиму я был очень одинок в прекрасном и холодном городе Толедо. Конечно, больничный дом, лаборатория Авенсоля и книги занимали полностью дневные часы. Я углублялся в изучение медицины, подобно пиле лесоруба в ствол, и уже слышались звуки, возвещавшие падение дерева. Я замечал, что окружавшие меня легко переносили кастильскую зиму; я — нет. Ни мой пыл в работе, ни моя горячность в молитвах не могли растопить леденистый ком, образовавшийся в глубинах моего существа. И вот, в таком состоянии духа мне довелось сблизиться с одной из служанок Авенсоля.

Это не заслуживало бы упоминания, если бы

не имело последствий. В свою защиту я могу сказать лишь то, что потворствовал случившемуся только непротивлением обстоятельствам. Впрочем, я не уверен, что хочу обелить себя. Началось с того, что она стала приносить в мою каморку счасти, которые ей удавалось утаить на кухне; как следствие, эти посещения, в первое время вкрадчивые, стали настойчивыми, а потом и страстными, и наступил момент, когда меня бесповоротно увлекло. Дымка стыда, туман угрызений совести, горы принимаемых решений — все это, безусловно, было у меня; но в конечном счете искушение и желание оказались сильнее. Как только я попадал в свою одинокую студеную каморку, меня начинал мучить вопрос: придет? не придет? Я одновременно желал и того, и другого; я опасался и того, и другого. Но от меня самого не зависело ничего. Она приходила или не приходила; в любом случае, прежде чем я засыпал, я переживал и поражение, и победу.

Это стало обычаем. И вдруг все прекратилось. Пребывая в странной раздвоенности, я спрашивал себя: почему? Но ответа не было. Когда мы случайно встречались на людях или когда она подавала мне еду за столом, она иногда смотрела на меня пристальным, тревожным и умоляющим взглядом. Этот взгляд вызывал у меня неловкость и замешательство. Что же, собственно, происходило? Для получения объяснений следовало преодолеть слишком много препятствий; ни разу она не подала знака, что согласна поговорить. Мы наблюдали друг за другом как бы из-за стеклянной перегородки, через которую невозможно проникнуть.

И однажды она исчезла. Другая служанка заняла ее место. Я не мог больше терпеть и рискнул выразить свое удивление по поводу этой замены учителю. Естественно, Авенсоль не знал о тайных встречах на чердаке. Ворча, он поведал

мне, что эта дурочка решила избавиться от будущего ребенка, и у нее началось воспаление в чреве; теперь жизнь ее в опасности. И он, Авенсоль, не желая нести ответственности, живо отправил ее к родителям.

Как рассказать тебе, в какое состояние повергло меня это сообщение? Напрасно я пытался сбросить с себя часть вины, она все равно вся целиком давила на мои плечи. Во мне сидел убийца, и я не знал об этом. Я был способен причинить вред и я не был осторожен.

Какое удовлетворение получили бы мои враги, как они ухватились бы за эту историю, чтобы высечь меня! Какое возмущение вызывало бы у моих друзей такое потускнение образа, который им угодно было создать! И тем и другим я ответил бы: сказано: *Не будь правым до чрезмерности и не будь мудрым сверх меры, зачем тебе губить себя?* И еще: *Нет праведного человека на земле, который творил бы добро и никогда не согрешил.* И еще: *Радуйся, юноша, в молодости, и пусть сердце твое будет весело в дни юношества. Иди туда, куда ведет тебя твое сердце, куда устремлены твои взоры, но знай, что за все это Господь вызовет тебя на суд Свой.*

Суд свершился. Моей карой была та боль, которую я испытывал от того, что причинил зло. Я не нарушил Закона, предусматривающего все, даже прощение за неверно принесенного в жертву барана, но я причинил зло человеку, хотя он и был повинен не менее меня. Я принял на себя обет полного поста на целый день и торжественно дал себе слово, если девушка не умрет, отойти от светских наук — я внезапно почувствовал усталость и отвращение к ним — и отказаться от удовольствий, которые приносят только огорчения.

Она не умерла. А я остался связан своей клятвой.

* * *

Я почувствовал также усталость от Толедо. Я тосковал по Кордове. Без всякого перехода весна вдруг бросилась на спину зиме и прогнала ее. С весной пришли события, которые перевернули и мою жизнь. Однажды утром, когда под лучами совсем нового и совсем чистого солнца распустились почки, колокола в городе принялись вдруг звонить во всю силу. Я как раз возвращался из больничного дома. Люди на улицах останавливались на мгновение, вдыхая теплый воздух, внимательно взглядываясь в блестящие крыши, и ускоряли шаг, торопясь каждый к себе домой. Где-то в тени притаилась беда: пожар, наводнение, эпидемия? — палитра несчастий весьма богата.

В Пуэрта Нуэва Авенсоль уже знал, в чем дело. Позавчера рать альмохадов атаковала Калатраву. С помощью отряда конников монахи-воины оказали сопротивление, и на юге Кастилии теперь стоят друг против друга военные силы противников. Осада монастыря угрожает затянуться надолго. А Кордова взята, ее армия разбита, эмир бежал. Тем, кого подозревали, будто они сражались с оружием в руках против альмохадов, перерезали горло.

Как можно скорее вернуться к своим — другого выбора у меня не было. Конечно, меня не ждало там ничего хорошего; лишь бы только не было слишком плохого. Странно, но больше всего я беспокоился о судьбе моего юного брата.

Без какой-либо просьбы с моей стороны Авенсоль вернул деньги, которые он взял у меня сверх должного. Я купил мула и за три дня добрался на нем до Калатравы. С севера подход к ней был свободен.

Великое волнение царило на подступах к крепости и на её площадях. Монахи, пехотинцы, конники, крестьяне толпились вокруг запряженных

повозок в явном смятении. Где-то разгружали мешки с зерном и кувшины с маслом; в другом месте нагромождали камни и бочки с варом, вязанки хвороста и шесты. Калатрава готовилась выдержать осаду.

Бесчисленные следы свидетельствовали о жестоком характере первого штурма укреплений: поломанные и обугленные лестницы, почерневшие очаги и дымящиеся развалины, глубокие раны на фасадах и крышах домов. Каменщики наспех укрепляли бойницы, а над ними с карканьем кружились тучи ворон. Когда ветер дул с юга, он нес смрад разлагавшихся трупов.

Осунувшийся от усталости падре Каддафи все же принял меня хорошо. Я ждал тебя, сын мой, сказал он. Я беспокоился о тебе. Я беспокоюсь обо всех тех, у кого в глубине души твердое ядро. Чем тверже ядро, тем более хрупка и нежна оболочка. Это как персики в мешке с орехами. А в наше время следовало бы полностью состоять из камня. И никогда не допускать сомнений в высшей мудрости. Все происходящее слишком быстро действует на нас. Как трудно все же быть человеком!

Мне предоставили охапку соломы в углу коридора. Как отдохнуть в таком непрерывном и напряженном гуле и смятении? Положение было очень серьезным. Если бы альмохадам удалось захватить город, ни один человек здесь не остался бы в живых и угроза нависла бы над Толедо. Всю ночь я вертелся на соломенном тюфяке, похрустывающем при каждом моем движении, и раздумывал. Эта война не была нашей войной, и если надеяться в ней нам было не на что, то потерять мы могли все, ибо оказались зажатыми в стальных клещах. Я с нетерпением ждал наступления утра, чтобы вновь пуститься в путь. Падре Каддафи вывел меня на тропинку в обход лагеря осаждающих. Ему удалось также обменять

моего мула. К вечеру того же дня я достиг Гвадалквивира, и мне осталось только следовать по его течению.

По мере приближения к Кордове я все чаще встречал караваны беженцев. Некоторые двигались, скучившись на перекосившихся тележках, другие — верхом на ослах, мулах, на тягловых или верховых лошадях, но больше всего было бредущих пешком, несущих на голове свернутую постель или узел на спине — все их имущество. Это уходили испанцы, серьезные и молчаливые. Они, по крайней мере, знали, где искать убежища и защиты.

Один из них рассказал мне, что происходит. Город почти не пострадал во время захвата. Из-за внезапности. Кордова пала за несколько часов, почти без боя. Новые повелители установили свою власть. Кратковременное волнение сменилось спокойствием. Но уже объявлен эдикт: неверным дано три дня свободы для обращения в единый ислам или для ухода из города без надежды вернуться. После этого срока каждый уличенный в отступничестве будет предан смерти после краткого суда. Они, уходящие, не хотели притворяться и рисковать, не хотели подвергаться најиму и быть беззащитными перед доносчиками всякого рода, для которых вновь наступали славные времена. Раз уж нельзя жить в мире с арабами, лучше сражаться против них, помогать прогнать их.

Говоривший со мной человек был кузнецом. Он сгибался под тяжестью мехов — единственное, что он не согласился бросить.

То там, то здесь вытоптанное поле, распотрещенный дом, остов испепеленного гумна. Кордова была словно погружена в оцепенение. Пустынныe улочки, ослепшие лавочки, груды нечистот. Волнение обручем сжало мне грудь. За время моего отсутствия не проходило ни одного дня, когда бы

я не видел в мечтах встречу с моим городом. Это должен был быть миг праздника для нас обоих, для нее, Андалусской невесты, наряженной в свои самые великолепные уборы, и для меня, чудо-жениха, принесшего ей богатые дары из дальних стран. И вот наступил желанный миг, и печальная сирота встречает растерянного влюбленного.

Копыта моего мула гулко стучали по мостовой. Иудерия затаилась. Приходилось ли тебе когда-нибудь испытывать ужас и тоску при въезде в город, в котором прекратилась жизнь? Мертвый человек — это в порядке вещей. Но мертвый город, лишенный шума, собак, птиц, детей, женщин, стариков? На каждом повороте железный обруч все теснее сжимал мне грудь. Я боролся с желанием бежать и вместе с тем никакая сила в мире не могла бы совлечь меня с моего пути.

Вот наконец и наш дом. Он кажется нетронутым. Я привязал мула к кольцу. Вокруг не было никакого движения. Решетка была открыта, и я истолковал это как благоприятный знак. Я забыл о качающейся плитке, моя нога почувствовала ее на том же месте, и дрожь пробежала по всему моему телу. Я ощутил эту дрожь как глубокую ласку. Осознавал ли я до отъезда, какая любовь привязывала меня к этим камням, к этому запаху жареного лука, к этой игре света и тени? К этим людям, которым я приготовил сюрприз столь долго ожидаемого возвращения? Но в патио никого не было. Никого не было и в комнатах. Я быстро пробежал их одну за другой, и безумное волнение все возрастало во мне. Я стал звать Давида, Элизе, отца и стал во второй раз обходить все, начиная с сада. По-прежнему никого. Впрочем, нет. Чей-то голос ответил мне. Он поднимался откуда-то из глубины. Я бегом спустился по лестнице в подвал, где мерцал дрожащий огонек. Элизе была там, вся забрызганная извест-

кой, с мастерком штукатура в руках.

А! Это ты! сказала она. Таков был оказанный мне прием. Где брат? спросил я, задыхаясь. — А где ты хочешь, чтоб он был? В школе. — А отец? — В Совете. А что ты хочешь, чтоб он делал? — А ты, Элизе? — Пора уже было тебе вернуться, сказала она. У нас не было о тебе вестей. Думали, ты пропал. Умер. Видишь, я делаю стену? Каменную кладку за большой нишой. Мы положили туда ковры, медь, серебро, меха. Ну, что там говорить — все! Не знаешь ведь, что может случиться. Твой отец согласился. Я надеюсь, и ты согласишься. Ведь ты теперь мужчина. Ты знаешь, что нас ожидает?

Добрый день, Элизе, сказал я. Можешь мне поверить, я рад, что вижу тебя. Я тоже, сказала она. Я не обнимаю тебя, я очень грязная. Я сделаю это позже. Иди к отцу, в синагогу. Они обсуждают там решения, которые и тебя касаются. К тому времени как вы вернетесь, я кончу штукатурить стенку и приготовлю поесть. Давид тоже вернется из школы. Все за столом. Давно уже у нас не было такого. Я поставлю в печь пирог. Откроем бутылку вина, есть еще у нас вино. Иди, мне надо работать.

Я уже поднимался по ступенькам, когда она окликнула меня. Там письмо для тебя, крикнула она. На твоей постели. Его принесли вчера. С первого взгляда я узнал изящный курсив Ибн Рушда. Послание поистине согрело мне сердце. Мир тебе, брат. Происшедшие события бесспорно ускорят твое возвращение. Ты знаешь, что фанатизм и свободная мысль никогда не могли жить в ладу. В ожидании, пока первый исчерпает себя, что рано или поздно наступит, вторая — пользуется случаем и уходит дышать вольным воздухом. В Альмерии у меня есть большой дом у самого моря. Мне будет спокойно работать там над толкованием Аристотеля. Порт — прибежище

испанских пиратов, и это полностью обеспечивает безопасность жителям, а эмир Мотасен собрал там в свое время хорошую библиотеку, которую король Альфонс не тронул. Если случится так, что тебе трудно будет найти убежище для тебя и твоей семьи, знай, в моем доме достаточно места для всех, и я буду рад видеть тебя рядом с собой. Да защитит тебя Бог.

И внезапно я почувствовал себя так, как если бы никогда не уезжал, как если бы угроза не нависла над нами, как если бы прошлое, настоящее и будущее слились в одно мгновение. Просторное покрывало Кордовы обволокло меня, и хотя ткань была слегка измята, складки утратили строгость, а на изнанке появились прорехи, я почувствовал себя покойно среди любимых вещей и любимых людей, и дружба тоже пришла на свидание. Я положил записку Ибн Рушда за пазуху, завернулся в таллит и пошел в синагогу.

На улицах по-прежнему не было никого, кроме полосатой кошки, которая подошла ко мне и потерлась об ноги. Во времена моего деда иудерия насчитывала множество молельных домов, все они были сожжены и разрушены во время первого нашествия берберов; восстановили только один, с большими затратами и с большой тщательностью. Лучшие резчики по металлу и мастера золотых изделий города вложили в него искусство своих рук. Деревянная часть была сделана из кедра, привезенного с горы Хермон. Все иноземные посетители восхваляли его прекрасное убранство. Я незаметно вошел в полупустой зал. Говорил мой отец.

Через минуту, сказал он ровным голосом, в котором не чувствовалось ни малейшего волнения, после того как мы выйдем из молельного дома, не станет еврейской общине Кордовы. На сколько времени? Только Предвечный знает это. В течение четырехсот тридцати лет наши предки стенали в

рабстве и Господь услышал их вопль, и Господь вспомнил о своем союзе с Авраамом, Исааком и Иаковом. Значит ли это, что прежде Господь забыл о своем народе в Египте? Ничто из того, что происходит в мире, не находится вне ведения Всевышнего. Наши предки стали было нечестивцами, они поклонялись идолам, они оскверняли субботу, они вкушали нечистую пищу, и несмотря на их падение, Господь вспомнил о них. И Господь сказал Моисею: Я увидел страдание моего народа; Я знаю скорби его. Я спустился избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, в землю, текущую молоком и медом. И Всевышний сделал так, как сказал, и народ стал верить в Него, потому что Он – Предвечный. Сегодня Всевышний счел нужным рассеять нашу общину, самую древнюю в западном мире. Она уничтожена совершающим над нами насилием. Мы ничего не можем поделать с этим насилием. Более трети наших семей бежали в королевства Гранады, Альмерии, Толедо. Как будут они существовать там, изгнанники, отверженные, может быть, даже преследуемые? Мы, решившие покориться насилию, мы можем только тайно молиться за них и за себя в наших домах. Какими бы фанатиками ни были новые повелители Андалусии, я не слышал, чтобы до этого дня мусульманин вторгся в частную жизнь или в вопросы совести другого. Арабы – властелины формы, а ведь ничто с первого взгляда не отличает пустую форму от полной формы. Что требуется от нас? Сказать, что Аллах велик, а Магомет – его пророк. Вот это сказано. С нашей верой мы будем, как воры в Риме: все позволено, только при условии, что не попадешься. Среди вас есть ученые и раввины, выразившие возмущение такой непоследовательностью. Им я заявляю: каждому вольно выбирать путь спасения по своему усмотрению. Пусть

самые осмотрительные ответят военной хитростью. В обмен на наши жизни, наши дома, наши поля, наши ремесла нынешние властители хотят только слова. Я говорю: дадим им эти слова. Ни одно действие, совершенное по принуждению, не считается грехом перед Всевышним. Во время изгнания в Вавилон наши предки склоняли колена перед статуей Навуходоносора, и Господь простил им. Во времена пророка Илии евреи целовали изображения Баала, и Господь простил им. Не ради каких-то благ эти евреи оставляли веру; они делали это под угрозой ножа, перед неизбежностью пыток. Бежать? Погибнуть? Хитрить? Я не знаю, что будет угодно Богу. Но я знаю, что никогда он не пренебрегал бедами несчастных. А мы сегодня в большой беде и в большом несчастье. Судьба этой общины доверена мне моим отцом и отцом моего отца и девятью поколениями предков, которые истощили свои силы на службе нашего Закона. В этой общине — смысл моего существования, и я вынужден сказать, что она больше не существует, ради того, чтобы каждый из нас смог выжить. Я отдал приказ замуровать вход в эту синагогу, в синагогу, которая есть моя единственная отчизна, которую я так люблю, высокую репутацию которой я так старался не уронить. Я не говорю вам о своей печали, о своей боли. Я говорю вам о том, что приказывает мне сделать мой долг, для того, чтобы народ Израиля выжил в том бедствии, которое обрушилось на нас. И даже если нам суждено по-прежнему жить в печали, и даже если мы желаем утром скорейшего наступления вечера, а вечером — чтобы ночь даровала нам следующее утро, нам следует все время помнить о сказанном ранее: Бог не забудет союз, который он заключил с нашими праотцами. Поэтому я умоляю вас, ученые, раввины и мудрецы, ведущие наш народ, дадим нашим преследователям ту малую цену, которую они от

нас требуют, и сохраним нетленной искру Божественного слова, данного Моисею на горе Хорев. Я сказал.

Наступило долгое молчание. Кто-то кашлянул в ладонь, и опять молчание. Я никогда еще не слышал, чтобы мой отец говорил так много единным духом. Я был потрясен. Не знаю, что заставило меня медленно встать.

Рабби Маймон, сказал я, вопрос не в том, сохранил ли еще Господь наш союз или Он порвал его, дабы покарать нас. Вопрос в том, что мы решим: оставаться верными этому союзу или обдумать слова пророка о том, что живая собака лучше мертвого льва. Наш народ не имеет себе подобного, ибо он передал слово единого Бога всему миру, и этим словом и ради этого слова он живет на земле, в то время как столько других народов исчезли, не оставив следа в сознании людей. Судьба Израиля безусловно зависит от воли Господа; но она главным образом зависит от воли и неусыпности каждого из нас.

Мой отец тоже встал, тяжело выпрямившись и взлохматив бороду. Он не прерывал меня. Под полузакрытymi веками взгляд его начал мрачнеть. Кто ты? воскликнул он. Покажи свое лицо! Не торопясь, я спустил с головы таллит. Послышался глухой гул. Такой гул, какой бывает, когда тихо переговариваются в многолюдном собрании. Эта сцена обросла легендами, и в последующие годы о ней много толковали. Некоторые рассказывали, что бывшие там ученые пали ниц, приветствуя во мне нарождавшегося пророка. Чистая выдумка, я свидетельствую об этом. Другие передавали, что меня освистали за мои нечестивые речи и с позором изгнали из синагоги. Тоже ложь, я удостоверяю это. Раздался глухой гул, потому что члены Совета узнали во мне дерзкого юнца, осмелившегося взять слово в их присутствии, когда его не спрашивают, а также потому, что

они не верили своим глазам, увидев вдруг человека, вычеркнутого из общины. Мы переживали трагический момент, когда малейшее происшествие могло приобрести силу знамения, один из тех моментов, которые открыты для мифов, как плодородное чрево. Чья-то безжалостная рука пилила ветвь, на которой мы сидели, плуг бессмысленно врезался в почву нашей древней культуры, насилие вновь рвало наши глубокие привязанности, мы летели вниз и в свободном падении держались за наши священные тексты. Мы были отданы во власть добрых и дурных предзнаменований, произвола, случайностей. И при этом великом несчастье, поразившем нас, мне пришлось взвалить на себя еще и бремя малого несчастья и выступить против отца, от которого я прежде бежал. Я мог встать на этот путь, только утверждая, что я отличен от него, и так в действительности и было.

Он первый понял, в чем дело, и овладел собой. Мелким скользящим шагом он подошел ко мне, не спуская с меня глаз. Твой голос изменился, сказал он. Ты говоришь теперь, как иноземец. Твое лицо похудело. Ты познал страдание: Твой стан стал стройным. Твое чело обращено к небу. У меня был сын, похожий на тебя. Ты пришел занять его место? Он стоял передо мной, плотный и коренастый, взгляд его затуманился и потускнел в ожидании ответа на вопрос, и впервые я испытал порыв нежности к этому старому человеку, столь слабому в своей суровости. Рабби Маймон, сказал я, нельзя дважды окунуться в ту же реку. Я пришел не для того, чтобы занять чье-то место. Я пришел занять свое место. В несчастье, поразившем нас, никто не имеет права отказать мне в этом. Снова послышался глухой гул. Со свойственной ему живостью отец повернулся к знатокам Закона, образовавшим кружок вокруг нас. Вот Моше, сказал он.

Старший в моей семье. Он мог бы быть прекрасным князем в иудерии Кордовы. Но нет больше иудерии в Кордове. Да защитит нас Господь.

Он взял меня за руку, опираясь на нее, и мы вышли из синагоги. У крыльца вдоль стены стояли в ряд тележки с кирпичами. В сторонке топтались каменщики. До наступления ночи вход в наш молельный дом должен был быть замурован. Не забудьте, громко произнес отец, закрасить известкой позолоту на фасаде. Никто не ответил. Они были мастерами своего дела, набожными людьми и так же, как все, были удручены нашим общим несчастьем.

Короткими шагами, с трудом отец подошел ко мне, тяжело повис на моей руке и мы направились к дому. Внезапно его широкая грудь содрогнулась от рыданий. Я видел, что глаза его полны слез.

* * *

Как многие мусульманские завоеватели, новый правитель Кордовы носил имя Аль-Мансур Завоеватель. Менее чем за год его конники захватили половину провинции, и их лагеря стояли в Кадисе, Кордове, Севилье и у Калатравы. Они покоряли земли для альмохадского халифата Феса. Это был третий набег берберов на полуостров. Как испанские короли мучительно пытались создать военный союз, так и ислам пылко стремился обрести свое несуществующее единство. Мусульмане старались достичь единения словом и ради слова и священной войной ради священной войны. Хотя каждое нашествие имело собственный характер, их стиль был общим; пока войско шло налегке, оно во весь опор стремительно продвигалось вперед; как только оно захватывало трофеи и становилось тяжелым на подъем, его разбег замедлялся, ибо, в соответствии с древними

обычаями кочевых племен, цель казалась достигнутой.

И на этот раз тоже хорошая добыча сразу же удовлетворила аппетиты завоевателей. На какое-то время воинам было обеспечено богатое существование. Дальновидный предводитель, Аль-Мансур остерегался раздувать угасшее на время пламя. Он знал, что не сумеет заставить этих людей мчаться в седле, пока у них есть на что жить. Сам же он проявлял полное бескорыстие. Он двинул это сильное полумиллионное войско конников не для того, чтобы оно приняло участие в андалусском пиршестве и сложило бы остатки добычи к ногам своего властелина. Он выказывал пренебрежение и презрение к богатствам, попавшим в его руки. Основой его убеждений была строгая простота и воздержанность детей пустыни. Увеселения вели к изнеженности, а он стремился оставаться несгибаемым посланцем пророка.

У него была прочная слава. Рассказывали, что он ел мало и только раз в день; пил только верблюжье молоко; спал в доспехах на козьей шкуре, брошенной на пол, будь то во дворце или в шатре; у него не было ни жены, ни наложницы; он якобы похвалялся, что не умеет ни читать, ни писать, но не было равных ему в знании Корана. Хотя он располагал в алькасаре Кордовы множеством залов, оборудованных для купания и отдохновения, он пользовался ими только для ритуальных омовений. Кончиками пальцев он чертил на зеркале воды решетку и после этого свободно мог погружаться в каноническую молитву в точно предписанное время.

Начатая им война была не только войной против королевств, которые он считал развращенными, но и против самого разврата. Он приказал прислужникам вдребезги разбивать о камни все, что будет найдено: драгоценную мебель, музыкальные инструменты, сосуды с вином; иногда в

сточных желобах города текли красные потоки. После того, как была разгромлена одна лавка с шелками, все ткани перекочевали в потайные склады. У ювелиров вдруг не оказалось товара, кроме того, что был для продажи на прилавках. Аль-Мансур осуществлял преследования не озлобленно, но методично. Когда он выезжал из дворца на своем неоседланном белом коне впереди личной охраны и гривы и куфии⁶⁸ разевались по ветру, только самоубийца мог замешкаться на пути кавалькады. Если он мчался в один из станов своего войска, то, не задумываясь, мог направить коня в виноградник и растоптать виноградную лозу. Я видел Аль-Мансура близко только один раз. В моей памяти сохранился презрительно кривящийся рот, открывающий белоснежные зубы, оттеняемые жгуче-черной бородой.

Таков был человек, в одно сияющее весенне утро призвавший к себе старейшину профессоров университета Кордовы – Ибн Баджа⁶⁹. Гость нового правителя Кордовы принадлежал к поколению моего отца и был знаменит тем, что составил греко-арабский словарь, которым и я часто пользовался. Аль-Мансур принял профессора на берегу водоема под арками с лепными узорами, пропускавшими свет, но смягчавшими жару. Он был очень учтив и предложил без церемоний сесть на камень. Черный раб принес кувшинчик воды и кувшинчик молока. По восточному обычаю разговор начался только после вежливого молчания в честь Бога.

Испив несколько глотков молока и вытерев губы поданным черным рабом полотном, Аль-Мансур осведомился, как идут дела в университете. Они идут так, как тебе будет угодно, чтобы они шли, осторожно ответил Ибн Баджа. На самом деле дела шли плохо. Две трети, если не три четверти студентов покинули Кордову во время нашествия. Оставшиеся не проявляли большого

усердия и не возобновили регулярных занятий. Профессор полагал, что правитель, поскольку он правит, вероятно, уведомлен об этом. Хотя температура воздуха не была высокой, лицо Ибн Баджи побагровело и он весь вспотел. Он пожаловался на жару и отпил большой глоток прохладной воды.

Чему служит философия? спросил Аль-Мансур. Разве вся истина не дана уже в Коране? Ибн Баджа думал, что рядом с ним человек, всего лишь жаждущий знаний. Безусловно, сказал он. Истина открыта в Коране. Но цель философии не в овладении истиной; она в исканиях; она в крутом подъеме, который нужно преодолеть, чтобы достигнуть вершин мысли. Ибн Баджа был даже рад дать урок этому грубияну-вояке. Это как подготовка к бою, сказал он, которая иногда более благотворна, чем сам бой. Аль-Мансур кивнул головой в знак того, что все очень хорошо понял. Впрочем, добавил Ибн Баджа, чувствовавший себя теперь более свободно, философия всегда предлагала только две, при этом противоположные, гипотезы для объяснения существования вселенной: одна — Бог вне времени и вне материи, творец материи и форм; вторая — материя вечна, эволюция имеет начало, форма образовалась внезапно, существование Бога неопределенно.

Аль-Мансур еще раз кивнул. Какая из этих двух гипотез преподается в Кордове? спросил он, поднося к губам кувшинчик с молоком. Обе, завоеватель земель двух континентов, живо ответил Ибн Баджа, почувствовав, как в нем забрезжила надежда на благоволение властелина. Обе. Именно благодаря их сопоставлению расширяется и укрепляется человеческий разум. Аль-Мансур потянулся рукой за салфеткой. Это справедливо, сказал он. А каково твое мнение? Мое мнение? повторил Ибн Баджа растерянно. Мое собственное мнение?

Он задумался на мгновение над формулировкой, желая, чтоб она одновременно была изящной и точной. Если сказать тебе откровенно, произнес он, первая гипотеза дорога моему сердцу; вторая — дорога моему разуму, моему мозгу. Аль-Мансур громко рыгнул в ладонь. Он чувствовал в желудке тяжесть от верблюжьего молока. Жаль, сказал он, жаль, что твое сердце и твой мозг в раздоре. Придется разлучить их. Он отдал краткий приказ. Стражники бросили Ибн Баджу на землю ничком и отрубили ему голову так стремительно, что он даже не успел понять, что происходит.

Менее чем через час другой философ, Ибн Эзра, тот самый, кто впоследствии обрушился на меня и на написанное мною, предстал перед Аль-Мансуром. Он увидел туловище без головы, прикрепленное чем-то к подножию пиллястра, а чуть далее голову без туловища, она уже не походила ни на кого. Ибн Эзра был не вовсе неправ, когда в первое мгновение подумал о спектакле; в этой сцене действительно было что-то театральное, за одним исключением: это не было игрой. От ужаса колени философа подогнулись и он скорее упал, чем сел на камень, без всякого приглашения, вполне сознавая, как серьезно нарушает правила вежливости. В том состоянии, в каком он был, — потом он рассказал моему отцу эту жалкую повесть — он чувствовал, что весь обмяк и стал похож на перезрелую фигу, он готов был на все, лишь бы избежать самого худшего.

Аль-Мансур тактично ничего не заметил. Он сел рядом с философом. Черный раб принес освежающие напитки. Посвятили некоторое время молчанию в честь Бога. Над серебряной поверхностью бассейна порхали бабочки, и туча мух с жужжанием кружилась вокруг пиллястра. Аль-Мансур назвал покойного. Ибн Эзра не реагировал. Ледяной холод сковал его всего целиком до самой

глубины души, и он не способен был даже пошевельнуться. Значит, вот это тело, разрубленное на две части, — это все, что осталось от Ибн Баджи? Саму по себе эту гибель можно было счесть не стоящей внимания. Незаслуженно высокая слава. Словарь, где на каждой странице полно ошибок. Манера говорить одновременно высокомерная и вялая. И это стремление всегда поучать других. Можно быть философом и образованным человеком и тем не менее надутым дураком. Еще живой профессор никогда не высказывал более тонкого мнения о профессоре уже мертвом. В прошлом оба они охотно злословили друг о друге. Был ли об этом осведомлен Аль-Мансур? Вероятно. Как бы то ни было, он не стал задавать вопросов Ибн Эзре. Впрочем, тот был не в состоянии произнести ни одного вразумительного слова.

Завоеватель же дал предписание. Надлежит срочно очистить университет и библиотеку от мерзости, накопившейся там по вине одних и по слабости других. Сохранить следует лишь труды о Коране. Ему, Ибн Эзре, поручается добросовестное исполнение этой программы. Он получит любую помощь, какую только потребует. У профессора по спине пробежала долгая дрожь благодарности при мысли, что с каждой минутой его голова все более прочно держится на туловище. У него хватило сил только на кивок. Стражники вынуждены были помочь ему встать и выйти из зала. Они покинули его на ступенях алькасара, и Ибн Эзра рухнул на солнцепеке и долго ждал, пока ноги смогут вновь служить ему. Я взял на себя это грязное дело, сказал он позже моему отцу, с такой болью, как будто смерть поразила мою душу, для того чтобы она не поразила мою плоть. И потом, будем логичны: если бы я отказался, мне перерезали бы горло, и кто-нибудь другой согласился бы вместо меня. Там, где есть

власть, всегда есть и покорность. Кто знает, какого темного невежду могли назначить? Я, по крайней мере, не темный невежда. Хитростью я постараюсь по возможности уменьшить потери и спасти то, что может быть спасено. В каком-то смысле Кордове повезло, что выбор пал на меня. Грядущее по справедливости воздаст мне и признает мои заслуги, а также оценит, как я рисковал.

Не исключено, что Ибн Эзра искренне верил в то, что говорил. Что касается меня, я в этом сомневаюсь. Люди снисходительны по-настоящему только к себе самим. Сейчас ни к чему терзать далекое прошлое и указывать на виновного. В тот момент, когда я пишу эти строки, Ибн Эзра уже скончался от старости, и его душа, может быть, теперь стоит перед Богом. Он один будет судить, если Он судит...

Так началось на следующий день последовательное уничтожение самой прекрасной в мире библиотеки. Полными повозками книги вывозили на берег реки и бросали в огонь, постоянно поддерживаемый ветками деревьев и охапками хвороста. Это "аутодафе" весело продолжалось до конца лета. Трудно себе представить, сколько требуется времени и упорства, чтобы перевезти и обратить в дым такое количество пергамента и бумаги, какое представляют собой триста тысяч манускриптов. Я пишу "весело", ибо это было грандиозное зрелище для части населения. Толпы людей приходили сюда ежедневно. На безопасном расстоянии плотными рядами присутствующие кругом обступали костер. Но тщетно было напрягать слух: никто не высказывал ни печали, ни горечи.

В целом эти действия по оздоровлению умов были приняты скорее положительно. То, что пожирал здесь огонь, было порождением Дьявола, лукавого злого духа, выросшего как плесень на вере чистой и суповой, такой, какой она должна была быть по божественному повелению и по

неусыпной воле пророка. Этим порождением была все растущая распущенность нравов, бесстыдный кульб бесконечного наслаждения. Кордова наконец платила свой долг: это был праздник тех, кому раньше не было доступа к празднику, наслаждение для тех, кто раньше был более или менее лишен наслаждения. Как ни странно, среди собиравшихся было много женщин, и они издавали пронзительные крики, когда пламя взлетало особенно высоко. Легкий ветерок разносил запах гари по всему городу, никто не мог не знать о том, что заварил эмир на берегу реки. И если то там, то здесь все же раздавались критические замечания, то они выражали горечь по поводу того, что столько денег разбазаривалось зря в прошлом (а что такое деньги, как не результат народного пота?) ради утонченного удовольствия кучки привилегированных, а ведь большинство из них даже не верили в Аллаха.

Случалось, что дождь и гроза гасили костер и разгоняли толпу; это была лишь посланная небом незначительная помеха: достаточно было нескольких охапок хвороста и небольшого количества вара и все приводилось в порядок. Каждый день Ибн Эзра приходил сам проверять, как подвигается дело. Он не выглядел ни веселым, ни грустным; всего лишь внимательным и озабоченным. Как правило, он сопровождал самые ценные свитки и манускрипты, еврейские, арамейские и греческие тексты более чем тысячелетней давности, надписи, вытравленные на коже, вырезанные на глиняных черепках и инкрустированные на кости, которые увековечили наследие шумеров, персов, египтян, народов индийского континента, расписанные и раскрашенные полотна и шелка Византии; прислужники перемешивали пепел длинными жердями, чтобы огонь не пощадил ни одного обрывка.

В иудерии жизнь общины полностью замерла, не было никаких ее проявлений. Каждый замкнулся

в себе, затаился в семье. Официально в Кордове не было ни одного еврея. Мой отец, у которого чувство принадлежности к своему народу было как черенок, накрепко сросшийся с деревом, страдал не столько от того, что утратил влияние, сколько от изолированности. Он лишился своих обязанностей, и это привело его к полной безучастности, тем более что он не знал и не мог точно знать, кто уехал и кто остался, а среди последних — кто покинул корабль, а кто втайне уцепился за него. В стремлении получить такие сведения был определенный риск. Отступник так легко превращается в предателя.

В часы молитв мы закрывали все двери и Элизе оставалась в патио наблюдать; она научилась подражать крику совы, чтобы уметь предупреждать нас. Раз в неделю, в пятницу, перед заходом солнца, отец собирал миньян⁷⁰, самых близких, тех, кто вне подозрений; но кто мог быть уверен в себе и в ближнем? Мы никогда не были совершенно спокойны. Достаточно было какой-либо оплошности, невнимательности, и мы подверглись бы смертельной опасности. Недоверие витало над иудерий, как запах паленого над городом. Разве не покинуло нас Провидение? Разве мы не безвозвратно впали в немилость? В чем мы повинны, когда невиновность есть самая верная порука остающейся с нами нашей веры. Один за всех и все за одного — таков закон Израиля. Подвергает ли нас Господь испытанию или карает нас, забыл ли Он о нас или покинул нас, наша главная проблема остается неизменной. Вопрос в том, чтобы узнать, правы ли мы, оставаясь верными древнему мифу, может быть, угасшему, но, во всяком случае, древнему и отстоявшемуся, — и это с опасностью для нашего физического существования. Нам предстояло решить вопрос об отказе от нашей сущности или о ее сохранении. Почему я, почему мой сын не

будем больше потомками Рабби ха-Наси, автора Мишны, который жил в Галилее в эпоху странствий Савла, прозванного Павлом?⁷¹ Наша традиция основана на своеобразной связи между человеком и его судьбой, на исконной основе справедливости, на обрядах, отделяющих нас от животного, и я по принуждению должен отказаться от всего этого, дабы ценой обращения в другую веру получить покой и удобства? Сказав одно только слово, я мог присоединиться к стаду, избавиться от двусмысленности, отделаться от страха быть разоблаченным и преданным позорной смерти, как сделали это некоторые, как еще сделают другие из-за трусости, из-за усталости, из-за отвращения, из-за отчаяния или просто потому, что так удобнее. Мне нужно было сделать только один шаг, чтобы поменять лагерь и переметнуться на другую сторону, чтобы раствориться в массе тех, кто удерживает власть и навязывает произвол, чтобы перестать быть особенным и стать как все. И я не сказал этого слова, и я не сделал этого шага, ибо боль от измены самому себе была бы бесконечно тяжелей, чем злоключения, которые мог мне принести мой отказ.

Это была задача из простейшей математики. Нет, я не противопоставлял фанатизму битвы фанатизм сопротивления. Моя дилемма не состояла в выборе, быть ли гордым евреем или опозоренным евреем, она не состояла в поисках точки равновесия между верностью и предательством по отношению к навязчивой идее. Моя дилемма была: быть или перестать быть. Без сомнения библейская притча о живой собаке и мертвом льве сохраняла все свое значение. Я любил жизнь и отвлеченно и конкретно, и я люблю ее еще и сейчас, когда она начинает покидать меня. Я не верил и по-прежнему не верю, что может существовать идея или теория, которая стоила бы жизни; но я верил и верю по-прежнему, что есть ситуации, в которых

не стоит оставаться в живых. Я давал себе право хитрить с судьбой. Я отвергал уничтожение в обмен на проблематичное спасение моей плоти. Отец был прав: ни Ассирия, ни Вавилон, ни Египет, ни Рим, ни Византия не смогли одолеть наш народ, он упорно отказывался перестать существовать. Исламу это тоже не удастся. Кордова под властью альмохадов – только трудный момент, который предстояло пережить. Еще один.

Кордова под властью альмохадов оживала, как развороченный муравейник, как брошенная и вновь заселенная нора. В иудерии – я не выходил из нее – торговцы и ремесленники вновь открывали лавки. На рынке вновь появились плоды, овощи, птица. Но будь то в тени или на солнце, мужчины и женщины двигались, как во время дождя, прижимаясь к стенам, поодиночке, торопясь, втянув голову в плечи. Встречаясь, не приветствовали друг друга; не разговаривали друг с другом; не узнавали друг друга.

Воины нового эмира часто совершили мирные набеги на иудерию. Они двигались группами по двое или по трое, занимая всю мостовую пустынных улочек, щупали материю на прилавках, наблюдали за работой ткача, кожевника или золотых дел мастера, глядя в окно, покупали вишни и плевали косточки прямо перед собой. Аллах велик, вежливо говорили они каждому встречному. И Мухаммад пророк его, отвечали им едва слышно. Было бы ошибкой подозревать, что они осуществляли какой-то надзор. Сытые бездельники, они просто бродили, гордые тем, что попирают завоеванную землю, и с любопытством разглядывали вблизи эти странные и неразумные существа, которые так долго и упорно отказывались принять истинную веру пророка. Благодаря им, воинам эмира, установлен справедливый порядок. Они были великодушными завоевателями и искали контакт с туземцами, но все замыкалось перед ними, уста,

сердца, дома. Детям они предлагали засахаренные плоды и сласти из меда, но дети избегали их. Собаки хрюпали лаяли на их пути. Иудерия, еще недавно столь многолюдная и радушная, свернулась в своей раковине, как улитка.

Разрыв общинных связей держал каждого из нас в изоляции, и единственный выход из нее был закрыт, ибо он шел через общину. Кто может быть менее свободен, чем человек, ведущий двойную жизнь? Обезлюдевший и лишенный души, наш город походил на кладбище. У оград, сквозь которые видны были фонтаны в садах, толпились воины эмира, зачарованные видом и шумом непрерывного брызга струй. Что, этому никогда не будет конца? Нет, этому не было конца. Этим бедуинов, заброшенным далеко от родных дуаров, предоставлялась возможность вспомнить легенду о том, что все *йауди*⁷² немного колдуны. Нет легенд, не имеющих в основе истины: доказательство находилось здесь, оно было из камня в виде воды. *Аллах акбар!* Хотя эти люди теперь добрые мусульмане милостью эмира и его непобедимого войска, все же лучше держаться от них подальше.

Происшедшее создало новые отношения между отцом и мною, и оба мы были удовлетворены ими. Я показал, что отныне могу обойтись без укоризненных наставлений, хотя и не отказываюсь от еще нужных для меня советов, а отец мудро принял это как само собой разумеющееся. С болью я замечал, что отец не следит больше за своей осанкой. Раньше он всегда держался прямо, а теперь спина его согнулась. Квадратная борода его стала волнистой, скользящая походка выдавала усталость. Несмотря на крики Элизе, он отказывался менять кафтан так же часто, как раньше, и иногда я замечал на его одежде на груди пятна. И все же он по-прежнему продолжал много работать. Он составлял многочисленные респонсы⁷³ по вопросам канонического права, накапливал

доводы для своего *Послания к общинам*, которое впоследствии получило такое широкое распространение, неустанно дополнял свою *Грамматику еврейского языка* и готовил *Обращение к халифу Абд-эль-Мумену*, ибо надеялся убедить его, что терпимость в вопросах веры благотворна, а непреклонность – злодейственна. Целыми днями отец работал у себя в кабинете и выходил оттуда только на короткое время для совместных трапез. Я, со своей стороны, сразу же по возвращении принялся за дальнейшее изучение богословия. Я замыслил обширный труд, посвященный кодификации Талмуда⁷⁴, еще не зная, к чему меня приведет эта работа. Ты знаешь, что результатом явились четырнадцать толстых книг, которые не давали мне ни минуты отдыха в течение десяти лет.

Ты считаешь, что я из похвальбы перечислил эти названия? Нет, у меня есть свои основания и основания эти – в последующем разговоре о безумии. Можешь ли ты измерить его размах? Давай посмотрим на все происходящее сверху, я, пишущий эти строки, и ты, читающий их. Мы в Кордове в ее последнее лето. Другого уже не будет. И даже это последнее лето – тайный выигрыш спокойных дней. Солнце стоит высоко в небе. Прилетели ласточки, набухают почки и повсюду распускаются цветы. Новые воды стекают с гор. Мириады мух роятся в воздухе, овцы, телки ждут приплода, вишни краснеют на деревьях, вся природа участвует в спектакле, начало и конец которого переплетаются и сливаются согласно замыслу. На берегу реки раздувают пламя, и безумные люди бросают целыми охапками книги в огонь. Память всего человечества обращается в дым. А в трехстах метрах от этого места, в сени столетнего дома два других безумца, отец и старший сын, используют все оставшиеся им в жизни часы на создание новых книг, которые уже

тоже ждет костер. Разве это не безрассудство? Но что еще можно делать? Что делают пчела в дупле, форель под камнем, зерно в борозде? Сжигать книги — действие, безусловно, неестественное. Естественно ли писать их, когда в воздухе разлито тепло и земля поет, пробуждаясь?

Я поднимаюсь еще чуть выше, и мой взгляд проникает под кровли домов иудерии. Из прежних двадцати тысяч душ осталось десять-двенадцать, примерно три тысячи семей. Вечер опускается на Кордову. Торговец закрыл лавку. Ремесленник отложил в сторону работу. Крестьянин вернулся с поля. Мужчины поспешили прочли молитву; поспешно, потому что над таллитом и тфиллином нависла угроза и потому что молитва, творимая в одиночестве, — не истинная молитва. Все стремились к мгновению слияния со всеобщей душой и некоторые обрели его. Теперь пришел час возвышенной любви. Отлажено пламя фитиля, книга открыта на недочитанной вчера странице. И вот наступает ежедневное омоложение, погружение в теплый источник Израиля, возвращение в царство, текущее молоком и медом. Это слишком наивно? Пробужденная мечта завершает апофеозом тяжело прожитый день. Как эфир, она витает над домами евреев, проносится над морями и континентами, имматериальная, как сам Бог, родина. С высоты, где я нахожусь, я вижу все эти склоненные головы, все эти затуманенные блаженством взгляды, и я ощущаю как очевидное свое единство с уже созданной книгой и с книгой, которая будет создана.

На берегу Гвадалквивира день тоже закончен. Сожжение на костре оставило после себя гору пепла с запахом горелого рога, и вечерний ветер порывами разносит его над водами реки. Вместе с ним он уносит и немного моей плоти и моей крови, и немного плоти и крови всех людей слова и письма, над которыми совершено смер-

тельно-жестокое насилие. По существу, уничтожена часть человечества. Я не могу больше выносить эту боль, и я спускаюсь к своим. Отец у себя в кабинете пишет книгу. У себя в комнате я начинаю писать книгу. Рядом со мной мой младший брат читает Книгу. Каждая написанная или прочитанная фраза — залог невиновности и вещественное доказательство вины. Достаточно пустяка: чтобы один из воинов, бродящих по иудерии в поисках необычных зрелищ, случайно толкнул дверь. Так или иначе, мне уже обеспечено выживание, и не от меня оно зависит, а если на мою долю выпала крупица бессмертия, то она найдет свое место в книге.

* * *

Все произошло по глупой случайности. Постоянному мяснику эмира бычок вывихнул плечо, а повар потребовал в этот день для стражи мясо трех баранов. Как выйти из затруднения? Управляющий хозяйством алькасара, обращенный в мусульманство еврей, имя его я запамятаю, знал Йоада и послал за ним стражника.

Во двор к моему дяде явился не воин эмира, а провозвестник судьбы. Йоад со своим здравым природным смыслом сразу сообразил, что это конец его жизни. На мгновение его охватила паника, но он быстро овладел собой. Итак, Бог возвещал ему, что настал час искупить грехи. Была суббота, день, когда Господь отдыхал от всей работы своей, и он, Йоад, в этот день не поднимет ножа. Тем самым он сразу открывал свое вероломство и подлежал немедленной смертной казни. *Аллах акбар* — сколько вам угодно. Осквернить святой день — ни за что. Невозможно! сказал он посланцу. Иди скажи своему хозяину, что это невозможно.

Но стражник получил приказ привести Йоада во дворец. И он приведет его, пусть даже силой. В его тупом мозгу не хватало места словам и он наполовину вытянул из ножен меч. Чем больше злился воин, тем большее спокойствие охватывало Йоада. Только знамением с неба могла к нему теперь явиться надежда на спасение. Хорошо! сказал он посланцу. Я иду с тобой. Он не стал звать жену, чтобы сказать ей об уходе. Он только поцеловал своего самого младшего сына и тот захныкал, разбуженный прикосновением колючей бороды. Не бросив ни единого взгляда назад, Йоад вышел из дома и последовал за стражником.

Когда он проходил по нашей улице и увидел Элизе за оградой, ему пришла мысль позвать меня. Со времени возвращения из Толедо я только один раз и ненадолго посетил дом дяди. Я по-прежнему любил его, но он стал мне менее интересен, и его простые мысли не соответствовали больше моему представлению о мире. Пойдем со мной! сказал он мне. Может быть, ты будешь единственным, кто сможет рассказать о том, что было. Какое-то время мы молча следовали за стражником. Не ходи туда, Йоад! сказал я ему. Из любви ко мне и к твоей семье не ходи туда! Беги, ты более ловок, чем воин. Спрячься где-нибудь. Завтра мы сумеем вывезти тебя из Кордовы. Семья приедет к тебе. А когда дело забудется, ты вернешься в свой дом. Он покачал своей большой рыжей головой. Сегодня суббота, сказал он. В этот день Йоад не побежит. Йоад идет спокойно по пути, ведущему к Богу. Спрятаться? А что я сделал плохого? В чем мое преступление? Вспомни Азарию, которого бросили в печь⁷⁵ во времена бедствий, хуже которых не было, с тех пор как существует наш народ. Если Господу будет угодно, Он набросит на меня покрывало из журчащей росы, и никакое зло не коснется меня. Неужели Йоаду до такой степени

надоела жизни? Или он глуп до слез? Я видел, что лицо его было ясным, а на губах блуждала блаженная улыбка. Сегодня суббота, повторил он. Бог сжалится надо мной. Бог – конечно, Йоад! А управляющий? А эмир? Йоад улыбался. А пророк Даниэль? сказал он. Его бросили в яму с львами, а он вышел оттуда без единой царапины.

Мы уже входили в ворота первой крепостной стены. Я не останавливаюсь на подробностях. Это было ужасно. Уличенного в отступничестве Йоада привязали за шею к ветвям фигового дерева. Управляющий сунул ему нож за пояс. Приговор гласил, что если Йоад перережет веревку, он свободен. За время десяти ударов сердца он должен был решиться. Напрасно умолял я управляющего дозволить мне перерезать веревку. Не ты! сказал тот. Он! У этого гнусного вероотступника была своя мысль. Спокойная решимость Йоада бередила ему совесть и была насмешкой над его собственным обращением в мусульманство. Может быть, он думал, что в последнее мгновение Йоад проявит слабость? Я тоже на секунду подумал так. Только покрывало из журчащих капель росы, только оно могло защитить жизнь перед лицом смерти. Но достаточно было бросить взгляд на мученика, чтобы убедиться: тщетна всякая надежда. Йоад держался очень прямо на скамейке, но глаза у него были белые. Он уже был не с нами. Борода его вздрогивала, потому что он читал молитву Азарии в печи. Да будешь Ты благословен, Господь, Бог отцов наших, и достоин хвалы, да славится Твое имя в веках. Ибо милостив Ты во всем, что сделал нам, все дела Твои истинны, верны пути Твои и праведен суд Твой. Ни на одно мгновение не потянулась рука Йоада к поясу. Даже пальцы его не дрогнули. Сегодня суббота. Йоад не поднимет ножа. Ударом сапога управляющий выбил скамейку. Несколько подрагиваний на дереве, и все

было кончено.

Сжав челюсти, на грани нервного припадка, я ушел на берег реки, вверх по течению, далеко от того места, где сжигали книги. Я бросился ничком на жесткую прибрежную траву, не обращая внимания на палящее солнце, и там несколько часов подряд я провел в неуемных рыданиях. Я не оплакивал смерть матери, я был тогда слишком мал; я не оплакивал смерть отца, он был очень стар; я не оплакивал смерть брата, он был очень далеко; за всю свою жизнь я не пролил столько слез, сколько над Йоадом: я плакал над наивностью, над заблуждениями, над глупостью. Я плакал над самим собой.

* * *

Уже наступал вечер, когда я вернулся домой. Отец молился. Я тоже стал молиться, но не нашел успокоения. У меня болело все тело, как если бы меня нещадно избили. Взволнованный, я слишком туга затянул ремни тфиллин и теперь чувствовал толчки крови в руке. В теплом воздухе стоял запах подвала и гари. Никому не хотелось говорить. И все же нужно было решиться. Я узнал от Элизе, что тело Йоада бросили в ров за первой крепостной стеной. Туда пришли за ним вдова и плакальщицы. Согласно указаниям Второзакония нужно было безотлагательно предать мученика земле, поскольку сказано: не дай трупу повешенного ночевать на дереве, ибо проклят перед Богом всякий повешенный. Уже пыль набилась в уста, умолкшие, когда провозглашали они хвалу Господу. Журчание росы уступало место молчанию глины.

Из глубин моего отчаяния во мне поднимались волны гнева. Я встал перед отцом. Он молчал, полуприкрыв веки. Я почти закричал: Рабби

Маймон! Очнитесь! Нам нужно уйти отсюда. Нам нужно покинуть этот город, ставший клоакой. Все то справедливое и благородное, что Кордова хранила в течение веков, вступило в стадию разложения, и это невозможно больше терпеть. Разве мы овцы в загоне, чтобы бездейственно ждать, пока на нас обрушится рука палача? Или мы блаженные, чтобы надеяться, что беда минует нас? Замкнуться в молчании среди подобной гнусности — разве это не значит согласиться быть соучастниками? Немилость Господа лежит на этом городе, и я, Моше, я хочу уйти от этой немилости, в этом наша единственная возможность защищаться. Разве мы не люди, достойные уважения, и в первую очередь — собственного? Как можно согласиться увидеть еще раз восход солнца среди этой мерзости? Не страх заставляет меня говорить, Рабби Маймон, а бунт. Мы должны уйти отсюда, пока мы еще не потеряли себя, покинуть этот дом, эту отныне гниющую провинцию и искать в других местах землю, где мы сможем без стыда смотреть в лицо друг другу. Рабби Маймон, вы слышите меня?

Еще немного и я схватил бы его за воротник и затряс. Но отец медленно поднял веки. В его взгляде была бесконечная печаль, но в глубине зрачка мелькнул неистовый огонек. Я думаю, как ты, сын мой, сказал он. Мы покинем город сегодня ночью, когда луна уйдет с небосклона.

Растопырив пальцы веером, он расчесывал бороду, и губы его растянулись в странную усталую улыбку. Мир велик и обширен, сказал он. И Бог повсюду. А в великой Книге сказано: Счастливы те, кто странствуют. Даже пророк Аллаха сказал: Тот, кто может идти далеко, легче войдет в рай.

Не знаю, что со мной приключилось, но я расхохотался. Вероятно, от нервного напряжения. Я так страшился, что отец выдвинет какие-нибудь возражения, чтобы выгадать время, или ответит

упрямым отказом. Ради нашего спасения мы должны были быть едины. То, что в подобный момент он способен был пошутить, глубоко потрясло меня, и я был ему бесконечно признателен за это. Давид наблюдал за нами, опершись локтями на стол, открыв рот и вытаращив глаза. Он никогда не слышал таких длинных речей в этой комнате. Вдруг он вскочил и запрыгал то на одной, то на другой ножке, напевая на тут же сочиненный им мотив: Аллилуйя! Все в дорогу! Аллилуйя! Мы уйдем! Сцена могла бы показаться гротескной, но в этом взрыве чувств была искренняя радость, более сильная, чем поразившее нас несчастье, радость оттого, что мы покончили с отчаянием и держим в руках нить, дающую новую надежду. У двери вдруг раздался крик. Это причитала Элизе. Замолчи, приказал отец, не повышая тона. Поди приготовь корзины и сумки. Нам нужно сложить вещи. Когда наступит время, я пойду взнудаю мулов. И не устраивай скандала. Достаточно тяжело и без твоих слез.

Весь вечер и часть ночи мы провели, отбирая вещи, которые надлежало взять с собой: книги, рукописи, белье и одежду, кухонную утварь. Вскоре всего оказалось больше, чем могли унести мулы. Пришлось разобрать наполненные мешки, отказаться от одних вещей ради других, и каждый раз при этом сильно сжималось сердце. Считал ли хоть один из нас, что мы действительно когда-нибудь вернемся в этот дом? Я думаю, что в глубине души ни у кого не было сомнений. Самым устойчивым в нашем наследии была привычка к временному состоянию. Изгнание не должно было быть чем-то исключительным. Есть в Андалусии город, названный Кордовой, основанный и построенный нашими предками, и в этом городе квартал, сплоченный, как сжатый кулак, и открытый, как венчик лепестков; и в этом квартале в течение многих веков было место для

жизни, созданное нами и для нас. Сточный желоб излил туда зловоние? Нам придется уйти, пока не истощится содержимое стока. Полгода, год, десять лет? Счет времени не имеет значения: мы покидаем нечто временное, что длилось много веков, ради временного, которое не может длиться долго. Таково было, насколько я помню, мое умонастроение.

Однажды я уже уходил, и моя связь с моими корнями не ослабла. Если бы этой ночью кто-нибудь сказал мне, что я никогда больше не увижу этого дома, в котором я родился и должен был умереть, я бы громко рассмеялся. Вероятно, груз прожитых лет делал моего отца более осторожным. Он, в его возрасте, научился не доверять очевидности. Он лучше, чем я, знал, что отдает себя во власть случайности. Но справедливость требовала, чтобы он вернулся в свою ячейку, а он ни во что так не верил, как в справедливость. Мой брат уже чуял ветер предстоящих странствий и приключений и, возбужденный этим ветром, прыгал и напевал, пока измученная Элизе тумаком не заставила его замолчать. Она одна чувствовала себя несчастной оттого, что мы уходили, а ведь этот дом стал ее домом только по стечению обстоятельств. Она думала о том, сколько пыли соберется в ее отсутствие, о том, как будет жаждать влаги ее никем не поливаемый гибискус. Она заставила каждого из нас спуститься в подвал и высказать наше мнение о стенке, за которой она спрятала все наши сокровища; она явно больше, чем мы, болела душой за их сохранность. Стенка была обильно вымазана за сохшой грязью, и никак нельзя было догадаться, что за ней. Но Элизе не могла успокоиться. Ее тревожило, что мыши смогут спокойно грызть наши ковры и меха, что медная посуда покроется зеленью, а серебряные вещи потускнеют. Она поднялась на крышу поправить черепицу, из-за

которой вода могла просочиться в дом, навела порядок в ящиках и сундуках, где все было переворочено, сложила аккуратно вымытую и высушеннюю посуду. Мулы уже были нагружены и стояли у решетки, а она все еще возилась в доме, проверяла, нет ли под пеплом тлеющей головни и нет ли складок на покрываалах в спальнях. Ее преследовала мысль, что придут чужие люди и будут злословить о том, как она содержала дом.

Она никак не могла распрощаться с этим замкнутым пространством, где когда-то вновь обрела человеческое достоинство. Мне пришлось пойти за ней, и я в последний раз наступил ногой на качающуюся плитку в коридоре. Держа в руках свечу, Элизе подрезала ветви розового куста. Торопить ее было бесполезно. Я вернулся к отцу, и мы стали ждать. Отец посадил Давида на мула, которого я привел из Калатравы; склонившись к шее животного, брат почти спал. Ночь была тепла и напоена ароматами, небо было светлым от звезд. Наклонив голову набок и весь напрягшись, отец, казалось, прислушивался к чему-то, но я не мог догадаться к чему. Послушай! сказал он мне. Я ничего не слышал. Но он безусловно слышал: в эту ночь десятки семей, как и мы, готовились бежать. Когда на следующий день узнают, что семья Маймон ушла, иудерия опустеет, как дырявая корзина.

Наконец Элизе решилась, она закрыла решетку и заперла ее на ключ. Все было кончено; мы были вне дома. Мы оставляли за собой еще теплую от боли и горя гробницу. Покачиваясь, как сомнамбула, Элизе взгромоздилась на второго мула. Но наш караван не тронулся с места. До этой минуты мы думали только о необходимости уехать; и вдруг встал неотвратимый вопрос: куда, в какую сторону? Нигде в мире не было места для нас. Я держал в памяти письмо Ибн

Рушда. Альмерия. Отец не был против. Альмерия обещала приют, приемлемый на время. Итак, мы повернули молов к югу.

Нам предстояло преодолеть еще одно препятствие прежде, чем покинуть город: Римский мост и его ухающего филина — мусульманина-отшельника. Отец заранее подготовил серебряную монету немалого достоинства, чтобы заставить его молчать, ибо крики могли растревожить дозор. Проснувшись при нашем приближении, безумец, как лемур, выскочил из норы и готов был уже приступить к своим пророческим проклятиям, но лепта в протянутой руке смягчила его. Он поднес монету к зубам, громко рыгнул и показал свой отвратительный оскал. Бедный старик! прокаркал он, ты идешь умирать вдали от дома! Осторожность требовала не отвечать ему. Отец потянул мула за узду. Но отшельник еще не ушел с дороги. Он встал передо мной и приблизил почти вплотную к моему лицу свое, поросшее грязной щетиной. Я отшатнулся, ибо дыхание его было зловонно. Неожиданно он поднес руку к сердцу и глубоко поклонился. Клянусь Аллахом всемилосердным! воскликнул он. Я вижу тебя осененным нимбом славы среди живых и умерших. Пройдут века, и Кордова будет помнить тебя и гордиться твоей мудростью. В далеком будущем твое изображение в бронзе встанет посреди города, из которого ты сегодня бежишь, как вор, и я буду здесь приветствовать твое возвращение. Его хриплый голос разносился далеко над рекой. Отец сунул ему в пальцы еще одну серебряную монету. Спотыкаясь, мелкими шагами, отшельник наконец отошел в сторону, покачиваясь всем корпусом, как ярмарочная кукла на ниточках. Тщеславие дурачит весь мир! прокричал он еще. Счастливы ослы! Да уйдет с вами чума!

Путь наконец был свободен. Мы могли спокойно идти в ночь.

Солнце уже поднялось высоко, когда мы добрались до нашего виноградника. С момента нашествия мы не имели отсюда никаких вестей. Место едва можно было узнать. От жилого дома остались только ряды почерневших столбов. В соседнем гумне, которое огонь пощадил, мы увидели в месиве соломы и веток обглоданные грызунами и хищниками скелеты. В углах шевелились потревоженные нами крысы, и стая луней⁷⁶ с наглостью следила за нами со стропил. Элизе выбежала, прислонилась к стволу дерева, и ее стало рвать. В винограднике не осталось ни одной нетронутой лозы, все было, по-видимому, вытоптано сотнями конских копыт. Несмотря на полную опустошенность имения и уныние вокруг, отец решил, что мы проведем день здесь, в тени фиевого дерева. Все мы нуждались в отдыхе, да и ради безопасности предпочтительнее было дождаться темноты и тогда продолжить путь. По счастью, колодец сохранился в целости, а Давид нашел под развалинами погнутое ведро. Ни у кого из нас сердце не лежало к еде. Я растянулся в тени дерева и тотчас же заснул глубоким сном.

А вечером Элизе не смогла встать. Вначале я думал, что волнения сразили ее, но вскоре убедился, что нашу горбунью постигла более серьезная хворь: она прерывисто дышала, ее била дрожь и кожа была горячей и шершавой. Это пройдет, с трудом прошептала она. Это через минуту пройдет. Когда отец нагрузил мулов, Элизе и в самом деле попыталась встать, но не смогла. Стало ясно, что она не удержится в седле и что мы не можем двигаться дальше. Усталым голосом она умоляла нас продолжать путь без нее. Существовало только одно решение: устраиваться здесь же на ночь.

Мы перенесли Элизе в развалины дома, где не

было ветра, и там устроили ей постель из соломы. Отец отвел мулов на луг. Потом мы под тем же деревом принялись держать совет. Ситуация была странной: считалось, что я знаю медицину, поскольку изучал ее и прочел множество книг, но я совсем растерялся и не знал, как вести себя в этом случае. Я не мог также сослаться на свое неведение и тем поставить под сомнение все, чему учился. По моему мнению, у Элизе было воспаление, одновременно сухое и влажное, которое влечет за собой появление в организме злодейственных жидкостей, растекающихся из желудка и печени. Следствием этого может явиться загустение крови, способное привести к упадку деятельности мозга и иных членов организма. Если верить Галену, Ибн Сине, Аль-Фасси и Аль-Талмиду, положение Элизе было очень серьезным.

Нужно было бы, сказал я, дать хорошие лекарства, предписываемые этими врачами: оксимел⁷⁷, семена капусты, истолченные в розовой воде, настой из хрена, камфарные шарики; но у нас ничего этого нет, и только силы самовосстановления природы могут повлиять на исход борьбы, происходящей в организме нашей служанки. Давид хотел знать, есть ли угроза, что Элизе умрет. Я не чувствовал себя достаточно сведущим, чтобы дать категорический ответ. Господь решит. Наши возможности помочь очень ограничены: дать горячее питье, желательно отвар лебеды, для одновременного воздействия на чрезмерную сухость и чрезмерную влажность; дать больной полный отдых, укрыть ее от дневного жара и ночной прохлады; и ждать, пока Господь даст знать свою волю. Именно последнее утверждение беспокоило моего отца. Ему хотелось бы иметь более точные данные о том, сколько продлится ожидание, ибо наше положение было ненадежным. Как ответить на такой вопрос? Я не нашел ничего лучше, как сослаться на Гиппократа: два противоположных

начала борются в организме Элизе; если эти начала равны по силе, борьба может быть долгой.

Тут спустились сумерки, и не стало возможности искать лебеду до наступления следующего дня. Я принес Элизе чашку горячей воды. Она едва прикоснулась к ней губами и тут же с отвращением отказалась пить, хотя жаловалась на сильную жажду. Она хотела холодной воды, что противоречило учению Галена. Авенсоль много раз, бывало, обращал мое внимание на капризы больных и на нарушение их способностей к разумному суждению, выражавшееся в неприятии доводов медицины. Я был тверд: горячая вода или ничего! Элизе, более упрямая, чем я, резко оттолкнула чашку, и содержимое пролилось на солому.

Сегодня я признаю, что неопытность и большая доля глупости заставили меня поставить мои плохо обоснованные и сомнительные познания выше природного импульса, как бы он ни был ненадежен. Я до сих пор не могу себе простить, что был до такой степени слеп. Я, будущий врач, подверг мучениям нашу верную Элизе, вместо того чтобы облегчить ей страдания. Угрюмый, я вернулся, нехотя проглотил похлебку из кукурузы, которую сварил отец, разложив небольшой костер из хвороста. Прежде чем улечься под деревом вместе с братом, мне захотелось пойти посмотреть, как себя чувствует наша больная. Она спала, открыв рот, и дышала ровнее, чем вечером. Это показалось мне добрым признаком. При свете свечи я долго внимательно рассматривал желтое некрасивое лицо, способное настолько изменяться, что дало сначала мне, а потом Давиду иллюзию материнского образа. Замечали ли мы когда-либо, насколько она была уродлива? Я не уверен, что она сама знала это, потому что она видела себя только изнутри, а изнутри она была прекрасна. Должно быть, она считала себя жертвой каких-то злых чар, которые околдовали ее после похищения

и которые рано или поздно вернут ей ее красоту. Она рассказывала, что ее отец обожал ее и говорил каждый день, что она прелестнее всех девочек Смирны, и она верила в это, потому что это могло быть только правдой. В то время она носила в будние дни платья из полотна или шелка, а в волосах, как бабочка, покоился большой красный бант. Несмотря на горб, едва заметный тогда, она умела танцевать, бегать, карабкаться на деревья и знала тысячи историй о чудесной любви, когда молодые боги прибывали весьма своевременно, чтобы взять замуж примерных барышень, предназначенных для счастливой судьбы. Когда турки у нее на глазах зарезали родителей и в шестером набросились на нее и насилировали ее один за другим, тогда она сделалась уродливой — чтобы отрешиться от этого слишком жестокого мира. И разве само это насилие не доказывало, что ее отец говорил правду, потому что дурнушку не насилиют, да еще шестеро, да еще молодцы, сложенные прекрасно, как греческие статуи? Аргумент стоил иллюзии. А я, что думал я? Свеча дрожала у меня в руке, так трогало меня это восковое лицо и этот безобразный рот, из которого вырывалось короткое и хриплое дыхание. Меня охватили воспоминания, и я должен был отбиваться от укусов сомнений. Откуда все это зло, растекшееся в мире? Откуда происходит тот факт, что я не в силах терпеть это зло и не в силах дать ему отпор?

Ночь была тепла и светла, полна каких-то быстрых движений на земле и в небе. Большая равнодушная луна серебрила поля и создавала на них островки тени. Беспрерывным хороводом кружились одни и те же вопросы и близко подходили к одним и тем же ответам, которые ни на что не отвечали. Где-то улюлюкала сова, и никто не отзывался на ее крик.

Еще только начинало светать, когда я внезапно

проснулся. Отец храпел, завернувшись в одеяло. Но место рядом со мной было пусто. Я подумал, что Давид, без сомнения, пошел по естественным надобностям. Но так как он не возвращался, я отправился на поиски. Я обошел все здания, виноградник, я окликнул его на опушке леса, и чем больше проходило времени, тем сильнее росло мое беспокойство. По пути я набрел на заросли лебеды и нарвал охапку.

Прежде у меня еще была надежда, что брат вернулся к дереву в мое отсутствие. Совершенно обезумев, я стал трясти отца. Рабби Маймон! Давид исчез! Отец тер глаза, ворча что-то. Исчез? Как это исчез? Солнце освободилось от короны тумана, и взгляд теперь мог охватить всю равнину, над которой кружились стаи ворон. Мы еще раз обошли все кругом и звали Давида до хрипоты. Утренний ветерок шаловливо играл травой на лугу, где паслись мулы. Что случилось с мальчишкой? Ему еще не было девяти лет; никогда он не выказывал никаких склонностей к конфликту с нами, никаких попыток проявить независимость. И совсем не в характере Давида было воспользоваться нашими бедами, чтобы сбежать. Мы были скорее растеряны, чем подавлены. Наверно, он где-нибудь недалеко. С минуты на минуту он появится, и мы вместе посмеемся. Так или иначе, мы были невластны над происшедшем.

Вместе с тем я должен был уделить внимание Элизе и ее болезни, ведь она нас серьезно беспокоила. Больная лежала неподвижно, широко открыв глаза. Она посмотрела на меня мрачным взглядом, как только я приблизился. Сыр на молочной полке, сказала она, и я понял, что она бредит. Мелкие капли пота выступили у нее на верхней губе. Нет, у нее ничего не болит; изредка только голова, когда она поворачивается, как будто проводят пилой; но когда она не шевелится, она чувствует себя хорошо в этой

перламутровой колыбели. Море спокойно, сказала она. Легкая волна только чуть-чуть покачивает лодочку. Нужно будет полить цветы.

Она безропотно проглотила весь отвар, который я давал ей с ложки, и нашла его вкусным. Не прячься! сказала она мне. Я узнаю тебя, ты маленький Моше. Иди скажи своему народу, что я покараю фараона. И так как я не уходил, а попытался немного взбить солому, Элизе вдруг рассердилась. Иди с твоим братом Аароном! Ты будешь наказан, за то что сомневался во мне! Возбуждение охватило ее; лучше было ее оставить.

Я вернулся к отцу. Прислоняясь к фиговому дереву, он читал Книгу Чисел⁷⁸. Погруженный в чтение, он даже не поднял глаз, когда я сел рядом с ним в тени, потому что солнце уже сильно грело. Я тоже взял книгу, но не мог сосредоточиться. Через какое-то время я заметил, что и отец не переворачивает страницы. Наши мысли были, без сомнения, полны одной и той же тревогой. Не следовало говорить об этом, ибо нечего было сказать. Несчастье, старый знакомец, с незапамятных времен следующий по пятам за нашим народом, настигло нас, когда мы считали, что, благодаря терпению, хитрости и мудрости, убереглись от него. Прежде я сострадал судьбе беженцев, которые прошли через наш дом, и вот мы тоже брошены на дороги сожженной земли, голова наша посыпана пеплом, на ногах путы, Элизе смертельно больна, Давид исчез, что же дальше? Этого было достаточно, и это было ничто. Если бы земля разверзлась, чтобы поглотить нас, или небо обрушилось бы на нас, чтобы принять в себя, мы были бы не в состоянии добавить еще хоть одно слово, пролить еще хоть одну слезу. Был ли я фаталистом? Конечно, нет; и отец тоже нет; с полной отрешенностью он перебирал мысленно те же горести. В один из дней в будущем растоптанные виноградные лозы

дадут новые всходы, они уже набирают соки, и снова будет виноградник там, где был виноградник, и человеческие руки будут заботиться о ростках и ласкать грозди, и будут новые ягоды и новое вино, и что за важность, если все это не для нас! Нет, я не был безмятежным оптимистом. Я не считал, что на меня направлена особая забота, не уповал на благорасположение Провидения, не ожидал, что в последнюю минуту оно набросит узду на злой рок. Еще чуть-чуть, и я стал бы бредить, как Элизе: наш кораблик сорвался с якоря, он плывет на легкой волне, средней между полным штилем и бурей, и мне не остается ничего другого, никакой другой надежды, как только вцепиться в руль и поддерживать направление движения по прямой линии, хотя и неизвестно, что в конце ее. Путеводная нить в наших руках, пусть узловатая, скрученная, запутанная, но мы держим ее и будем держать, пока есть сила в пальцах.

Я вздрогнул, услышав голос отца. Мне нужно поговорить с тобой сказал он. Разное может случиться и с тобой, и со мной. Элизе выживет или не выживет. Давид вернется или не вернется. В любом случае нам, тебе и мне, нужно будет продолжать путь, пока Богу будет угодно, чтобы мы были вместе. Рабби Маймон, сказал я, оставим Бога там, где Он есть. Если Он следит за нами взглядом, то недобрым; если Его взгляд устремлен в другую сторону, то к чему беспокоить Его? Глаза отца были опущены на книгу, но он не читал. Ты нечестивец, сын мой, сказал он. Я согласился принять тебя таким, каким ты вернулся ко мне. Может быть, наше время делает людей такими. Когда Господь решит обратить к тебе Свое слово, Он сделает так, что ты поймешь Его. То, что я должен сказать тебе, важно для данной минуты. Знай же, что мы не лишены средств. Тебе известно, что у меня к поясу привязан

кожаный кошелек с серебряными монетами. Если потребуется уплатить дорожную десятину, если найдется, где купить съестное, если привяжется нищий, монета наготове; и если из рощи появятся грабители, то и они удовлетворятся этим, как свидетельствует опыт путешественников. Этот кошелек — то, что поможет нам на первый случай. Нам надлежит следить, чтобы он всегда был полон. Ты хорошо понял? Очень хорошо, Рабби Маймон. Но как наполнить его? Мы сидели плечом к плечу, не глядя друг на друга. Над долиной поднималась туманная дымка, ибо жара усиливалась. Ты нетерпелив! сказал отец. Слушай! У меня под мышками привязаны два других кожаных кошелька, а в них золотые монеты. Если обменять одну такую монету в любом городе, ее хватит, чтобы наполнить кошелек серебром. Если случится, что меня не станет или я не буду свободен, ты должен взять эти кошельки и завязать на себе так, как они завязаны на мне, и никому их не показывать, я говорю никому, ибо они непременно возбудят вожделение. Ты следишь за моей речью? Со всем вниманием, Рабби Маймон. Итак, значит, мы богаты? Отец погрузил широко расставленные пальцы в густую бороду. Я чувствовал, что ему тяжело продолжать. Богаты? Ты употребляешь слово, которое лишено смысла. Речь идет о том, что откладывали десять поколений Маймонов в Кордове. И наоборот, у слова "бедный" — ужасный смысл. Еврей бедный — это еврей мертвый. Скажи, что мы не бедны, и в этом будет истина. Но это еще не все. В паузе у меня привязаны два шелковых кошелька с драгоценными камнями. Они различных размеров, но все чистейшей воды и ярчайшего блеска. Одного из этих камней достаточно, чтобы мы могли прожить целый год, а их более сотни. Вот мое решение: когда Давид повзрослеет и станет мужчиной, ты

передашь ему эти камни, дабы он занялся торговлей драгоценностями, и ему вменяется в обязанность давать тебе на жизнь, чтобы ты смог продолжать учиться и писать до тех пор, пока Господь сохранит твои дни. Такова моя воля.

Я был ошеломлен этим открытием. Рабби Маймон, сказал я. Вы правы, что доверились мне. Я ваш старший сын, и ваше доверие принадлежит мне по праву. Вы знаете, что я не употреблю его во зло. Но вы забываете, что Давид исчез. Если он так и не вернется, камни останутся для тебя одного, и ты воспользуешься ими так, как сочтешь справедливым и нужным. Итак, все об этом сказано и хорошо, что сказано. Солнце в зените, настало время подумать о бульоне для Элизе и о похлебке для нас. Пойди, принеси свежей воды из колодца, а я пока разожгу огонь.

Именно в этот момент послышалось пение аллилуйи с другого конца виноградника. В мерцании полуденного жара Давид внезапно вернулся к нам. Он был весь в поту, как ребенок, заснувший после целого дня игр. Он что-то нес в руках и сиял от счастья. Он уходил в Кордову, за тем, чтобы принести лекарства для Элизе. Здесь было все, о чем я говорил: оксимел, семена капусты, истолченные в розовой воде, настой хрена, камфара. Аптекарю-греку Си-Панаке мальчуган сказал, что судья Маймон зайдет заплатить за все в течение дня. Сначала поступок позабавил нас. Никто даже не подумал, что этот долг никогда не будет оплачен. Я тут же почувствовал в себе силы: наконец-то у меня есть чем лечить Элизе по всем правилам! Она умерла следующей ночью, так и не перестав бредить. Мы сделали для нее могилу из камня и накрыли сверху известковыми обломками строений.

Я научился у Ибн Рушда — и на долгие времена — всегда видеть себя одним глазом со стороны, чтобы наблюдать и судить себя. Эта игра зеркал способствовала разнообразию, но на основе постоянства. Отец был несгибаем, как дерево; я противопоставлял ему гибкость тростника. Он всегда был твердо уверен; я барахтался в оттенках и приближениях. Его видение мира не сдвигалось на толщину волоска от образца, изложенного в священных текстах и в толкованиях мудрецов; мое — образовалось на основании действительности нашего века, строящейся на множестве разноречивых идей, из которых ни одна не должна была быть отвергнута просто из принципа, без тщательного предварительного изучения. Отец говорил: Бог добр, и все было сказано. Я думал: поскольку Он — Бог, Он не может быть злым, что совсем не одно и то же. Отец хотел наказать Давида за его тайное бегство в Кордову; я считал, что следовало выказать одобрение, ибо он проявил сердечность, сметливость и решительность — все свойства, достойные похвалы.

Об этом мы почти бесшумно толковали, пользуясь иносказаниями, когда брели при лунном свете по незнакомой местности, в то время как Давид спал, склонившись к шее мула. То, что я думал об атрибутах Бога, или, вернее, то, что я не думал о них, раздражало отца, я же хорошо понимал, что он придерживался мнения, противоположного моему. Бескрайнее андалусское небо, светлое и мерцающее, располагало к таким полетам мысли; к тому же нужно было бодрствовать и быть бдительными, ведь речь шла о нашей безопасности и даже о жизни. Иногда, когда слышался странный шум в кустарнике, у меня леденела кровь и миг казался вечностью, прежде чем я убеждался, что это пробежал какой-то

зверь и не было опасной засады. Когда хищные ночные птицы в своем низком полете почти задевали нас, это было не так страшно, как шорохи чего-то невидимого на земле. Из-за этих таинственных шорохов возникало ощущение, что все враждебные силы были где-то здесь, на уровне нашего дыхания. Кроме этого, местность была пустынна, нигде ни одной горной деревушки, где бы еще теплилась жизнь, даже собаки не лаяли вдали. Уныние пейзажа усугублялось безутешностью нашего состояния духа: ведь мы были беженцами и нашим последним желанием было найти прибежище.

Отец утверждал, что безверие навлекло на нас кару. Он не обвинял меня открыто в причастности к причине его несчастья; он, который обычно высказывался твердо, на этот раз говорил туманно. Я защищался, утверждая, что я не нечестивец. Я только пытался установить разумный подход к Богу, не имеющий ничего общего со слепой верой. Ты, так же, как и я, знаешь, какое место в наше время люди отводят Господу в делах мира. Нет такого соуса, под каким бы Его не подавали. Я же могу Его воспринимать только без соусов, без приправ, неразличимым, не поддающимся никаким характеристикам, даже не эфир, *ничто*. Только как ничто Он может быть всем. Отец называл меня вдохновенным безумцем и гордецом. Я отвечал ему, что если Бог дал мне разум, то это для того, чтобы разумно пользоваться им, а не для того, чтобы растрачивать его на верования, неподвластные никакой логике.

Так проходили наши ночи в пути. При первых проблесках зари мы искали укрытия в рощицах или заброшенных хижинах. Если была вода, отец занимался стиркой и все мы — омовениями. Потом на утреннем солнце сушили белье и себя. Как только мы пересекли границу королевства Гранады, наше положение стало менее опасным.

Нам повезло, и мы встретили караван мулов, который как раз направлялся в Альмерию. Караван возглавлял купец из Марселя. За умеренную плату он разрешил нам присоединиться к его *arrieros*⁷⁹, многие из них были вооружены мечами и саблями и видно было, что пользование оружием не представляет для них труда. Караван вез только кувшины со сладким вином и масло; почти нечего было опасаться ни *bandoleros*⁸⁰, ни одиноких *rateros*⁸¹. Но путь по крутым горным скатам был изнурительным. Марселец негодовал, что караван двигается медленно, бранился на своем варварском языке и сетовал, что все, и люди, и животные, жаждут разорить его. Все его богатство было в караване на спине у мулов, а каждый потерянный в пути час мог повлечь за собой целые дни ожидания в порту. Странно было слушать его, потому что даже в самый разгар криков на его лунообразном лице сохранился застывший оскал улыбки, что приводило к мысли, будто сам он веселится. Однажды вечером на сельском постоялом дворе, где караван остановился на ночлег, марселец принял бродить вокруг нас, глядя как мы все трое взялись за книги. Вы колдуны? спросил он на ломаном испанском. Ученые, ответил отец. Это одно и то же, заключил купец. Устройте мне, чтобы завтра не было грозы и чтобы эта проклятая гора не загородила нам тропу. Одна *bota*⁸² моего вина, цена подходит? Есть ли способ вразумить подобного упрямца? Это была дурацкая сделка: из-за грозы мы застряли почти на весь следующий день между двумя потоками, и марселец заявил по этому поводу, что наука и выеденного яйца не стоит. И так как казалось, что он смеется, нам ничего не оставалось, как тоже рассмеяться, и поэтому он стал кричать еще громче.

Наконец, после того как мы неделю карабкались по камням, перебираясь от ущелья к пропасти и

от тесноты к обвалу, вдруг между деревьями перед нами открылась широкая равнина: море, которое я видел впервые. Узкой извилистой лентой тропа спускалась к этому сверкающему, насколько хватало глаз, одноцветью. Arrieros пели. Марселец ликовал. Наше путешествие заканчивалось, а на мое сердце легла тяжесть, потому что я знал, что мы никуда не приехали.

* * *

Ибн Рушд, казалось, совсем не удивился, увидев меня у своих дверей. Он принял меня просто, как если бы мы расстались вчера. Он был почтителен с моим отцом, приветлив с братом, отдавая каждому то, что он считал должным, с присущим ему безупречным чувством меры. Его дом выглядел слегка обветшалым, но был просторным. Ибн Рушд предоставил в наше распоряжение три комнаты в боковом строении, где мы были совершенно независимы. Хотя в комнатах была только самая необходимая мебель, это пристанище показалось нам вершиной незаслуженной роскоши после тех дней, которые мы провели в дороге. У меня болели руки и ноги, сжимало грудь, но разум ликовал.

Как велика была моя радость чувствовать, что меня вновь покоряет очарование этого несравненного друга, который с таким законченным мастерством устанавливает расстояния между людьми, предметами, событиями, который с такой естественностью и точностью отмеряет утонченность своего поведения и изящество своей речи. Его присутствие облегчило бы даже пребывание в аду. Хотя каждую минуту время шептало мне, что мы — изгнанники, я не представляю себе более приятного изгнания, чем то, что мы пережили у Ибн Рушда. У него был талант забывать и вновь

вспоминать о нас по воле обстоятельств и вкусов каждого. Он всегда был здесь, когда был нужен, и его никогда не было, когда он был не нужен, так что каждый получал свою долю покоя и свою долю свободы, свою долю уединения и свою долю участия. Без сомнения, нужда и лишения порой порождают мужество, и мы нуждались в нем, но ничто не укрепляет мужество лучше, чем такая дружба. Ее можно описать многими эпитетами, кроме одного: она не была тягостной. Она была подобна танцу стрекозы, касанию пуха, дуновению аромата. Она была такой невесомой, как будто и вовсе не существовала, но она все же существовала, и достаточно было одного движения, одного слова Ибн Рушда, и чувства восстанавливались в их истинной мере.

Я не успел оглянуться, как прошел год, и уже второй вслед за ним. Все эти дни вместе в сущности образовывали один, все время возобновляющийся день, похожий на андалусскую песнь, сюровую и печальную. Но даже подобию грусти не было места. Если угроза изгнания всегда удручет, то само состояние изгнанника может привести даже к некоторой эйфории; я наблюдал это у других, и я уверен в этом относительно себя. Существует уже только настоящее, которое нужно познать, и будущее, которое можно предположить; все прожитое в прошлом отброшено далеко, отрезано, как пораженная гангреной нога, о которой, конечно, вспоминаешь, но которая отныне не сковывает и не стесняет. Изгнание неожиданно оборачивается обещаниями и чаяниями свободы. Так было со мной. Я чувствовал себя объятым новым рвением, охваченным ненасытными аппетитами, увлеченным безмерными планами. Пророческое искушение? Почему бы и нет? Нужно было только сметь и дерзать, стать достойным. Мир изобиловал столькими ложными пророками! Может быть, истина с трудом искала уста, способные

высказать ее? Во мне прорастало Слово, но оно было еще только неясным шепотом. Станет ли оно достаточно сильным, чтобы ясно выразить себя? Не мне было решать это; озарение придет ко мне в нужный час, если оно когда-либо придет; я же побуждал себя готовиться к этому из великой любви не к Богу, который забыл Израиль, а к Израилю, который не забыл Бога. Любить его еще больше, потому что его страдания умножились беспредельно, потому что ему грозило исчезновение с лица земли, потому что его сжимали тиски собственных бед и жестокость убийц. Это был тот главный импульс, который побуждает растения, животных, людей и народы к сохранению и выживанию. Может ли Израиль стать исключением из правила? Рассеянный по всему свету, он тем не менее подчинен общему закону. Изгнание было его радостью, странствия — его силой, упорство — залогом выживания. Он не столько нуждался в родине, сколько в том, чтобы быть вместе, для того чтобы вместе вызывать в памяти на языке, на котором никто уже не говорит, древние наивные сказания, полные шума и ярости, поблекшей славы и неисполненных обещаний, — источник его внутренней поэзии. Быть вместе, чтобы вместе надеяться, вместе учить, вместе ссориться, вместе умирать. И прежде всего, говорить друг с другом. Народ утратил эту привычку под давлением событий. Только небольшому числу просвещенных людей была доступна разносторонность Учения. Невозможно было преобразовать народ, следовательно, надлежало преобразовать Учение, чтобы довести его до всеобщего понимания.

Я отряхнул прах с моего платья и очертя голову принял за возложенную на меня изгнанием миссию. Едва мы устроились у Ибн Рушда, как лихорадочная жажда работы охватила меня и уже не покидала в течение целых десяти лет. Задача

была в том, чтобы выразить понятно и точно то, что под пеплом веков превратилось в неясность и путаницу. В моем замысле была самонадеянность. Но с первого же росчерка пера я знал, что достигну цели и доведу работу до конца.

Демон изгнания в той же мере захватил и моего отца. Даже не дождавшись, пока отдохнут его распухшие ноги, он пустился разыскивать остатки еврейской общины Альмерии. Здесь не остракизм, а отрыжка земли разрушила общину. Целая гора сдвинулась с места и затопила все потоком грязи. Выжившие убегали в одной рубашке; мертвых насчитывали сотнями; осталось только что-то около тридцати семей на старой полуразрушенной улочке у подножья скалы.

Приход отца в синагогу, где поредели ряды евреев, стал значительным событием. Великий рабби Маймон, бывший князь Кордовы? Это было большой честью для кучки впавших в отчаяние горемык. Существует количественный порог, за которым община заболевает болезнью пустоты и умирает. Община Альмерии была при смерти. Обездоленные старцы с трясущимися руками чувствовали близость последнего срока и не могли найти в себе сил для рывка. На горизонте маячила угроза преследований, но преследователям пришлось бы удовлетвориться малым или вовсе ничем. На кладбище оставалось как раз достаточно места до наступления Великого прощения. Отец отказался от всего: от почестей и от предложений занять подобающую должность. Еще недавно князь, он опять становился гражданином мира. Его желанием было только молиться в проникнутом теплом единстве, бок о бок с другими. Все же он согласился давать по утрам уроки в иешиве и при случае — консультации о законах, если знатоки Торы Альмерии окажутся в затруднении.

Кроме того, у него было много дел, и это не

было пустой отговоркой. Назавтра же после прибытия Давида отдали в учение к армянину — шлифовщику драгоценных камней, единственному, кто согласился взять на себя обучение моего брата ремеслу. Я взял на себя его интеллектуальное обучение и духовное воспитание. Исполнив все необходимое, отец погрузился в работу. За несколько дней он сочинил и переписал начисто свое *Послание к общинам*, а мы, Давид и я, сделали с него множество копий. По утрам я искал в порту отплывающие корабли и отправлял его обращение во все общины, расположенные вдоль африканского побережья, а также в Сирию, Грецию, Италию и Прованс.

Это был акт величайшего политического значения. Отец призывал к сопротивлению притеснениям. Идея не была нова, но тон был новым: прямой, резкий, пророческий. Этот документ существует и еще долго будет существовать во многих библиотеках; поэтому я буду говорить не о букве, а скорее о духе его. Послание начиналось с двух параллельных, великолепно уравновешенных, антитетических⁸³ предложений, усиливающих друг друга: Израиль утратил свою землю; Израиль не утратил надежду. Беря будущее в залог, отец стремительно двигался вперед. Надежда была при смерти, как община Альмерии. Когда беда идет по свету, по ее следам идет когорта прорицателей, и каждый из них объявляет себя ясновидцем, которого вдохновил сам Господь. В ту эпоху в возбужденном сознании людей яростно противостояли два течения. Первое призывало к мученичеству и к искупительному самопожертвованию: Господь верит только тем, кто дает убить себя. Не вступайте в сделку с совестью! Самое безобидное соглашение — уже предательство! Подставляйте свое горло! Меч, поразивший вас, принесет вам блаженство! Второе — проповедовало полное отречение. Не будьте

упрямыми глупцами! Времена славы миновали навсегда! Хотя Бог и находится в небесах, Он, тем не менее, верховный царь, а всем царям свойственно сменять министров по своей прихоти, не ища оправданий. Моисей безвозвратно впал в немилость. Распятый и Погонщик верблюдов⁸⁴ отныне – единственно надежные силы. Примкните к одному или к другому, спасайте победу, выйдите наконец из состояния летаргии, которое на пользу только заблуждениям!

Строчка за строчкой, одну за другой отец разбивал эти ереси. Он признавал, что положение Израиля весьма ненадежно. Его поле становится все уже, зажатое между двумя могущественными силами, и в этом таится опасность. Казалось бы, остается единственная возможность выбора – исчезновение, ценой мученичества или отречения, но исчезновение было якобы константой. Эта дилемма была явно противоестественна. Что такое народ? ставил вопрос отец. Это – множество людей, черпающих из одного хранилища языка и культуры, без всяких усилий подчиняющихся совокупности единых традиций, имеющих общую историю и совпадающее будущее. Вопреки рассеянию, Израиль остается единым народом; вопреки всем бедствиям, его жизнеспособность не исчезла; вопреки враждебности, которую он вызывает, его право на существование остается незыблемым. Разве народу необходимо заявлять, что он лучше и выше других, для того чтобы самоутвердиться? Этот аргумент имеет ценность только в устах демагогов. До тех пор пока народ находит в себе жизненные силы, он не должен речами доказывать необходимость своего выживания, ему достаточно отстаивать свое право. Стоит опять обратиться к сущности параболы о живой собаке и мертвом льве. Вся земля заселена существами, которые должны бороться за жизнь, у каждого свои способы защиты. В этом мироздании, где властвует

насилие, мы очень дорожим миром, но и мы не безоружны. Что делает рыба скат в воде, на глубине, чтобы оставаться скатом? Она приобретает цвет песка. Господь дал людям разум и чудесную способность приспособливаться к обстоятельствам. Пренебрегать тем, что мы особые существа, представители особого народа — вне оценок качеств, не лучше и не хуже других, но особый народ, жизнь которого продолжается, — было бы оскорблением природы. Позволить без сопротивления лишить нас нашей сущности — значило бы согрешить против естественного порядка вещей. При нынешнем положении спасение в притворстве. Не мы хотим этого, выбор навязан нам. Те, кто сегодня кусают нас, будут беззубыми завтра. Пропитаем себя заранее таким бальзамом, который отведет от нас вожделения. Гасящий светильник, выходящий на улицу, может сохранить свет в своем доме. Не храбости желаю я вам, храбрость — добродетель глупцов; я желаю вам проницательности, скрытности, хитрости — того, что в нашем случае является высокой добродетелью. И тогда Израиль будет жить.

Связь между общинами осуществлялась медленно, и потому мы долгое время были в неведении, каково действие этого послания. Спокойная уверенность отца иногда раздражала меня. Он не задавал себе вопросов; он сделал то, что считал нужным, и в остальном полагался на Провидение. Давид и я, мы переписывали экземпляр за экземпляром, и это требовало много времени, много прилежания, и меня не отпускало опасение, что все это впустую. Мы запускали воздушных змеев и иногда они улетали так далеко, что мы не могли их найти. Мне же нужно было продолжать другие важные дела. Давид приходил изнуренный после целого дня работы; глаза его слипались, а нужно было еще часами водить пером. Мелкими скользящими шагами,

туго затянутый в кафтан, выпрямив спину, отец кружил вокруг нас, как рысь вокруг добычи. Он не признавал ни исправлений, ни помарок. Каждая страница должна была быть совершенством, безупречно разлинована и обрамлена, соблазнительна для взгляда и прельстительна для разума.

Прошли недели, месяцы. Сколько раз мы писали те же фразы, тот же текст, имевший не менее тридцати страниц? Мне приходилось еще пробираться на корабли, уговаривать моряков согласиться передать послание, платить им. И вдруг — первый отклик, а сразу же за ним множество других: из Сеуты, Сирены, Александрии, Сиракуз, Антиохии, Марселя. Прибывали отклики со всех берегов Великого внутреннего моря и из более дальних краев, из страны берберов и из стран европейского континента. Послание рабби Маймона превратилось в факел объединения, в кredo сопротивления. Единственный из нас, кто не был этим взволнован, был мой отец. Я знал, сказал он. Иначе и не могло быть. По существу, я писал это письмо самому себе. Оно было ответом на мою тревогу и тоску. Оно вернуло мне спокойствие.

Было бы безумием утверждать, что отец спас еврейские общины от неминуемого исчезновения. Безусловно, и ранее во многих сердцах хранилось зерно сопротивления в скрытом состоянии. Нужны были только несколько капель росы, чтобы помочь зерну прорости, и этой росой стали слезы, вызванные посланием моего отца. То, что в мире нашелся человек, с такой удивительной остротой чувствовавший единство своего расколотшегося народа, и что он сумел выбрать слова, способные оживить чаяния, задавленные страхом, отвращением, усталостью, было в каком-то смысле чудом и было самой простой реальностью. Поскольку существовали уши, готовые слушать, нашелся голос, намеренный говорить. Сразу же наступило

полное согласие слова сказанного и слова воспринятого. Отец нисколько не кичился этим; он был удовлетворен, только и всего. Ему нужно было писать много ответов на поступающие потоком письма. Несколько стариков из общины Альмерии предложили себя в добровольные переписчики. Отец согласился взять двоих из них, и они приходили и работали с ним целые дни. Менее чем через год его полупустая и неуютная комната стала первым центром широкой сети переписки. Если бы мы остались в Альмерии, отец вновь обрел бы положение, которое он занимал в Кордове, и, возможно, даже неизмеримо более авторитетное во всем еврейском мире. Но у него были другие планы, и он сказал мне о них только тогда, когда решение было принято.

Я, таким образом, освободился от обязанностей писца и смог с еще большей полнотой отдаваться учению и толкованию Мишны. Часто к концу дня я приходил к Ибн Рушду в его рабочую комнату. Он продолжал неутомимо работать над своим комментарием к Аристотелю, иногда читал мне отрывки оттуда, и мы вместе обсуждали их. Когда позволяла погода, мы совершали долгие прогулки по берегу и по горным тропинкам, нависающим над морем. Теперь мы уже не говорили: *после второго салата*, потому что Ибн Рушд пренебрегал обрядом молитвы. Он оказался в тупике неустранимого противоречия между философией перипатетизма и догмами Корана, главным образом связанными с понятием сотворения мира.

То, что Бог создал мир из небытия, непостижимо для человеческого разума, ибо никакая вещь не может родиться из ничего, так же как никакое количество не может содержаться в понятии ни один, разве только лишить понятия ничего и ни один из основного значения. Если Бог создал мир из своей собственной субстанции, то

это обязательно предполагает, что субстанция предшествовала желанию сотворить мир, что ставит под вопрос пресуществование Бога-творца. Прежде чем занять какую-либо теологическую или филосовскую позицию, необходимо было решить эту проблему, а она была неразрешима, или точнее: решение было возможно, но оно было ересью.

В этом плане самым соблазнительным для логики был тезис Аристотеля, который постулировал вечность материи и движения при наличии посредника, создателя форм, при этом формы возникали как переходные акциденции⁸⁵, порождаемые и тленные, в вечности неизменной, непорождаемой и нетленной. Но возможны были и другие гипотезы, греческий гений сформулировал множество их. Например, о развивающемся континууме, в котором для Бога не было ни места, ни разумного основания, а с того момента, как мнение возможно, его нельзя отбросить и считать нереальным для мысли. Единственная достоверность, которую обрел он, Ибн Рушд, — это, что предложения, сформулированные в виде догм, — невозможны. В трех великих религиях, говорил он, произошедших из общего ствола примитивного монотеизма, откровение выходит на данные невозможные, и из-за этого они лишены вероятности.

Я возражал, ибо у нас уже бывали разногласия на тему о том, что не следует понимать откровение буквально и что уместно воспринимать его как чистую аллегорию. Значит ли это, что метафизическая истина не может быть высказана? Ни в коем случае. Пророк был достаточно мудр, чтобы не сформулировать ее лишь бы как и лишь бы для кого и чтобы установить ступени в посвящении в тайну. Я сравнил это с кем-то, кто кормил бы младенца пшеничным хлебом и мясом и поил бы вином; он несомненно погубил бы его, не потому что сами по себе эти продукты плохи и противо-

показаны природе человека, а потому что тот, кто поглощал бы их, был не в состоянии переварить и извлечь из них пользу. Подобно этому, откровение могло быть изложено только в замаскированной, аллегорической форме, не языком взрослых, достигших высокого уровня знаний и мудрости, а языком детей, которые постигают учение в самом нежном возрасте. Поэтому слово укрыто, чтобы слабые умы не были ослеплены и чтобы совершенный человек, способный проникнуть в тайну, открывал его ясность.

Иbn Рушд, казалось, был раздражен моими доводами. Это значит, сказал он, принимать детей и простых людей за слабоумных. Но для Аллаха они не слабоумные. Истина не должна создавать намеренные трудности. Ей достаточно быть истиной. Мне ни к чему эта лживая ловушка, единственное назначение которой – добиться доверия невежд. Откровение либо есть, либо его нет. Чтобы подняться по ступеням посвящения в тайну, я рассчитываю только на чистую силу разума.

Спор не создавал между мной и Иbn Рушдом стены; разногласия не отдаляли нас друг от друга; напротив, они еще больше сближали нас.

Он рассказал мне о причине своего поспешного бегства из Кордовы. В университете из рук в руки переходил скверный пасквиль. Назывался он "Три обманщика" (или "Три обмана") и содержание его жестоко потрясало три основные религии. Дом Иехуды назывался там "приютом худосочных старцев", дом Христа – "свалкой кровожадных безумцев", дом Мухаммада – "свинярником". Памфлет особенно высмеивал последователей Распятого: они едят плоть своего Господа, после чего, естественно, она выходит с фекалиями, что отвратительно и противно здравому смыслу. Безумие их доходит до того, что они приписывают Богу связь с женщиной и, что еще хуже, с девственницей, обещанной ничего не

ведающему труженику; они заявляют, что она родила от Бога сына, от Бога, который никем не порожден и не может породить, что Бог допустил, чтобы этот сын, существование которого невозможно, погиб позорной смертью якобы для искупления греховности людской, как если бы греховность была товаром и ее можно было бы продать и купить. Но и иудаизму доставалось за его устаревшую и смешную аффектацию, за его упрямую непреклонность и ворчливую супровость. Ислам подвергался осмеянию за поощрение чувственных излишеств, за культ ничтожного и неуправляемую жестокость. Пасквиль заканчивался вопросом: с тех пор как эти три обмана распространились в мире, стало ли солнце чуть горячее, луна чуть светлее, хлеб чуть менее горек? Уменьшилась ли несправедливость хоть на вес атома? Выросла ли добродетель хоть на толщину волоска? Милость Господа увеличилась ли хоть на глубину птичьего вздоха? И напротив, сколько человеческих жизней было принесено в жертву соперничеству этих обманов? Кто может перечесть все ужасы, возникшие как результат этих обманов?

И вот случилось, что в коридорах и садах университета стали распространяться недоброжелательные слухи о том, что якобы он, Ибн Рушд, мог быть автором этой стряпни, которую никто не отказывался читать, а наоборот, все старались достать. Некоторые намекали, что они-де узнали его стиль. И все это в такой момент, когда ни у кого в Кордове не было сомнений, что грядет неминуемый взрыв преследований со стороны альмохадов. Самая простая осторожность требовала бегства. Ибн Рушд только написал несколько писем и немедленно вскочил в седло. Какая низость! воскликнул я. Следовало бы свернуть шею этим сплетникам. Ибн Рушд искоса посмотрел на меня. Не правда ли? сказал он. Тем более, что я и в самом деле автор этого памфлета. Нужно

признать, что я тогда слегка выпил, но вино только придало ясность моей мысли, как это было с пророком, сказал он. Бутылка хорошего вина, и я готов начать сначала. Я не отрекаюсь ни от одного слова этого сочинения. Досадно то, брат мой, сказал он, что читающих это только забавляет, а те, кто признают, что есть в этом доля правды, стараются сразу же забыть все. Да, прошлое ужасно, и настоящее зачастую ужасно, но будущее обещает быть великолепным! Что же нужно людям, чтобы исцелиться от этого нарява? Истинная вера, сказал я. Он снова бросил на меня косой взгляд. Может быть, ты прав, сказал он. Но у кого она есть?

Однажды вечером он объявил мне, что должен ехать в Сарагосу, а оттуда в Севилью и там жениться. Он предвидел долгое отсутствие, полгода, возможно год. Само собой разумеется, мы можем жить в его доме до тех пор, пока станет возможным наше возвращение в Кордову.

Я до зари вышел из дома пожелать ему доброго пути. Легко и прямо держась на скакуне, он приложил к губам свои длинные тонкие пальцы. Мир с тобой, брат мой. Таким он запомнился мне навсегда, ибо я видел его тогда в последний раз. Несколько месяцев тому назад мне стало известно, что он скончался в возрасте семидесяти двух лет в Марракеше, где он жил в немилости и под надзором. Его останки перевезены в Кордову, где и покоятся отныне. Но вокруг меня стоят все его книги: его медицинские трактаты, философские произведения, его великий комментарий, и достаточно мне открыть первую попавшую под руку книгу, как я слышу его спокойный и слегка надменный голос. Мир с тобой, брат! Мир тебе, Ибн Рушд.

Уехать? Оставаться? Не проходило дня, когда бы эта дилемма не обсуждалась нами, часа, когда бы она не возникала в уме по какому-нибудь поводу. Вопреки здравому смыслу, оторваться от Альмерии казалось мне более страшным и полным угроз, чем в свое время бежать из Кордовы. Не то чтобы у нас была иллюзия, будто эта временная остановка дает нам безопасность. Был сделан один шаг, и за ним не ощущалось никаких границ. Перед нами головокружительно зиял мир, безмятежный и алчный. Я не ожидал от него ничего, что вызывало бы мое любопытство. Мне нужен был только тихий уголок, где позволено было бы отдаваться науке. Меня прельщал только такой выбор. Приближение к вещам и людям могло повлечь за собой рассеянность и бесплодие мысли. То, что было соблазнительным в общении, терялось в суете, ибо она неотделима от людей. Насколько более надежны книги, насколько более послушны перо и бумага!

Без сомнения, с отъездом Ибн Рушда Альмерия лишилась притягательности. Посредственность города и его обитателей, узость их мышления, почти всегда направленного только на материальную сторону существования, не были прельстительны для меня и не могли удержать. Но в других местах, как будет там? На пути изгнания нигде не предусмотрен покой. Остаться? Уехать? Не нужно было быть мудрым стратегом, чтобы предвидеть: дальнейший натиск альмохадов будет направлен вдоль побережья, и мы рискуем опять попасть к ним в руки. Завоеватель существует только благодаря победам, и Аль-Мансур сначала займется теми из них, которые будут ему меньше стоить. На севере кастильцы с яростной решимостью перегородили путь в Испанию. Королевство Гранады, мощное и хорошо укрепленное, вызывало

уважение и не располагало к авантюрам. Маленькая провинция Альмерия, можно сказать, сама предлагаала себя аппетитам новых владельцев Андалусии. Аль-Мансур бы бы жалким воякой и наивным глупцом, если бы не воспользовался ситуацией, но ничто не заставляло предполагать, что он таков. Что было более разумным: воспользоваться передышкой или предупредить события? Я был раздражен и растерян, тем более, что нельзя было ни разрешить проблему, ни уклониться от нее путем размышлений, и мысли о ней мешали моей работе.

Напротив, Давид, который все больше и больше пользовался правом сказать свое слово, был возбужден планами перемены мест. Он наяву грезил об играх в чехарду с морями и континентами. Необозримая даль горизонтов не пугала его. В часы, когда он мог освободиться от работы, он бродил по улочкам порта и подходил к группам моряков, бездельничающих в ожидании отплытия. Всегда находился какой-нибудь старый увечный морской волк, стоявший прислонясь к парапету набережной или к стене таверны и вдохновенно повествующий о необыкновенных путешествиях. Мой маленький брат иногда часами слушал эти рассказы, не умев отделить правду от вымысла. Если при этом еще у моряка была облезлая обезьянка или яркой расцветки попугай, это придавало рассказу больше достоверности, а Давиду — лихорадочного нетерпения и тоски по дальним странам. Армянин — шлифовщик камней тоже был кладезем историй о пышности Востока и великолепии Индии, где бриллианты и пряности возникали прямо из пыли, если не падали дождем с неба. Малыш глотал эти басни с такой жадной наивностью, что мне пришлось все же предостеречь его: на мягкую глину его восприятия ложится слишком много серебра. Тем не менее, он верил в то, во что желал верить, а меня стал подозревать

в том, что я хотел лишить его удовольствия. Для него мир был полон далеких чудес и зачарованного великолепия. Уехать? Он, Давид, был готов в любую минуту. Он стал угремым, потому что мы медлили и не принимали решения. Я благоразумно вырвал у него торжественную клятву, что он не уедет один.

Да, в какой-то день мы будем вынуждены покинуть Альмерию. Надежда вернуться в Кордову все убывала. Там по-прежнему рубили головы, вешали или сажали на кол не подчинившихся новому порядку. Вдова Йоада вышла замуж за истинно-новообращенного; она носила чадру; ее мальчики зубрили Коран. К чему цепляться за иллюзии? Время, когда можно было, несмотря ни на что, жить счастливо, миновало. Распалось само воспоминание о нем. Баб-эль-яуд⁸⁶ отныне занял место нашей иудерии, и она никогда больше не воскреснет. Нужно покинуть страну, на которую обрушился гнев Господа, говорил отец. Он подразумевал под этим, что Андалусия окончательно отвергла нас как отбросы. Подобное осуждение было слишком несправедливо, чтобы принять его без суда по существу и без апелляции к истории, но нам были доступны только тайные действия. Ни одна власть в мире не была заинтересована в нашем выживании, и если Бог вдохновлял нас, то это была мимолетная благость. Каждый из нас сохранял еще внутренние силы, но как уже давала себя чувствовать усталость!

Когда мы уедем отсюда? спрашивал Давид; ему не терпелось умчаться вслед за своими химерами. Вопрос был из тех, которые не требуют ответа. Мне тоже случалось грезить о нашем погибшем университете, о нашей обращенной в пепел библиотеке, о поруганной и осмеянной доверчивости. Разрушение, произведенное грубой силой, было непоправимо; и все же сколько было у нас тайных порывов ворошить прах

несуществующего! Решительно, преклонение перед ирреальностью становилось нашим семейным пророком: оно подчинило себе и меня, и Давида. А что если Кордова признает свою вину, раскается и позовет своих верных подданных, а мы будем слишком далеко и не услышим ее зова? Конечно, никто не может быть незаменим, но следовало ли заранее отказываться от добровольного возвращения? Если поразмыслиТЬ здраво, у брата осознание действительности было более ясным, чем у меня, ибо наши глаза должны всегда смотреть вперед, а не назад. Удержится ли власть фанатиков или нет, расцветет ли Кордова вновь, укрепив свои корни, как растоптанная виноградная лоза, или нет, с этой стороны не было выхода, ибо время не возвращается вспять и река не течет к своему началу. Пропасть, полная затаенной злобы и тупости, отделяла мои пустые мечты от реальности.

Единственный из нас троих, кто не позволял мечтам вводить себя в заблуждение, был отец. Ежедневный труд держал его в рамках, и он смотрел в лицо происходящему. В какой-то мере он воплощал в себе тот дух сопротивления, который сам распространял в подавленных еврейских общинах, хотя, может быть, в свое время и не предвидел этого по-настоящему. Получаемые им свидетельства одобрения концентрировались в нем, как солнечное тепло в отшлифованном кристалле, он чувствовал себя с каждым днем все более сильным и крепким, и с каждым днем он был все более тверд в своей решимости, потому что у него был замысел. Остаться? Уехать? В его сознании эта дилемма не была противопоставлением абстрактных идей, он строго отбирал реальные возможности. Ничего не принимать, пока ситуация не созрела; действовать быстро, когда настанет момент. Он хранил молчание о своих намерениях, иногда ворчал, иногда вздыхал, как если бы его решение не было определено,

как если бы он был безучастен и равнодушен, но нас это не могло обмануть, он не расслаблялся, не терял своей твердости ни внутренне, ни внешне. Более чем всегда походил он на ствол оливы, черпающий силу в своих корнях.

Для меня почти не было сюрпризом, когда однажды в зимний вечер, во время нашей трапезы — мы, как обычно, ели бобовую похлебку — рабби Маймон вдруг задержал руку на весу и объявил, что должен поговорить с нами. Это было сказано таким тоном, что мы оба, и брат, и я, перестали есть. То, что отец сообщил нам, было одновременно просто и незаурядно. Мы должны готовиться покинуть Альмерию и полуостров в наиболее короткий срок и, вероятно, навсегда. Нет, нас не ждет какое-то чудесное более безопасное убежище и более легкая жизнь. Мы бросаемся в волчью пасть, в Фес в Магрибе, в источник всех наших нынешних бед, в гнездо священной войны за распространение мусульманства. Отца ждут там. Его заверили, что халиф альмохадов примет его и он сможет выступить в защиту еврейских общин Африки и Испании, подчиненных этому властелину.

В противоположность своим военачальникам, халиф Абд-эль-Мумен слыл человеком, сведущим в литературе и открытым доводам разума. Возможность диалога была соблазнительна и надежда не казалась несбыточной, поскольку халиф выказал свою заинтересованность. Таковы были полученные сведения. Отец же своими устами выражал чаяния тысяч людей, принесенные ему десятками писем. Он не собирался молить о милости Божьей; он не намеревался исправлять ошибки людского правосудия; он видел свою цель в том, чтобы добиться признания права народа Израиля жить по своим собственным законам в любом месте, в ожидании, пока он сможет жить на земле своих предков. Итак, настало время. Мы погрузимся на

каботажное судно, как только оно будет готово поднять якорь, то есть в следующем месяце, и оно доставит нас в Сеуту.

Помнишь ли ты диспут, о котором я упоминал в начале этого повествования? У отца завязалась там славная дружба с молодым вдохновенным философом Ибн Туфайлем⁸⁷, и с тех пор они вели регулярную переписку. Эта симпатия была тем более удивительна, что отец обычно запрещал себе такого рода отношения, не из принципа, но за отсутствием времени и склонности к этому. Кроме еврейской религиозной философии, умозрительные построения не были его сильной стороной; и, кроме области, которая была ему близка, сердечные порывы не были его слабой стороной. Что же особенное связало этих двух людей, если не привязанность, которую нельзя объяснить иначе, как знак судьбы?

За прошедшее время Ибн Туфайль приобрел известность и вес, а с приходом к власти альмохадов на него были возложены высокие обязанности наперсника и личного врача халифа. Отец попросил его быть посредником, он охотно согласился и, как свидетельствовало его последнее послание, не без успеха. Однако он рекомендовал нам принять арабские имена, чтобы скрыть от простых людей, кто мы. Эта обманная уловка не пришлась отцу по вкусу; тем не менее, он подчинился. Когда мы поднимемся на корабль, мы будем называться фамилией Абд-Алла, и каждый возьмет мусульманский вариант своего имени: Амрам, Муса и Дауд, люди из Андалусии. Аллилуйя! воскликнул Давид, с полным ртом бобовой похлебки. Мы уходим! Аллилуйя! И он принялся танцевать вокруг стола, так велика была его радость.

Отец поручил мне продать наших мулов, и это оказалось для меня почти трагедией, потому что ни один барышник не хотел купить их. Животные

были слишком усталые, слишком плохо ухоженные и не могли соблазнить покупателей. В отчаянии, я отвел их в горы на пастбище в полудне ходьбы от города. Назавтра они вернулись к нашему дому. Мне пришлось решиться уступить их испанцу-колбаснику. Альмерия будет есть колбасу из наших молов в память о нас.

Три года тому назад семья Маймон, бежав из Кордовы, прибыла в Альмерию с двумя корзинами и четырьмя мешками, привычными к седлам. Холодным зимним утром семья Абд-Алла поднялась на борт каботажного судна с девятью ящиками книг и рукописей. Мы видели, как удаляется берег, но он не исчез из виду. До самого пролива корабль, груженный сталью из Толедо, плыл в виду берегов земли, в течение нескольких веков бывшей нашей второй родиной. Плакал ли я? Теперь я уже не помню. Заканчивалась одна глава нашей истории. Начиналась другая.

* * *

Котел, в котором варились и кипело самое необычное людское варево, — таким показался мне город Фес-святой с его прочными городскими стенами цвета охры и причудливой смесью новых и ветхих строений, попадавшихся на каждом шагу, город, бурлящий величественной суетой. Впрочем, котел здесь самый распространенный символ. Котлы расставлены горками, подвешены гроздьями, разбросаны как попало прямо на земле. Тут же на узких улочках тесно соседствуют ряды мастерских, где в непрерывном стоне, шуме и грохоте металла выходят котлы из-под молота медника, и он, громко крича, предлагает их купцам за смехотворную цену, которую полагается еще сбить наполовину. Этот концерт меди и железа — само биение сердца города на фоне

ровного или иногда прерывистого однообразного гула.

Странный народ этого города, кажется, и существует только шумом, который он производит и потребляет, может быть, чтобы защитить себя от молчания пустыни, несомого ветром. Границы пустыни зацепляют окрестности города. Когда путешественник прибывает с побережья, его глаза, уши, ноздри забиты песком, и только пройдя Андалусские ворота, он видит и слышит, что прибыл в город. В узком пестром проходе, крытом камышом, встречаешь водоноса с бурдюком из козьей шкуры, полным прохладной питьевой воды, со звенящими, как бубенцы, кубками и резким колокольчиком. Водонос воплощает собой второй символ города, возникшего вблизи извилистого вади⁸⁸, имя которого город и взял. Как приятную текущую ласку, путешественник пьет Фес-святой, даже не подозревая, что и город выпивает его. Еще один шаг, и он исчезает, он уже только составная часть толпы, он растворяется в общем теле, поглощается общей душой. Я сказал, что пустыня стоит у ворот. Это не совсем верно. Она поднимается высоко в небо, видимая отовсюду на розовом камне священной горы, расстилающей свою тень с наступлением вечера надо всем, что кишит здесь.

В такой час мы прибыли в Фес вместе с караваном, приплывшим с нашим кораблем. Поскольку каждая корпорация купцов имела свой постоянный двор, мы провели первую ночь в фундуке⁸⁹ торговцев железом, среди непрестанного движения вьючных животных и носильщиков, в шуме монотонного гортанного пения и диких споров, и все это мешало курам спать, и они, вскарабкавшись на тюки, громко и ритмично кудахтали, выражая свое отчаяние. Запах пота, мочи и навоза был такой сильный, что даже производил благотворное усыпляющее действие.

На заре отец один ушел на разведку. Он вернулся только к концу дня, и за ним плелись два мавританца и женщина из племени шлё⁹⁰. Все трое были рабами, подаренными нам Ибн Туфайлем в знак благополучного прибытия. У нас уже был дом на холмах Фас-аль-Бали, построенный из добротного камня, с широким и высоким фасадом; он стоял спиной к кладбищу, и из него открывался вид на рынок; вокруг было расчищено место от хижин и глинобитных построек.

Отец был доволен. Он все время держал в памяти, что в какой-то мере он — посланник, хотя и взял на себя эту обязанность по своей воле. Не следовало пренебрегать показной стороной нашего образа жизни, ибо от этой стороны зависела немалая часть успеха его миссии. Было бы большой оплошностью вести в Фесе почти библейскую жизнь, как мы это делали в Кордове; было бы вызовом вести жизнь, полную лишений, как это было в Альмерии. Здесь главное было — производить впечатление. Дом, с его двенадцатью застекленными окнами на фасаде был слишком велик нам для жилья, но он как раз отвечал замыслам отца.

Знай, сказал мне отец, тебя затолкают на улице и даже затопчут в случае, если на тебе будет несвежая рубаха; толпа с уважением расступится перед тобой, если на тебе дорогой бурнус. Не будем говорить о поведении людей, это значило бы обобщать; обратимся к философии, царящей в сознании. Этот народ — самый велико-душный на земле, при условии, что ты ни в чем не нуждаешься. Тебе не скучая дадут только то, что ты сам можешь добыть. Если нет границ твоему состоянию, тебя будут беспредельно почитать. Если ты беден и слаб, тебя оберут до нитки. Если ты попрошайка, тебя с презрением отбросят с дороги. Выбери свое место и заставь всех признать его — словом, стилем, силой, если

нужно, и сумей умереть так, как они умеют умирать, с мужеством и презрением. Дом, который будет нашим, был жилищем рабби Иехуды Бен-Шошана. Менее чем год тому назад его публично на площади посадили на кол за отступничество. Слуга застал его в таллите, а тому, кто донесет об отступничестве, платят тридцать пиастров. Не доверяй никому, запирай свои тайны, выставляй напоказ то, чего у тебя нет, и прячь то, что принадлежит тебе. Твой лучший друг может поддаться искушению продать тебя в угоду судье и ради своего удовольствия. Будь любезен со служащими тебе и избегай сближения с ними, они будут глумиться над тобой, если ты станешь вести себя по-иному; будь сдержан с равными, требователен и суров к тем, кто ниже тебя. Овладевай, не стыдясь, тем, что положено тебе, или тем, что, по-твоему, должно быть положено тебе, это нравственно. Никогда не отказывайся от добытого преимущества, это станет твоей гибелью, потому что того, кто начал отступать, заставят идти от отступления к отступлению до полного падения. Если ты испытываешь страх или если перед тобой что-либо превосходящее твои возможности, соверши насилие над собой, а при необходимости и над другим, это единственный путь к спасению. И еще о нашем жилище: ни один вельможа не захотел поселиться в нем, потому что по слухам дух замученного посещает дом. Плата за дом была скромной. Я заплатил вдвое, в то время как без труда мог заплатить половину. Это сразу станет известно в округе. Нас сочтут безрассудными. Безрассудство настороживает. А то, что настороживает, достойно уважения. От нас будут держаться на расстоянии также из-за привидения, потому что заподозрят нас в связи с потусторонними силами и во владении магией, а это прекрасный щит, способный охранить нашу личную жизнь. Никто не вздумает сунуть

нос в наши дела. Не этого ли мы и ищем? Что касается меня, я счел бы для себя честью, если бы душа рабби Бен-Шошана соизволила посетить нас ночью. Это был большой мудрец и ученый. Я его хорошо знал.

Поскольку нас обслуживали двое мужчин и одна женщина, устройство на новом месте не заняло много времени. Отец не приучил меня к расточительству; сам он стал теперь расточительным столь же естественно, сколь ранее был безразличен к этой стороне жизни. Он продал один из самых прекрасных изумрудов, чтобы обставить дом и одеть всех нас с большой пышностью. По этому случаю Давид поступил учеником к тому золотых дел мастеру, который купил изумруд, и отец дал мастеру понять, что у него есть еще и другие камни, столь же прекрасные. Это был сириец, угодливый и чрезвычайно богатый, очень высоко ценимый на суке⁹¹, ведущий дела с купцами вокруг всего Великого внутреннего моря как в мусульманских, так и в христианских странах. Он утверждал, что Комнины⁹² из Византии, а также папа римский были его покупателями. Отец потребовал, и Давид получил более чем приличную оплату, что покрывало почти все наши расходы на питание. В Фесе-святом существует обычай, которому уделяют много внимания. Это *диффа*⁹³ — церемониальная трапеза или, точнее, церемония трапезы. Здесь люди достаточно обеспеченные любят получать наслаждение от еды. Пища там обильная, разнообразная, умеренной цены, и ее умеют сделать приятной на вкус. Хотя бы только из-за присутствия слуг, мы не могли, не подвергая себя риску, не следовать принятому обычаю. О доме там судят по содержимому корзин, которые приносит служанка. Нам пришлось сразу приступить к физическим упражнениям и заставлять себя совершать долгие прогулки в горы, дабы предотвратить накопление в организме избытка жидкости.

стей. Первым погрузнел отец; затем наступила моя очередь; и даже Давид, который уже становился мужчиной, начал полнеть. Однако по этому поводу мы не тревожились: без всякого сомнения впереди, на одном из жизненных поворотов нас ожидали годы тоящих коров⁹⁴.

Друг мой, я чувствую, ты нервничаешь, читая творение моего пера. Не правда ли, у тебя ощущение, будто бы я стараюсь погрузить рыбу в воду, вместо того чтобы вытащить ее и показать, щука это или уж? Поверь мне, я не отдаляюсь от главного, ибо что же главное при новизне положения, если не будничное? Или так называемая "миссия" отца? Его визит во дворец? Политическое значение этого демарша? Терпение! Нам тоже пришлось надолго запастись им, такова была сила обстоятельств. В мусульманской стране простота обязательна согласно обычаям, но простота совсем не проста. Попробуй, проследи пальцем за рисунком арабески на стене, и ты поймешь пытку прямой линии. Могло показаться безумием со стороны такого человека, как мой отец, броситься, очертя голову, в логово наших преследователей без твердого ручательства, что нас не уничтожат. Был только сомнительный план и неопределенные обещания. И все же сколько мудрости есть иногда в безумии! Сколько разума в неразумности! Несмотря ни на что, отец был носителем духа сопротивления и самосохранения нашего чарода в любом месте, где бы он ни находился, даже если он один верил в это и говорил это. Его всегда воодушевляло то представление о своем народе, которое он создал для себя.

Что же касается аудиенции, то согласие на нее было доведено до нашего сведения, слово было дано и получено, что многого стоит в мире, где слово — властелин. В остальном только у Аллаха была власть решать, состоится назначенная встреча или нет, а Аллах медлил и не принимал решения.

Кто может быть настолько неосмотрителен, чтобы пытаться направлять нормальный ход судьбы? Когда мы прибыли в Фес-святой, халиф только что уехал в Марракеш, где в зимние месяцы климат для него был более благоприятен. Долгой жизни Абд-эль-Мумену, его будущий преемник Абу-Якуб томился в тени и жаждал власти, а ведь он ничего нам не обещал! Халиф вернулся только в пору расцвета первых роз. Едва он успел войти в свою столицу, как Провидение послало ему несколько раз скопление газов в кишечнике, что весьма обеспокоило его врача, и эти приступы закончились только в пору цветения выюнков. Поскольку урчания в животе задержали его седьмое каллиграфическое переписывание Корана, он погрузился на некоторое время в это занятие, и было бы святотатством отвлечь его. В пору созревания фруктов его мучило дупло в зубе; потом летучие боли в суставах охватили всю его царственную особу; потом период поэтической меланхолии доставил много страданий автору и разрешился появлением на свет гимна красоте; потом случилась у него некая леность полового возбуждения, что привело в движение целые полчища эмиссаров, бросившихся на поиски новых наложниц; и вот уже созрел виноград. Аль-Мансур осадил и взял Альмерию, и при дворе были устроены празднества, после чего у халифа долгое время был запор, и между тем поредели кроны лиственных деревьев.

Долгой же жизни халифу! В то время как судьба с разных сторон наносила ему уколы, чем могли мы наилучшим образом заполнить дни, которые подарило нам ожидание? Мы часто встречались с Ибн Туфайлем. Он как вихрь прилетал на стройной жемчужного цвета кобылице, приносил свежие новости о здоровье своего прославленного пациента и выражал непоколебимую убежденность, что, благодаря милости Аллаха, отец вскоре будет

принят. Гость внушал мне глубокое уважение широтой своих познаний, ясностью рассуждений и особенно своим тонким юмором — редким свойством для жителя Магриба. Вместо гримасы презрения, столь часто искажавшей физиономии вельмож, на его лице было постоянное выражение насмешливости, так что трудно было понять, говорит он серьезно или нет. Случалось, что он смеялся над чем-то, но для меня комическая сторона этого оставалась скрытой. Иногда он жонглировал противоположными понятиями и играл парадоксами с таким ослепительным искусством, что я был совершенно ошеломлен. К тому же, в его присутствии у меня было ощущение, что я неотесанный глупец и что мне следует еще многому учиться, и это было очевидностью.

Поскольку отец все больше и больше приобщал меня к своим делам, я присутствовал почти при всех их беседах, обычно поспешных, ибо Ибн Туфайль распылялся на различные действия и не мог задерживаться у нас. Кроме заботы о выделительных органах халифа и "приемных" органах его наложниц, он надзирал за строительством города, ощетинившегося лесами, и за завершением работ в мечети Аль-Караун, где потом размещался университет. Он надеялся, что благодаря милости его повелителя и во славу его, Фес-святой приобретет в короткий срок тот духовный блеск, который ужасы войны разрушили в жемчужине Кордове.

Было ли желательно такое перемещение? И да, и нет. Конечно, только по воле Аллаха колыбель его самых ревностных служителей может обрести такую славу, что превзойдет все города мира. Безусловно, следует порицать прискорбные злоупотребления, совершенные воинами на земле Андалусии, бесчинства в отношении религии и науки, разгром и сожжение библиотеки, преследования и казни без суда; но отсюда не без

удовольствия наблюдали за усмирением гордой и зазнавшейся провинции. Теперь следовало восстановить то, что восстановимо, в первую очередь, заполучить ученые головы. Этим как раз и занимался Ибн Туфайль. Уже было создано училище, где обучали геометрии, астрономии и праву по Корану. Архитекторы из Гранады облагораживали план первой *медресе*⁹⁵, дома для студентов: шестьдесят комнат на трех этажах вокруг патио — сада с галереей из альхесирасского мрамора. Строительство должно было вот-вот начаться. Другие подобные очаги были в проекте, и их должны были закладывать по мере того, как слава университета распространится на обоих континентах.

Благодаря доблести своих войск, а также политике сурового ограничения на захваченных и покоренных землях, халиф располагал почти неограниченными денежными средствами. Было наглядно доказано, что богатство составляет самое плодородное удобрение для роста наук и искусств. Что же касается учителей, то Ибн Туфайль уже составил их список. Я был крайне удивлен, прочитав там и мое имя, мое, а не отца; я числился в части медицины вместе с Ибн Рушдом. Наш гость открыл мне, что видел меня в деле: он был одним из тех, кто присутствовал переодетым на уроке анатомии в подвале в Толедо. Авенсоль, по его словам, сказал обо мне, что когда-нибудь я стану королем врачей и врачом короля.

Судьба пожелала, чтобы Ибн Рушд прибыл в Фес-святой уже после нашего бегства оттуда.

* * *

Открыто в Магрибе не существовало ни одного человека, верного Богу Израиля. Где же таился дух сопротивления, вызванный посланием моего

отца? Случалось, какой-нибудь незнакомец появлялся под покровом сумерек и приносил загадочное сообщение или произносил полные намеков речи. Разве не следовало проявлять недоверие и излишнюю осторожность, рискуя разочаровать гостя и упустить возможность сближения? Воспоминание о посаженном на кол еще бродило в этом доме. Во времена разгула бесчинств и произвола быстро выявляется призвание доносчика. Рабби Маймон? Да! да! Отец очень хорошо знал его в Андалусии. Человек очень набожный, с прекрасной репутацией и высокой порядочности. Жаль, неизвестно, что с ним стало. Жив ли он еще? Если говорят, что он в Альмерии, значит, может быть, так оно и есть. Послание? Какое послание? Отец не знал, что рабби Маймон написал послание. Если он так поступил, значит, у него были на то причины. О сопротивлении? Впервые слышит! Сопротивление чему? Нетерпимости, расправам без суда, поспешным казням? Не будем говорить об этом; слишком часто распространяют лживые слухи и преувеличивают. Тот, кто глумится над законом, знает, на что он может рассчитывать; и если он наказан, разве не получил он по заслугам? Долгой жизни халифу Абд-эль-Мумену, эмиру правоверных и высшему судье обоих континентов во славу Аллаха! Да исполнится воля его на земле и на небе!

Незнакомец никогда не упускал возможности вторить похвалам повелителю. Он больше тоже не доверял нам, не зная, кто перед ним. Не успеешь оглянуться, и ты уже посажен на острый кол. Каждый месяц кто-нибудь, не сумевший извлечь урок, был вынужден испробовать это удовольствие перед Баб-Мабруком – Воротами Сожженного. Головы казненных были выставлены потом на зубцах городской стены и служили лакомством для пирующих луней и коршунов.

Однажды отец нанял двух верховых лошадей и

предложил мне совершить прогулку к оазису Хабуна, на расстоянии полудня езды к югу. Город весь состоял из тысячелетней давности еврейской общины вавилонского толка. Примерно тысяча семей, которые жили сурово, как в библейские времена, питались продуктами земли и деревьев и изготавливали цветные плетеные корзины, хорошо известные служанкам в Фесе-святом. Еще в Альмерии отец получил письмо от этой общины; призыв к сопротивлению нашел в ее людях глубокий отклик.

Оазис был расположен на высоком плато между двумя скалами. Рядом находился вади, в котором отдыхали, наслаждаясь прохладой, голодные быки и облезлые верблюды, а на песчаных берегах в тени запыленных пальм стада ослов отдавали себя на съедение мухам, не шевеля ни ушами, ни хвостами. Как только мы въехали в Хабуну, со всех сторон налетели злые собаки и бросились под ноги лошадям. Куры с кудахтаньем разбегались от нас. Глинобитные домики *меллаха*⁹⁶, построенные кое-как и отданные на волю ветра, окаймляли серые от грязи улочки. Ни одного мужчины, ни одной женщины, ни одного ребенка; никого, кроме захлебывающихся лаем и следующих за нами по пятам собак и испуганно разлетающихся из-под копыт кур.

Мы пустили коней шагом у запертых ворот, у закрытых кожаными ремнями *барбаканов*⁹⁷. Ни малейшего признака человеческого присутствия, и все же я чувствовал, что десятки глаз следят за нами со всех сторон. Стояла сильная жара; мириады мух жужжали перед мордами лошадей. Ближе к центру города стали попадаться каменные дома, один даже с двумя этажами; в нем, наверное, жило какое-нибудь важное лицо. Где-то за застекленным окном запищал младенец. Отец спешился и постучал в дверь. Шалом! крикнул он. Я несу мир и утешение от далекого друга.

Внезапно моя лошадь взбрекнула: кусок щебенки, брошенный с крыши, ударили ее по крупу. Слушай, Израиль! прокричал отец. Меня вдохновил наш единий Бог. Я пришел к вам во имя Его. Единственным ответом был град камней. Мне попали в плечо, отцу — в бедро. Он все же не пал духом и постучал в другой дом; потом в следующий; и чем упорнее он стучал, тем гуще обрушивались на нас куски известки, камней, глиняной посуды. У моей лошади из белой отметины на лбу пошла кровь, она понесла, нарвалась на свору собак, я уцепился за гриву и с трудом удержался в седле; мне удалось успокоить ее только на горной тропе далеко от ужасного места.

Через какое-то время отец нагнал меня. Он потирал бедро, был весь покрыт пылью и у него был расстроенный вид. Конечно, удар был тяжел для него. Писать слова ободрения в тиши рабочего кабинета и вдали от непосредственной опасности — это одно; столкнуться со сложностью безысходной ситуации и со всеобщей реакцией людей придавленных и испуганных — это совсем другое. То, что поднималось здесь из глубин, несло тину из тьмы веков, первые представления, на которые был способен человек, дрожь страха полунасших прародителей в ясное утро их падения перед вратами, с тех пор закрытыми навсегда.

* * *

Любой другой, кроме моего отца, без сомнения упал бы духом. Считать, что отец был способен на это, — значило бы плохо знать его. Назавтра он появился вымытый, вычищенный, слегка прихрамывая, но невозмутимый. Хабуна задела его бедро, но не душу. Это была одна община из ста, одно крушение из тысячи, один вопрос без

ответа. Альтернатива была не между жизнью и смертью; альтернатива была между существованием и несуществованием, а это совсем не одно и то же. Не предлагалось никакого реального выбора, который был бы предпочтительнее противоположного. Только у глубокого сознания сохранялась возможность сказать последнее слово в конце, в непрерывности возрождения, у которого, может быть, нет ни начала, ни конца. Нужно быть совсем простаком, чтобы считать, что мир создан для того, чтобы мы пользовались им. Мы — внутри мира и поэтому ощущаем на себе все его противоречия и изменения. Некоторые устремляются вперед или назад; некоторые — в облака или в себя. Главное было — найти где-либо прибежище и обрести чувство, что ты не утрачиваешь своей цельности.

Наша жизнь потекла обычной чередой в ожидании маловероятного события, которое должно было вернуть нам свободу. Тишина и сосредоточенность царили в доме. Отец учился и писал. Я учился и писал. Что же мы искали в книгах и в литературе? Древесный червь спрашивает себя, почему он точит дерево? Просто это его способ существования в мире. Мы рыли свои ходы вовсе не из стремления к совершенствованию. В плотном пласте мироздания укрывалась тайна, и проникнуть в нее — вот в чем была добродетель. Мы оба, отец и я, были хорошо, хоть и в разной степени, подготовлены к возвышению, благодаря знаниям, что только и позволяет приблизиться к истине, если не достигнуть ее. Это был наш способ существования в мире. Нас увлекали примеры многих поколений, из глубины веков они призывали нас поступать, как они, и превзойти их. Где-то там, в конце сиял абсолютный свет, невозмутимое блаженство, вечный покой. Я солгал бы, если бы сказал, что в наших действиях вовсе не было гордости и некоторого расчета. Мы были

глубоко убеждены, что добродетель обязательно будет вознаграждена и что нет более высокой добродетели, чем бесконечное желание совершенствоваться. Я признаю в этой тайной исповеди, что это была только одна точка зрения, что допустимо было поддаться и другим искушениям и ни одно из них не было бы свободно от заблуждений.

По вечерам Давид своей непоседливостью оживлял наш покой. Он соприкасался с другой действительностью, хотя и был моим послушным учеником и воспринимал беспрекословно, но втайне позевывая, основные понятия, которые я старался втолковать ему. Он водил знакомство с мальчиками своего возраста: погонщиками ослов, водоносами, канатоходцем и заклинателем змей; он знал по имени всех торговцев пышками на базаре и различал по стилю всех сказителей у ворот Баб-Гисса. Метафизика трогала его не больше, чем полет диких уток, — только слабое шевеление воздуха в вышине; но он все больше грезил о синеве далеких горизонтов и о перемене мест. Кроме того, он вместе с друзьями совершал мелкие торговые сделки, о которых лучше было не знать подробности; где-то продавал перстень из меди, а где-то ожерелье из амбры, а деньги складывал в тайник, известный лишь ему одному. Его заветным желанием было наполнить до предела копилку и выкупить изумруд, которым было уплачено его хозяину. Никакого сомнения нет, что он осуществил бы это: это была простая арифметическая задача и она давала множество возможных решений.

Я, со своей стороны, предавался в это время другим расчетам, менее доходным и более отвлеченным. Я придумал способ использовать множество сосудов, содержащих воду на разных уровнях, для того, чтобы наблюдать в них отражение небесных сфер. Такой метод позволял мне опре-

делять с достаточно большой точностью приближения размеры и удаленность небесных тел, которые, согласно закону Господа, находятся в эфире. Так, я доказал, что расстояние от центра Земли до вершины Сатурна приблизительно равно длине пути в восемь тысяч семьсот лет из трехсот шестидесяти пяти дней каждый, если считать, что в день преодолевается расстояние в восемьдесят тысяч шагов, каждый — длиной в локоть. Я много раз проверил эти вычисления и могу заверить, что они точны. Я поделился с философом Ибн Мусой, который, как и я, посещал лекции по астрономии, и он обвинил меня в преувеличении; по его мнению, а он был мусульманским судьей, такие расстояния непостижимы разумом, ибо ни одно существо, обладающее человеческим обликом, не способно двигаться по прямой линии в течение восьми тысяч семисот лет. Следовательно, Господь не мог желать этого, ибо это невозможно. Я предложил ему провести расчеты вместе со мной. Цифра оказалась той же. Недоверчивость Ибн Мусы не исчезла. Но он стал относиться ко мне с почтением, что впоследствии сначала спасло нам всем троим жизнь, а потом подвергло опасности мою.

Я не без причины отвлекся и заговорил о звездах. Помни, друг мой, о необъятности небес, где размещены бесчисленные сферические тела на расстояниях, от одной мысли о которых кружится голова, о мизерной величине подлунной земли и о ничтожности рода человеческого по отношению ко всему сотворенному миру! Кто же может быть настолько безумен, чтобы вообразить, что все это существует ради него и для его блага, что все это должно служить ему орудием Провидения? Безумие! Безумие! И однако...

Незадолго до переезда в зимнюю резиденцию в Марракеше халиф дал знать, что примет отца. Было согласовано, что я буду присутствовать при беседе. Когда нас провели во двор, где происходили приемы, Ибн Туфайль находился уже рядом со своим повелителем. Нас пригласили сесть на бархатные подушки, что было знаком уважения, оказываемого знатным посетителям. Абд-эль-Мумен почти утопал в парчовых одеждах и опирался на подушки из дамасского шелка. Это был человек неопределенного возраста, с очень белой кожей и редкой бородкой, с высоким и приятным голосом. За его спиной блестел восьмиугольный водоем, в который журча вливалась тонкая струйка голубоватой воды. Пока слуги расставляли перед нами чашки чая с мяты и подносы со сладостями, не было сказано ни слова. С отдаленногоозвы-
шения, скрытого за беседкой из порфира, тихо звучали монотонные мелодии струнных инстру-
ментов и тамбурина. Я с удовольствием отметил, что здесь совсем не было мух.

Когда мы отпили по глотку, Ибн Туфайль представил нас. Он рассказал, что мы из старинного рода и что наша генеалогия восходит к царю иудейскому Давиду, что жизнь нашей семьи связана с историей Андалусии, он упомянул также о видном положении отца в Кордове; он добавил, так как был весьма добр ко мне, похвалы, которых я не был достоин, — об обширности моих познаний в медицинской и философских науках, так же, как и во всех остальных сферах духа человеческого.

Небрежным жестом халиф пальцем приподнял веко и посмотрел на меня равнодушным взглядом. Он спросил мое имя, и я назвал то, которое принял при отъезде из Альмерии. Потом был задан вопрос о моем возрасте. Абд-эль-Мумен

выразил удивление, что возможно, будучи таким молодым, знать так много книг. Он их все прочел, прибавил Ибн Туфайль, потирая руки. Аудиенция принимала именно тот оборот, который он предвидел. Ибн Туфайль заранее предупредил, что мне предстоит нечто вроде экзамена. Халиф высоко ценил и не упускал случая выставить напоказ свои познания. Он надкусил засахаренную сливу, и лукавое выражение скользнуло по его исполненному равнодушия лицу.

Слышал ли я об очень древнем и редком сочинении под названием "Набатийское сельское хозяйство"? Согласно правилам вежливости, я должен был показать, что я в затруднении. Затем я признался, что судьба дала мне возможность видеть эту книгу и что я изучил ее содержание с большим вниманием, ибо она рассказывает о нравах сабеев⁹⁸, которые поклонялись небесным светилам, и их вера была первой известной верой, и в ней родился Авраам, патриарх евреев и мусульман. Абд-эль-Мумен кивнул, удовлетворенный. А каково твое мнение, сказал он, о суждении Аль-Рази, что, по сравнению с Добром, Зло бесконечно больше распространено в мире? Я думаю, Эмир правоверных, что Аль-Рази был великим врачом, но жалким философом и что его суждение следует отвергнуть. Зло мыслимо только в связи с живыми существами, наделенными сознанием, и, более точно, с родом человеческим; а ведь люди представляют собой ничтожную часть в необъятности творения, которое является Добром. Следовательно, Зло — ничтожная часть по сравнению с Добром, которое всеобъемлюще.

Халиф несколько раз кивнул головой, продолжая грызть засахаренную сливу. Отец с непроницаемой миной расчесывал пальцами бороду. Я прочел по лицу Ибн Туфайля, что мои ответы его удовлетворяли и были оценены так же халифом. Но халиф еще не закончил. Наступил черед

вопроса-ловушки, который я ожидал. Принадлежу ли я к секте кадаритов, сторонников свободной воли, или к секте джабаритов, сторонников предопределения?⁹⁹

Мне понадобилось некоторое время, чтобы обдумать и взвесить все оттенки изложения моего ответа. По этому вопросу имеются, сказал я, пять возможных теорий, все они очень древние и вполне обоснованные. Первая утверждает, что Провидения вовсе не существует и что все, происходящее в этом мире, – результат случайности и материальной необходимости. Это воззрения греков Демокрита и Эпикура. Вторая – теория грека Аристотеля – отвергает случайность сотворения мира, ибо никогда топор не смог бы вонзиться в ствол, если бы его не направляла рука дровосека. Все, что управляет сферами и луной, установлено разумом, не знающим ни несовершенств, ни исключений. Поэтому ничего подобного не происходит в небесах. Напротив, под луной и в делах людских некоторые явления можно приписать случайности. Например, здание, основание которого имело пороки, способно рухнуть и причинить смерть находившимся в нем, или судно, захваченное бурей, может быть поглощено пучиной вместе с праведниками и невеждами, путешествующими на нем. Третья теория – теория джабаритов. Нет случайности на земле. Все, что происходит, предопределено испокон веков. Если дом обрушился, если судно затонуло, то судьба погибших была решена заранее и неукоснительно. Если я нахожусь в этот час перед тобой, Эмир правоверных, это значит, что судьбе было известно, что это произойдет, и она сделала так, чтобы это произошло. Четвертая теория принадлежит кадаритам, которые утверждают, что воля человека свободна, в том смысле, что добродетель согласована с божественным Провидением, а порок не согласован. Хороший человек никогда не наказы-

вается, разве что ради его блага и его возвышения; таким образом, калека благодарит Провидение за то, что оно сделало его калекой, потому что из всех возможных форм существования эта наиболее соответствует ему. И, наконец, пятая теория — теория ученых, принадлежащих к еврейской вере, предоставляет человеческому существу свободу выбора во всем перед лицом Божественного правосудия. Из этих пяти теорий все не могут быть верны. Все не могут быть лживы. Тому, кто поднимается к мудрости и добродетели, надлежит определить для себя, в какой он видит больше света и какая ближе к истине. Что касается меня, Эмир правоверных, я еще далек от того уровня, который дает ясность взглядов и точность суждений. Я лишь надеюсь обрести их когда-нибудь.

Абд-эль-Мумен повернулся к Ибн Туфайлю. Сначала он отпил чаю из чашки и деликатно вытер рот рукавом. Этот молодой ученый по вкусу мне, сказал он. Яблоко, оторвавшись от яблони, падает недалеко от ее корней. В саду Аллаха есть место для такой породы деревьев.

Хотя отец сидел по-турецки и живот его был похож на полный бурдюк, он ухитрился поклониться. Разнообразие земли — причина разнообразия деревьев и людей, сказал он. А разнообразие деревьев и людей создает богатство земли. Такова была воля Создателя.

Эмир приподнял веко и несколько секунд внимательно рассматривал отца, так, как он делал это раньше по отношению ко мне. Ибн Туфайль заерзal на подушке. Он знал, что вступление закончено и сейчас должен начаться напряженный разговор. Лишь бы только какое-либо поспешное слово не привело к разрыву! Как ни благосклонен был эмир, ему свойственны были внезапные перемены настроения, и его неудовольствие могло возникнуть от тени мысли, даже самой безобидной.

Я же вовсе не был обеспокоен. Я знал умение отца выражать свои мысли и обращаться с людьми. Каждое дерево, продолжал отец, и каждое человеческое существо получили свою породу из рук Господа. Преступно было бы вынуждать их менять ее, ибо не такова была воля Создателя.

Абд-эль-Мумен тонко улыбнулся. Твой сын уже показал, что ты мудр. Но ты недостаточно осведомлен относительно природы деревьев и человека. Мой садовник очень успешно производит прививки. И мои правители тоже. Голос халифа стал более твердым; однако он сделал паузу. Эмир правоверных, сказал отец, по чистой теории богословия и согласно откровению, полученному Израилем, всякое изменение природы — грех. Я подчеркиваю, по чистой теории. Абд-эль-Мумен все еще улыбался. Именно поэтому, сказал он, и в чистой теории закон Корана выше закона, о котором ты говоришь. Наш долг — улучшать деревья и людей, совершенствовать природу, данную нам лишь как набросок. Кто защищает тебя от лучей солнца, если не ты сам и не плоды твоего ума? Как бы ни были многообразны земля и породы существ, наверху, над сферами, Аллах един, и все, что рождается, изменяется и искажается, совершается во славу его. Сказано в суре: блага, которые вы получили, даны лишь во временное пользование. То, что срок краток, не вредит праву пользования. Мы возвышаем то, что нам нравится возвышать. Мы приводим к падению то, что можно привести к падению, а начало упадка — не признавать единого Бога.

Долгими, легкими, скользящими движениями отец расчесывал бороду. Эмир правоверных, Бог един, ты сказал так, и я говорю, как ты. Он явился на горе во всем своем величии и во всей своей сущности народу, вышедшему из Египта. Он явился в пустыне во всем своем сиянии и со всей своей справедливостью идолопоклонническим

народам Аравии. Здесь, как и там, Он избрал пророка для выражения своей воли, которая едина, как един Он. В чем состоит эта воля, Эмир правоверных? Восхвалять Господа и Его творения. Быть покорным и верным закону, который Он простирает над миром. Красить вишни в зеленый цвет, а яблоки в красный, разве это значит служить Богу? Прилаживать крылья рыбам и плавники птицам? Наращивать шкуру льва овце или сравнивать спину верблюдицы, дабы сделать из нее кобылицу? Каждое существо свидетельствует о Боге согласно природе и умениям, присущим ему. Я не себя защищаю, Эмир правоверных. Я защищаю народ, который всеми признан древним, который сумел сохранить, пройдя через тысячи превратностей судьбы, свою собственную правду и свое право на существование. Разве справедливость Бога в том, чтобы силой отнять у этого народа то, что принадлежит ему, ибо он получил это свыше?

Халиф дал отцу говорить и не выказывал никаких признаков нетерпения. Ты хорошо ставишь вопрос, сказал он. Я постараюсь хорошо тебе ответить. В начале своей истории народ берберов, к которому я принадлежу, следовал еврейским обычаям и подчинялся закону Израиля, потому что не было другого пророка, кроме Моисея, для передачи слова Божия. Я не принимаю во внимание Назареянина и его последователей-идолопоклонников, которые простираются ниц перед деревянными и каменными статуями и имеют наглость расщеплять Единого на три. В глубине Аравии, в точке, где кончается мир, люди так изголодались по истине, способной принести душе мир, и так жаждали ее! Пришел наш пророк и принес нам ее. С тех пор нет места другому откровению. Заблудшие присоединились к его учению и к его закону, и никогда мусульманин не препятствовал возвращению заблудших. Аллах един, и всякое

существо, рожденное в этом мире, принадлежит вере, данной нам. Те, кому препятствуют исполнять волю Аллаха, не повинны в этом. Долг свободного — присоединиться к истинно верующим, и горе тому, кто впоследствии изменит этой вере! Я должен открыть тебе кое-что. Подобный этому разговор уже был у меня с Иехудой Бен-Шошаном, он был замечательный человек. Зачем он изменил? Я был очень опечален. Но правосудие должно вершиться своим чередом.

Отец кашлянул в ладонь. Он был слишком хорошим政治家, чтобы не заметить, как захлопнулась дверь. Если халиф хотел дать ему предупреждение, оно не могло быть более ясным. Запасной выход был со стороны Кордовы. Отец прибегнул к нему, вернувшись на несколько веков назад и напомнив, как плодотворна была совместная мирная жизнь двух общин, когда они неслись воедино, но каждая сохраняла присущие ей особенности, и как город выигрывал от этого и в своей славе, и в качестве, и в уровне жизни. И этому процветанию, которое вызывало зависть двух империй, притеснения положили конец, может быть, навсегда. Следует восхвалять и почитать творение Господа, сказал отец. Но разве творение людей не достойно похвалы и почитания? Разве пророк Мухаммад не сказал: помоги своему брату, когда ты видишь, что его притесняют; а притеснителю воспрепятствуй творить зло.

Иbn Туфайль снова заерзal, стараясь привлечь взгляд отца. Абд-эль-Мумен не казался ни менее далеким, ни менее внимательным, чем в начале аудиенции. Я благодарен тебе, сказал он мягко, за то, что ты принимаешь близко к сердцу заботу о спасении моей души. Я часто думаю об этом и стремлюсь к этому с большим рвением. Пророк сказал также: жизнь в этом мире только игра. Слава? Процветание? Все это лишь суетность!

Игра, жестокая — может быть; смешная и ничтожная — наверняка. Создаются и разрушаются миры, сталкиваются империи, из-за слишком большого холода или слишком большой жары создаются завихрения, бросающие народы друг на друга, как ветер на дюны, как волны на скалы, и из этого рождаются пыль, рифы, бугры и ложбины, а также слезы и скрежет зубовный. Ты говоришь как глава семьи и ты по-своему прав. Я говорю как глава державы, и я не уверен, что прав. Между континентами идет беспощадная борьба, одни рвутся на запад, другие — на восток. Весь мой народ должен быть со мной, единый и сплоченный, чтобы отражать удары и наносить их. Семейные истории — это будет позже. Кордова разгромлена? Мы восстановим ее в Фесе. Свобода верований? Придет время и для нее. Мне тоже нравится, когда вишни красные, яблоки светло-зеленые, у птиц есть крылья, а у рыб — плавники. Я услышал из твоих уст жалобу народа Израиля, и я обдумаю ее. Этот народ живет на обоих континентах, и я не отбрасываю мысль, что он мог бы быть посредником. Ибо наступит день, когда мы заключим мир, как того желает Аллах.

По едва заметному знаку халифа слуги унесли подносы. Аудиенция окончилась. В главном дворе управляющий вручил нам дары Абд-эль-Мумена. Халиф оказал нам княжеские почести. Две гнедые кобылы с седлами и сбруей, великолепный молитвенный коврик из тонкого шелка, два плаща из меха песчаной лисицы и кошелек, полный золотых монет. Я отдал бы все это в обмен на обещание, сказал отец. Ибн Туфайль подошел к нам. Он уведомил, что мне поручен курс анатомии в новом университете Аль-Караун.

Когда сегодня я силюсь вспомнить годы, проведенные в Фесе, я различаю лишь легкое пушистое облако, разлитое в обширном пространстве, и это облако могло бы все уместиться у меня на ладони. Однако память никогда не изменяла мне, и я никогда не знал праздности, в которой способны погрязнуть многие. Мне кажется, что я бодрствовал только наполовину, а другая половина была погружена в глубокий сон. Как поступает булочник? Сначала он замешивает тесто и дает ему взойти, и я тоже добросовестно замешивал свое и давал ему взойти; потом он придает хлебу форму и ставит его в печь. И для меня тоже наступало жаркое время, когда я сталкивался с трудностями. Я проходил через пространный и вялый период, который постепенно превращался в суровое и сжатое пережитое. Оставшиеся для меня вехи — это мои книги, и их весомость свидетельствует: я спал только наполовину. Введение в формальную логику. Изучение математики и астрономии для уточнения календаря. Двенадцать из четырнадцати томов сочинений о законах. Переписанные копии этих трудов стали распространяться в Арагоне, Кастилии, Лангедоке, Провансе. Я получал вопросы, касающиеся мельчайших подробностей, и я принуждал себя составлять обоснованные ответы. Мое послание ученым Марселя само по себе — целая книга. Особенно часто я получал письма с перечислением недостатков, и я старался ожесточить свое сердце, чтобы не дать невеждам, замкнувшимся в своих предрассудках, — а число их, как тебе известно, велико, — заставить меня отклониться.

Мой выбор был сделан: соглашаться лишь с мнением некоторых, не всех. Выпечка идей требует большей тонкости, чем выпечка хлеба: ведь необходимо не насытить, а наоборот, вызвать

голод. Если есть какая-то тайна в невидимом, то не менее таинственно и то, что видимо и близко нашим чувствам и что некоторые воспринимают как известное, но в действительности вовсе не знают этого. Не часто встречаются люди, которые согласны сделать усилие и мыслить самостоятельно, а тем более проверять обоснованность приобретенных познаний; чаще всего они предлагают нашим аппетитам уже переваренное и переваренное наспех, так что оно распадается при первом дуновении.

Я сделал это отступление, чтобы отсрочить признание: я не был счастлив в Фесе. Впрочем, я не был и несчастлив. Безучастен, если не сказать равнодушен, что было бы слишком. Отец, вероятно, находился в том же расположении духа, хотя мы никогда об этом не говорили. Из нас троих только Давид был весел и имел беззаботный и беспечный вид. Какой странный вкус должен иметь хлеб, если его корка и мякоть из разной муки? Сама по себе двусмысленность положения не была тягостна. Внешнее и внутреннее не согласовывались во мне, хотя и не было между ними острого несогласия. Вначале я испытывал некое удовлетворение оттого, что носил маску. Чем лучше я был замаскирован, тем свободнее чувствовал себя. Каждый день нужно было приобретать нечто кажущееся, для того чтобы не отречься от истинного, и в таких скачках была своя возбуждающая острота. Меня не смущало сверх меры то, что приобретенная таким образом безопасность была ненадежна и постоянно зависела от случайности. Я жил в состоянии неустойчивого равновесия, согласен; но тем не менее, у меня было утешительное чувство, что я держусь стойко и иду прямо.

Неприятно было то, что из-за моей тайны я был одинок. Я ни с кем не мог говорить откровенно, по душам. Со временем притворство становится утомительным. Мои сомнения были не

по вкусу отцу; мои убеждения приились бы не по вкусу людям, с которыми я по необходимости соприкасался изо дня в день. Любой разговор отдавал меня во власть собеседника и подвергал опасности быть заподозренным, если не хуже. Я всегда был настороже, и это постоянное напряжение не способствовало безмятежности духа. К счастью, произошло политическое событие, облегчившее тяготы моего одиночества.

В городе Сеуте свершился переворот, правителя-альмохада и его сеидов¹⁰⁰ вырезали и восстановился прежний порядок. Войска халифа не произвели никаких действий в ответ на это бесчестье. Большая часть торговых связей Магриба проходила через этот морской порт. Он процветал благодаря непрестанному движению кораблей и успехам местных ремесел: в городе обрабатывали дерево и делали бумагу. Больше выгоды было в возврате к вольности, чем в излишней суворости. Так выявляется, что самая непримиримая политика отступает перед требованиями торговли.

В Сеуте, освободившейся от власти фанатиков, еврейская община очень быстро вновь ожила. Ее князем был рабби Иехуда, старший сын которого впоследствии стал одним из самых одаренных моих учеников. До побережья только три дня пути на лошадях, а у нас были хорошие скакуны. Отец купил третьего коня, теперь у каждого был свой, и наши посещения Сеуты участились, особенно когда наступали дни праздников. Понемногу мы перевезли туда часть нашего достояния и, по мере того как я заканчивал какую-либо рукопись, я вверял ее на хранение рабби Иехуде, а он заботился о ее переписке и распространении. Наше жилище было в Фесе, где меня удерживали мои обязанности в университете, но мы дышали Сеутой, где воздух был не так тяжел.

Конечно, это было временное решение, но в нем были свои достоинства, и оно подходило

нам. В других местах было не лучше, а могло быть и хуже. Как глупы люди, осуждающие нас за наши блуждания! Я даже не стремлюсь одержать над ними победу; я считаю, что моя честь в том, чтобы уйти с их пути, и этого достаточно, ибо никогда никому не удавалось убедить глупца в его глупости. Моя жизнь могла бы так и закончиться верхом на скакуне в пути между двумя городами, ни один из которых надежно не укрывал меня и ни в одном из которых не было мира для меня. Переезжая так из одного города в другой, я уповал на то, что, путая следы, отвращаю от себя превратности судьбы. Странный расчет, который делит на части горечь изгнания, умножая количество убежищ. Но как и я, несчастья дремали только наполовину и проснулись, когда я почти перестал их опасаться.

Был Иом-Киппур¹⁰¹. Не помню, что помешало нам уехать в Сеуту. Еще с вечера мы заперлись в комнате отца, постились и находились в состоянии глубокого покаяния. В ту минуту, когда отец начал читать молитву о мертвых, шестеро стражников взломали дверь и набросились на нас. Ни их окрики, ни удары не могли заставить нас замолчать и прекратить творить печальную молитву, от которой у нас сжимало горло, ибо сейчас это уже была и молитва о нас: мы были мертвыми среди мертвых. Наше шествие по городу стало поистине бесчестием, и когда нас привели к двери мечети, где заседал суд, мы были выпачканы плевками и забросаны навозом. Согласно обычаю, я упал на колени и поцеловал платье судьи. И только подняв после этого голову, я узнал в нем Ибн Мусу. Он был в полной растерянности, когда увидел меня на коленях, покрытого нечистотами и уже предназначеннего на муки. Во мне вдруг родилась безумная по своей озаренности идея. Кади, сказал я ему, произошло недоразумение. Ты рискуешь допустить ошибку. Прошу тебя,

выслушай меня до конца, дабы не совершилась несправедливость. Не позволяй ввести себя в заблуждение, несмотря на наши одеяния и на слова стражников. Нас застали в разгаре преступка, но какого? Мы не делали ничего, кроме того, что отдавали долг нашим мертвым. Разве это преступление? Разве мы повинны в том, что они жили и умерли в Моисеевой вере? Нет, не правда ли? А как могли мы молиться за упокой их душ, если не по закону, которому они были верны? Как призвать к ним милость Бога и как быть услышанным ими, если не теми словами, которыми молились они? Вот мой отец, мой брат и я, которого ты знаешь, мы все чтим закон, который ты представляешь, но мы чтим также наших предков, которым не был открыт истинный свет. Язываю к твоей справедливости, кади. Я заявляю, что вопреки видимости, мы неповинны в отступничестве.

Ибн Муса что-то тихо прошептал своим помощникам. Вы свободны, сказал он. Толпа расступилась, чтобы дать нам пройти. На следующий вечер, перед закрытием городских ворот, поодиночке, чтобы нас не видели вместе, мы ушли из Феса-святого навсегда.

* * *

Это была четырехмачтовая парусная византийская галера, держащая путь в Акко. Она везла строевой лес и паломников, в основном эдомитян и нескольких хаджий¹⁰². Всего на ее борту было около пятисот человек путешественников и команды. Галера была построена так, что могла бы взять еще столько же. Мы легко нашли место для наших лошадей в стойлах на полуяте, а сами расположились вместе с сундуками на юте, вблизи катапульты, назначением которой было держать

пиратов на почтительном расстоянии. Морской переход был рассчитан на тридцать шесть дней; длительность его можно было сократить наполовину, если бы каждый вечер галера не бросала якорь либо у входа в какую-нибудь бухту, либо на отмели вблизи берега. В лавках левантийцев путешественники покупали уйму всяких вещей: ткани, пищу для людей и животных и даже солому для подстилок.

Весна только началась, дни тянулись теплые и светлые, ночи не были слишком прохладными. Путешествие могло бы стать отдохновением на ломаной линии пути наших блужданий; оно стало живой раной, полной горечи и тоски. Постоянное дыхание западного ветра наполняло паруса и умножало мою грусть. Я и прежде и сейчас еще любил этот крайний запад таким, каким он был, со всей его суворостью и неблагодарностью. Ему я был обязан многим: там определился строй моей души, там сложились мои взгляды на мир и порядок моих воспоминаний. Оттуда я увозил богатый урожай крепкой дружбы и великих радостей, разочарований и недоброжелательств, и тот вкус к жизни, полный гордыни и унижения, который придает цену существованию.

Облокотившись на поручни, я часами смотрел на струю за кормой галеры, и блеск воды, и пена волн — все вызывало во мне тоску по Кордове, ибо теперь я был уверен, что уже никогда больше не увижу ее. Годы прошли с той ночи, когда мы в последний раз поспешными шагами пересекли Римский мост, и только сейчас на этом судне, монотонно покачивающемся под плеск волн, я почувствовал, как резок был тогда разрыв. Перед носом корабля простиралась тревожащая неизвестность. Более десяти веков отделяло меня от того, другого, объятого страхом путешественника, который уже нес меня в своем семени в обратном направлении. Я тупо твердил себе, что после

столь долгого отсутствия нельзя уже узнать никого и ничего. Бессспорно, какая-то часть во мне оставалась неизменной, как, должно быть, оставались неизменны небеса и окружающая природа. Сможем ли мы завязать новые отношения и начать мирную жизнь на земле, где бушует война? Я завидовал отцу: невозмутимый, он в часы, когда было светло, перечитывал книгу Иова. Я завидовал Давиду: он, как белка, лазил по реям фок-мачты и по стенам, что теперь уже не подходило его возрасту, и водил шумную дружбу с матросами. И тот и другой, каждый по-своему, шли по своему пути; я — нет. Я хотел заставить себя работать, но разум не повиновался мне. Прошлое удерживало меня, а будущее еще не принимало.

На десятый день вдруг, средь бела дня, разразилась ужасная буря. Пока галера приблизилась к берегу и укрылась за полосой суши, были сломаны две мачты и потоки воды унесли часть паломников. Я вцепился в снасти и держался за них; меня выворачивало наизнанку, я утратил интерес к жизни и к самому себе. Я никогда не думал, что можно быть до такой степени жалким и никогда еще не чувствовал себя таковым. Недалеко от меня лежал отец, тоже в плачевном состоянии; в промежутке между двумя судорогами он, размахивая руками, умолял небеса о милосердии. Давид пробрался к лошадям; совершенно равнодушный к качке, он старался успокоить животных и привязать прочнее крепления. Буря продолжалась весь день и часть ночи. Наутро пришлось стать на якорь в порту, чтобы починить галеру. Я вышел на берег поискать фонтан. Когда я склонился над прозрачной водой, я увидел глядящее на меня странное отражение: лицо человека неопределенного возраста с резкими чертами, с пронизывающим, суровым и мечтательным взглядом. Ладонью я разбил изображение. Слишком поздно: оно уже

успело напомнить, что в тот день мне исполнилось тридцать лет.

* * *

Друг мой, если ты не еврей, ты не можешь понять; а если ты еврей, к чему объяснять тебе состояние души изгнанника, который собственными глазами видит, как при заходе солнца показываются холмы Галилеи. Волнение? Конечно, но какое и в какой степени? Такое, что ты вопил бы, смеяясь, и задыхался бы от слез, если бы внезапно горло не перехватило льдом и веки не отяжелели бы, как мраморные. Такое, что ты изнемог бы от радости и от страха, если бы вся твоя плоть не была в величайшем напряжении, а стопы твои не объял бы огонь и глава не была бы посыпана пеплом. Счастье и боль в едином потоке, так что разум способен помутиться, душа — переполниться, и все живое в тебе — обратиться в соляной столп. И все же не пролились сверху дождем ни огонь, ни сера, а стоял лишь алый весенний вечер, как это обычно бывает. И все же, то, что вставало на горизонте, было только холмистой местностью, какие встречаются часто, только полосой светлого тумана, объединяющего землю и небо, только несколькими темными рощами и одинокими кипарисами, разбросанными на рыхких пригорках. И все же, что может быть более банально, чем судно, входящее в готовую принять его гавань? Но будь ты невесть кто, ученый или невежда, образованный или варвар, приближение к Акко на закате солнца — это одно из тех событий, которые остаются навеки в памяти человека. Эта стена ржавых каменных скал, стоящих лицом к искрящемуся всеми оттенками спектра морю, эти десятки покачивающихся многоцветных суденышек, трущихся выпуклыми боками об опаловый

блеск прибоя, этот лес мачт, это обилие парусов, сетей, корабельных снастей, эта толпа на мостках и у лавок, эти тучи кричащих птиц, ищащих пищу, вся эта суeta и волнение способны столько же пленить, сколько и вызвать беспокойство.

Акко — это прежде всего игра красок, затем — немолчность гула и, наконец, неистовство ярости. Как тебе известно, франкская Сирия вершит всю свою торговлю через эти ворота. Королевство выставляет здесь для обозрения любого путешественника свою силу и свое богатство, все это показное и наигранное, плохо обеспеченное из-за неустойчивости власти. Каждый причаливающий к берегу захвачен водоворотом, обольщен и покорен, даже если он знает, что его могут одурачить. Пока нашу галеру вытаскивали на берег по плавающему в воде и скрипящему лесу, наступила ночь. По приказу портовых властей выгрузку отложили на следующий день.

И опять, в который раз, мне тяжело продолжать свое повествование; не потому, что память отказывает мне, а из-за горечи, наслонившейся на воспоминания. Горечь оттого, что на земле наших предков никто не ждал нас и мы не были желанныи здесь; уже много веков, как эта горечь срослась с судьбой нашего народа и потому не была острой болью. В течение этой долгой ночи, когда камни мола были так близки, но до них нельзя было дотронуться, меня терзало новое и острое, едва осознаваемое ощущение. Угадываемое беспокойное движение в порту, затхлый запах прилива, проникнутый ладаном, порывы ветра и далекий звон колоколов, внезапное рвение эдомитян, громко, стройным хором затянувших церковные гимны, злобное молчание хаджи, группами ходивших взад и вперед по палубе, — все это породило во мне чувство присутствия на ярмарке, где с восходом солнца начнется купля и продажа. Мы были у врат огромного базара, где в розницу

продают растерзанного в клочья Бога всем прибывшим на Святую землю, при условии, что им есть чем платить. На этих основаниях и мы могли быть в числе участников ярмарки: все зависело лишь от кошелька, висевшего на поясе у отца.

Под прикрытием набожности, впрочем, чисто внешней, мелкие бароны из Тулузы, Пуату, Аквитании, Анжу, Лотарингии¹⁰³ наживались на этих завоеванных землях и подавали пример алчности и мошенничества, а за ними следовали и остальные захватчики. Этот новый дух пришел с Запада и распространился по всей стране. В противоположность завоевателям-арабам, удовлетворявшимся малым, самой первой добычей, крестоносцы были ненасытны и охотно грабили бы бесконечно, если бы неуверенность в политической обстановке не ставила перед ними предел. Каждый стремился обогнать другого, не стесняясь идти по спинам или по головам, и речь шла о том, у кого самые ловкие руки и самые загребущие пальцы, кто сумеет дать обманное слово и кто сумеет вовремя ускользнуть.

Под воздействием таких нравов, а их почти не скрывали, человек превращался в товар, и его ценность определялась количеством богатств, которые он способен производить или вводить в уже существующий оборот. Наша галера несла не строевой лес и паломников, она несла выгоду, барыш королю Амори¹⁰⁴. Говорили, что он настолько тучен, что нет коня, способного нести его больше часа. По всем берегам Великого внутреннего моря он был известен как воплощение корыстолюбия. Он душил поборами все, что можно было душить, и вымогал у всех, у кого можно было вымогать, включая и своих собственных служилых людей и церковные ордены, а им, чтобы выжить, не оставалось ничего другого, как подражать ему. Еврей бедный – это еврей мертвый, сказал мне как-то отец. Поскольку мы

могли платить, у нас была надежда выжить в Иерусалимском королевстве.

Моя боль была оттого, что нам, по всей видимости, предстояло пойти по низкому пути подкупа, притворяться нищими, чтобы нас не обобрали слишком быстро, сменить одно фальшивое обличье на другое, в то время как единственным моим желанием было вновь стать самим собой. Ни отец, ни я, мы не могли заснуть в эту ночь. Наши взгляды были устремлены на восток, во тьму, в поисках какого-нибудь признака, который позволил бы нам узнать землю Галилеи, бывшую когда-то нашей землей, такой, какой она запечатлелась в памяти поколений, землю, где лишь по воле человека текли молоко и мед, землю, которая породила сильные поколения людей с их неистребимым желанием выжить. Сколько еще времени удастся нам продержаться? Во всем мире вокруг нас сжимались стены. Наше возвращение к истокам тоже было признанием поражения. Хотя еще в Писании нам было обещано возвращение как предвестие наступления счастливых дней, человеческие общества так же, как и реки, не способны повернуть вспять. Чужеземцами возвращались мы в страну, преобразованную другими умами и другими руками, не нашими. На месте наших умерших царств варвары устроили ярмарку хапуг. Я не мог уступить искущению и уверовать в то, что еще возможна милость Божия: слишком сильно болело у меня сердце из-за того, что я знал, и из-за того, что предчувствовал. Отец, по-видимому, верил в возрождение, во всяком случае, в эту долгую ночь он казался собранным и устремленным к берегу. Верить — в этом была его сила; в сомнениях — моя. Из нас троих только Давид спал спокойно, расположившись в стойлах меж лошадей. Для него это было только одно из путешествий, оно заканчивалось и тем самым приближало к следу-

ющему.

Еще задолго до рассвета набережную заполнили толпы людей. В окрестностях Акко, как и в самом городе, и дальше, на дорогах Галилеи, Самарии и Иудеи неизбежно и в изобилии встречались три вида зла, постоянно державшие нас в тревоге: нищие, торговцы святыми реликвиями и сборщики дорожной пошлины. Берегись тот, кто попытается увернуться от их ловких приемов: его сейчас же объявит неверным или непокорным, и тут же ему достанется и на его долю выпадут страдания, его будут оскорблять, притеснять, если не хуже, и спастись он сможет, только если у него достаточно быстрые ноги. Ускорить шаг – значило поступиться своим достоинством; лучше было покориться. Наименьшим мошенником среди них был, быть может, торговец реликвиями, ибо он все же давал что-то в обмен на монету, которую вымогал: щепку от истинного креста, клочок корпии от настоящей плащаницы, шип от подлинного тернового венца или – и это самое дешевое – бумажку-пропуск в чистилище с прощением грехов на тысячу лет вперед. Кому не нужна милость Бога? И напротив, ничто не отличало нищего, попрошайничавшего для себя, от нищего, преданного интересам своего ордена; сборщика пошлин, действовавшего по своим правилам, от сборщика пошлин, обиравшего путешественника в пользу казны своих правителей. У нас не было ни посоха, ни креста, ни кувшина с водой, как у обычных паломников, и поэтому, глядываясь в наш облик, нас облагали податью в три или в пять раз большей, чем это было принято. Даже наших лошадей объявили еврейскими лошадьми, и отец вынужден был соответственно платить. Едва лишь первый сборщик пошлины успел скрыться в толпе, как второй стал преследовать нас по пятам, утверждая, что только ему принадлежит право взимать десятину с невер-

ных. Отец набрался дерзости и попросил у него расписку; он дал нам бумажку, на которой нацарапал что-то наспех латинскими буквами, но третий сборщик, стоявший у городских ворот, заявил, что это фальшивка.

После этого начался спор о цене с носильщиками наших сундуков, и опять пришлось уступить, ибо уже возникла угроза скандала. Как лодка, потерявшая управление и севшая на мель у песчаного берега, мы оказались выброшенными у городской стены, растерянные, ошеломленные таким, новым для нас, приемом. В стороне от беспорядочной толпы и хаоса разгрузки нам представилась минута передышки. Давид заметил издалека водопойный желоб и повел туда лошадей; там, в тени у фонтана уже ждал его сборщик пошлин. Только за воздух, которым мы дышали, с нас еще не требовали денег. А воздух этот был прозрачен и свеж, его принес легкий ветерок, бежавший с окрестных зеленых холмов, с холмов с такой богатой и сочной зеленью, которой я никогда еще не видел в странах, откуда пришел. Мои ноздри с жадностью впитывали этот аромат; сладкий дух папоротников и мхов перебивал в нем затхлость прилива и пыли. Сквозь тысячи лет изгнания я узнал этот запах. Если бы в этот миг молния поразила меня или какой-нибудь фанатик перерезал мне горло, я думаю, я умер бы счастливым.

Отец решил отправиться один на разведку, и, безусловно, это было самое лучшее решение. Он недолго отсутствовал и вернулся в сопровождении помятого и взволнованного старика, которого называли рабби Ефет. Вместе они толкали тележку, чтобы перевезти наши сундуки. Рабби Ефет знал заброшенные тропы, где не было нищих, торговцев и сборщиков податей, и беспрепятственно провел нас к своему дому, расположенному на берегу реки Квадумен¹⁰⁵. По дороге Ефет рассказывал. Жалкая еврейская община существовала здесь не

милостью Бога, а благодаря королевскому эдикту, изданному в начале века Балдуином¹⁰⁶ – первым, носившим это имя. Его эдикт ограничивал двумя-стами семей число евреев, которым разрешалось селиться в Акко, при условии, что все они будут жить вне городских стен и заниматься красильным ремеслом. Это исключение из закона вовсе не было милостью христиан, а прекрасно устраивало короля. Уже в древности, во времена финикийцев, пурпур и кармин, извлеченные из ракушек с побережья Акко, справедливо или ошибочно слыши неподражаемыми и способствовали славе и богатству города еще с тех пор, как его называли Птолемаида¹⁰⁷. И к тому же было установлено, что только руки евреев обладают умением доводить краски до совершенства. Тюки с шерстяной пряжей из разных краев и с тканями из разных мест прибывали целыми караванами и вереницами груженых судов, чтобы получить здесь, на берегу реки, блеск и глянец, ибо во всем мире, от Индии и до латинских стран люди стремились приобрести пурпур и кармин из Акко.

Кстати, ремесло красильщика очень вредно для здоровья и губит человека к тридцати годам. Стариk Ефет был единственным человеком в общине, у которого были белые руки. Он был судьей, и эта должность освобождала его от красильных работ и оставляла ему время для изучения Закона, однако у него не было возможности применить свои познания, разве только по отношению к себе самому. Школа была пуста: ни один ребенок старше пяти лет не имел времени для учебы, все работали в красильнях. Кроме суббот и больших праздников, синагога тоже пустовала: мужчинам приходилось слишком трудно – только исправная выплата налогов давала им право проживания здесь. Уровень гигиены был весьма низким. Не было другого врача, кроме Ефета, а его познания ограничивались правилами

ритуальной чистоты. К счастью, высокая рождаемость восполняла потери и община держалась на дозволенном уровне, как косяк рыб среди акул. У Ефета была уже четвертая жена, три первых умерли из-за работы в красильне, а из семнадцати его детей большая часть угасла в младенчестве. И все же нечего было жаловаться и укорять кого-либо. Богатства лились в Акко рекой, так что одних пищевых отходов было бы достаточно для того, чтобы накормить город равной величины. Королева-мать Феодора, отданная замуж в тринадцать и овдовевшая в восемнадцать лет, жила здесь в одиночестве, купаясь в золоте и роскоши, сравнимой с роскошью образа жизни ее дяди, императора Востока. Активность в порту была невиданной; торговля и приток паломников беспрестанны. Развлечения, соблазны, удовольствия — в таком изобилии, что можно было и забыть о корпорации красильщиков.

Забвение чисто внешнее, уверял Ефет. Удача вероломной Византии, интриги франкских баронов против короны, натиск атабеков¹⁰⁸ из Алеппо — и прекрасное, но ненадежное спокойствие города разлетится вдребезги, как стекло под градом камней. Можно было всего опасаться при разгуле страсти, временно умиротворенных приливом богатств. Здесь слово мир не означало отсутствия войны. Оно означало, что война назревает, готовится, продолжается на расстоянии достаточном, чтобы не мешать успешному ходу дел; и даже при относительном спокойствии для христианина убить еврея всегда является благочестивым деянием, ибо он обеспечивает себе этим хоть какое-то место в раю. Такое преступление не только не наказывается, но даже высочайше поощряется и рекомендуется тому, кто хочет сделать плодотворным свое пребывание на Святой земле. То, что со временем последней волны крестоносцев было сравнительно мало ритуальных убийств, не

говорит об утрате вкуса к резне: слишком мало оставалось тех, кого можно было убивать, чтобы стоило делать усилия.

Но смерть, продолжал Ефет, еще не говорит о страданиях, а они безмерны. Еврейская община напоминает форму, лишенную своего содержания. Утрачивается представление о ценности жизни, ибо жизнь ничего не стоит. Нет больше чувства братства между людьми, разве что вынужденно; нет уважения к ближнему, нет изъявлений благодарности Всевышнему. Израиль гибнет в нужде и скорби, как во времена Египта, как во времена Вавилона. Каждый творит молитву, когда шепчет ее, для самого себя, ибо нужно человеку утешение в неутешности. Слово, исторгнутое таким образом, почти утрачивает свой смысл, у него уже нет былой силы заклинания. Когда красильщику выпадают несколько свободных часов, он погружается в сон, а не в учение или молитву, и что может быть более естественно? Усталость съедает его живьем; он не позволяет себе надеяться ни на что, кроме краткого мига покоя в ожидании вечного покоя. Живой остается только вера в неистребимость Израиля. Но нарождающаяся жизнь не может угнаться за смертью. Ну, а уйти в изгнание, кому придет в голову эта мысль при такой скорби, да и у кого есть средства?

Наш первый вечер на земле Галилеи мы провели в низкой комнате в жилище Ефета. Его молодая жена накрыла стол белой скатертью и зажгла столько свечей, сколько помещалось в подсвечниках. В нашу честь было подано вино с горы Кармель и белый хлеб, который мы все преломили. Как ни был беден Ефет, он постарался придать праздничный характер устроенной нам встрече.

Позже к нашему обществу присоединились многие красильщики, ибо имя Маймонов было известно и здесь, и люди хотели увидеть и

потрогать нас. Пришлось рассказывать в подробностях об Испании, о Магрибе, о наших скитаниях. В то время как отец повествовал о событиях близко касавшихся нас, мне вспомнились некоторые истории, рассказанные беженцами, прошедшими через наш дом в Кордове, смешные по своей незначительности воспоминания, в конечном счете до того похожие одни на другие, что их повторение становилось утомительным. У каждого в котомке была своя ноша воспоминаний, и это было самое ценное достояние. И вот наша собственная история налагалась на другие, тысячи раз слышанные, и лишалась своих особенностей, а ведь для нас, переживших ее, она была так нова и так необыкновенна!

Что может быть более безрассудным, чем искать для себя спокойное место в мире, где нет покоя! Мы переняли на Западе линейное понятие судьба. Если линия разрывается, все существование представляется прерванным. С воздухом Галилеи я воспринял восточное циклическое представление о судьбе. Разрыв ничего не значит, ибо все совершаются большими кругами, связанными один с другим. Мы уже завершали одну петлю, и она привела нас к исходной точке. То, что виток может быть более долг, чем жизнь человека, не имеет значения.

Красильщики вежливо слушали речь, которая была для них непонятна. Я рассматривал этих пропитанных краской до мозга костей красных людей, которым, конечно, случалось плакать красными слезами и судьба которых вертелась на месте. Они были не более ответственны за свою участь, чем мы — за свою, хотя имеющаяся доля свободы делала нас всех в какой-то мере причастными к совершающемуся. Мы надеялись услышать от этих неподвижно сидящих евреев какое-то особое слово; они же ожидали от нас откровения. И одни и другие, мы ошибались. Не было ни

слова, ни откровения. Было только существование, с которым надлежало мириться, и на этом все заканчивалось.

Когда люди, усталые и, конечно, разочарованные, ушли, Ефет задумался. Вы желанные и дорогие гости, сказал он. Но, говоря со всей откровенностью, я не вижу здесь для вас места. Что станем мы делать с двумя учеными и одним шлифовщиком драгоценных камней? И я имею в виду не только нашу общину в Акко, одну из самых крупных в королевстве. Положение еще хуже в остальной части Галилеи и в Самарии, не лучше и в Иудее. Нас осталось только несколько сотен; мы разбросаны и разобщены. Добавлю, что слово *мы* следует исключить из употребления, оно скорее разделяет, чем объединяет. На всей протяженности нашей древней земли еврей — вне закона и любой может делать с ним, что угодно. И это не самое страшное. Стойкость, удача, случайность действуют, как Бог на душу положит. Я повторяю, что смерть еще не говорит о страданиях. Самое страшное, что исчезает дух. В течение более чем пятидесяти лет из наших общин не вышел ни один ученый. Племя сеньоров, которое правит нами, сровняло с землей наши святыни, не преминув извлечь из этого выгоду, и был восстановлен золотой телец. Они оставили нам только стену в руинах и два или три места в королевстве, где мы можем молиться, ибо это приносит им хороший доход, а нам слишком мало помогает; они оставили нам наши безрадостные жизни, которых мы лишаемся и так, без толчков извне. Пружина сломана. Больше нет места взрыву, больше невозможен бунт, больше не появляются пророки. Есть только смутные чаяния, но и они медленно угасают. Израиль был народом письменности и чтения, учения и размышлений, благодаря этому — народом мысли и благодати. У нас больше нет книг, кроме как в

доме молитв, у нас больше нет школ, у нас больше нет времени и нет сил для размышлений. То, что все это есть в других местах в мире, не утешает нас, ибо здесь возникает пустыня. Мысль, как земля, если над ней не работаешь, она иссушается; если ей не даешь зерно, она становится бесплодна. Каково было бы ваше существование среди красильщиков, из которых половина не умеет ни читать, ни писать и ни один не умеет рассуждать отвлеченно? Я сужу по своему опыту, с каждым прошедшим годом я становлюсь все ничтожнее. Ваше присутствие, безусловно, стало бы для меня благом, но оно стало бы злом для вас. А ведь не меня, Ефета, надо спасать, а дух Израиля, который еще живет в вас. Ну, а драгоценные камни? Ни у одного из нас не на что купить даже осколок, а вне нашей общины ни у одного еврея нет права торговать ими. О, если бы вы были красильщиками! Мы потеснились бы и дали бы вам место. Но ученые? Торговец драгоценными камнями? Когда королевство принадлежит франкам, а завтра, может быть, будет принадлежать грекам или туркам, если не пробудятся от сна египтяне... Разве только Бог сотворит чудо... Вот что я должен был вам сказать. Уезжайте отсюда! Не медлите! И говоря это, я повторяю: будьте дорогими гостями в моем доме. Пока у меня есть кров над головой, хлеб и вино, я буду делить их с вами.

Уже несколько минут я наблюдал, как отец расчесывает пальцами бороду. Я знал, что Кордова живет в нем, как незаживающая рана, и что у него нет планов. Провал *Послания к общинам* задел его глубже, чем казалось, и обстоятельства нашего бегства из Магриба сломили его волю. Мы поднялись на борт галеры, идущей в Акко, только потому, что она первая отплывала из Сеуты и отправлялась далеко. Путешествие могло бы длиться годы, целую жизнь, ни один из нас

троих не посетовал бы на это. Достаточно было только отдаться воле ветра и волн, довериться корабельным снастям. С того момента, как мы пустились в путь, отъезд сам по себе мог быть концом. Отец никогда не намеревался вновь обосноваться на земле Израиля, слишком часто приходилось ему слышать бесконечные жалобы на жизнь там. Я думал, он ничего не ответит Ефету, ибо нечего было ответить. И однако он ответил: он хочет посетить Иерусалим и Хеврон. Потом? Во всяком случае, мы не останемся в Галилее. Может быть, Александрия? Египетские Фатимиды¹⁰⁹ еще проявляли терпимость по отношению к еврейским общинам. Итак, наша судьба все время возвращалась на те же пути.

Лицо Ефета изменилось. У него были светлые, выцветшие, почти бесцветные глаза, проницательно глядевшие из-под густых снежно-белых бровей. Иерусалим! вздохнул он. О, Иерусалим! Как хотелось бы мне пойти с вами, если бы я не был так стар и устал! Я не был там с тех пор, как... С тех пор... Он, Ефет, родился у ворот, называемых Мусорными, в квартале Бет-Эль, спускающемся к долине Кедрона, на крутой улочке, которая продувалась утренним ветром. Ему было девять лет, когда крестоносцы осадили крепость. Девять лет, повторил он, прикрыв глаза тыльной стороной ладони. Я все видел! Все! Как сделать достаточно долгим и достаточно сильным рассказ о том, что совершили воины Распятого в Иерусалиме, чтобы мир всегда помнил об этом? Разве не оставил им тот, чей гроб на этой земле они якобы хотели освободить, завет мира, справедливости и любви? Освободить от чего? Освободить от кого? Греческая и армянская колонии постоянно заботились о Святых местах, и никто никогда и не думал нарушать там порядок. Ни одному паломнику из западного мира не воспрещалось пройти по Виа Долороса – Крестному пути¹¹⁰ и подняться на

Голгофу, и они прибывали без конца в дни Пасхи и Рождества. Прибывали также мусульмане к Мечети Святой Скалы¹¹¹, евреи – к Стене¹¹². И не было сборщиков пошлины. Он, Ефет, рос среди своих. С незапамятных времен, может быть, со времени разрушения Храма Ирода¹¹³, его семья не покидала своего дома, восстанавливая то, что разрушало время, и селясь вне стен дома, когда не хватало места. Сколько их было? Много, уверял Ефет. Много тысяч семей. Зачем нам было считать, сколько нас? Мы все знали друг друга в лицо, по имени и по имени отцов, по привычкам, по занятиям. Были десятки школ, десятки синагог, сотни домов, а вокруг жили семьи арабов, друзов, сирийцев, египтян, как капли масла, разлитые на поверхности воды, соприкасаясь краями, но не сливаюсь. Кто мог бы отличить осла, принадлежащего еврею, от осла, принадлежащего мусульманину или христианину? Когда они не были под седлом, они все вместе щипали траву на склонах Сионской и Масличной гор. Если смотреть с холмов, окружающих город, Иерусалим мог показаться маленьким; он и в самом деле был небольшим. Человек, идущий шагом, за час мог обойти его. Но он был наполнен. Считалось, что в нем более шестидесяти тысяч жителей. Я, сказал Ефет, я совсем не разбираюсь в цифрах. Шестьдесят тысяч человек – мужчин, женщин, детей – сколько это? В высоту? В ширину? В длину? Я знаю только, что горы трупов покрывали все улицы. Я, Ефет, я был там, и я видел. Мне было девять лет, и я помню. Люди из Нормандии, Бургундии, Прованса, Фландрии, со своими женами, детьми, со своим скотом и со своими священниками, разбили лагеря у выхода на Яффскую дорогу, у выхода на Дамасскую дорогу, на горе Скопус. Сколько рыцарей? Сколько пеших воинов? В строю по четыре они могли составить в длину тысячу

шагов. Когда они прочно обосновались, то однажды утром устроили шествие к крепости. Семь раз они обошли вокруг города с песнопениями. Это заняло у них целый день. После этого священники воздвигли алтари и приказали стенам пасть. Весь Иерусалим собрался в дозорных башнях и на крепостных стенах, и все покатывались со смеху. И было из-за чего! Посмотреть только на эти украшенные султанами маски; некоторые из них дули в рог, так что чуть не лопались щеки; другие обращались с молитвами к небу; третий произносили проклятия камням. Конечно, с высоты укреплений некоторые плевали на них. Конечно, некоторые бросали горящую солому, лили кипящее масло, полными ведрами выливали экскременты, бросали корзины с нечистотами. Не из-за чего было устраивать истории — ведь воины были вне досягаемости, по меньшей мере в ста локтях от стен, а стены не сдвинулись даже на волосок. Стояло уже лето, днем было жарко, а к вечеру прохлада опускалась на холмы. Яффские ворота были еще освещены солнцем, а над Львиными уже стояла луна. Что, зрешище будет длиться всю ночь? Когда они поняли, что стены решительно отказываются повиноваться, они страшно рассердились, между ними начались споры и они смешно жестикутировали, а в конце концов повернули к лагерю. Целую неделю слышно было, как они пилили дерево и стучали молотками. Я, Ефет, я не очень понимал, что готовится, но по лицам людей я видел, что все не так просто. Военачальник, на которого была возложена защита Иерусалима, был египтянином по имени Ифтихар. Это был бравый конник с пышными усами, он громко говорил и еще громче кричал, но под командой у него было мало людей, способных выдержать осаду. Бедуины. Суданцы. Быстрые, на лошадях, с копьями и ятаганами, как раз то, что не годится для защиты осажденной крепости.

Жители нагромоздили камни, замочили охапки соломы в варе. У Иерусалима были толстые крепостные стены, он должен был выстоять. Просто из предосторожности греки и армяне, около тысячи семей, нарисовали на входных дверях кармином большие кресты и укрылись в подвалах. Несколько евреев последовали их примеру. Их впоследствии пощадили, за некоторыми исключениями. Тонкий стратег, Ифтихар ожидал штурма со стороны Сионских ворот, и там между зубцами стены были наготове его катапульты. Крестоносцы подошли со стороны ворот Ирода с метательными орудиями, лестницами и высокими, как стены, вращающимися башнями. Меньше чем за час они пробили брешь. Теперь они могли начинать освобождать. Если вдуматься, освобождать — настоящая мания западных народов. Они всегда готовы сеять горе и смерть ради освобождения кого-либо или чего-либо. Мне повезло. Я, Ефет, я забрался в пустую выгребную бочку. От нее исходило такое зловоние, что ни один рыцарь, ни один пеший воин или писец не осмелились приблизиться к ней, и это спасло мне жизнь. Но я все видел. Они работали методично, ножом и кривой саблей, не торопясь, как если бы впереди у них была вечность. И в каком-то смысле так оно и было, ибо за эту гнусную резню им была обещана вечность. Евреев — мужчин, женщин, детей — загнали в синагоги и иешивы и сожгли заживо. Мечеть Аль-Акса тоже пытала, набитая до отказа живым мясом. Я видел, как лучники хватали младенцев за ноги, каблуком разбивали им череп и еще трепещущих бросали в огонь. В узких улочках раздевали догола и насиловали женщин, а потом разрезали их на куски. Среди ночи, когда установилось спокойствие, потому что освобождение свершилось по всему городу, я, Ефет, я вылез из бочки. Нет! Нет, я не пощажу вас и изложу все подробности. Все мостовые

Иерусалима толстым слоем были покрыты вспотевшими тулowiщами, раскинутыми внутренностями, растекшимися мозгами, и все это плавало в полузастившей красноватого цвета жиже, которая уже начала издавать сильный запах. Полная луна, совсем круглая, медленно плыла над укреплениями. Позже, много позже, я сделал некий подсчет. Если допустить, что среди Христовых воинов было несколько праведников, несколько робких, несколько брезгливых и вычесть их, то можно записать на счет каждого из оставшихся двадцать убийств за один лишь этот день. Взятая сама по себе, эта цифра не является чем-то непомерным. Вероятно, можно делать эту работу и лучше. В Иерусалиме это была поштучная работа, что намного труднее и дольше. Нужно вытащить жертву из укрытия, схватить ее, удержать, она отбивается, она кричит, она умоляет, иногда она имеет наглость защищаться и даже пытается в свою очередь нападать; нужно проткнуть ее, а меч весь липкий, его трудно удержать в руке, он скользит, поворачивается или наталкивается на кость и надо браться за то же дело два, три или четыре раза, нужно убедиться, что рана достаточно велика, чтобы ушла жизнь и чтобы пришло освобождение, не говоря уже о том, что день жаркий и самая лучшая работа совершается медленнее из-за пота и жажды и что время от времени необходимо дать себе передышку и попить воды; нет, поистине, двадцать убийств на писца или мирянина — тут нечего придираться. Их было три или четыре тысячи, набросившихся на город, убитых было пятьдесят тысяч, счет сходится. Я, Ефет, я сумел ускользнуть из города. Одна семья в Тверии подобрала меня; потом другая, в Цфате, и, наконец, я попал сюда, к красильщикам. Епископ Антиохии и епископ Тира устроили великие празднества и воздали небу хвалу за то, что бесчестье Христа отмщено наконец. Они сочли

своим долгом приобщить к мстительности и ярости того, кто проповедовал любовь и прощение! Я не знаю, организовали ли увеселения папа и другие епископы Запада. Воистину, им было отчего радоваться и чем гордиться. Пятьдесят тысяч убитых в Иерусалиме — это богатая жертва, принесенная Богу, и сам Бог должен был быть доволен. Я, Ефет, я никогда не имел охоты вернуться в Иерусалим. Но я пойду с вами. Я проведу вас по надежным тропам, которые я знаю. Нужно только немного подождать, пока пройдет лето и с ним наплыv паломников. Мы пойдем ближе к праздникам. Я, Ефет, говорю вам это.

За стеклами белел рассвет. Улица оживилась, красильщики шли в мастерские. Да, сказал отец. Мы пойдем помолиться в Иерусалим. Потом мы покинем эту несчастную землю.

* * *

Следовало предполагать, что Ефет сказал истину и наше место было не среди выживших в Иерусалимском королевстве. Я считал не менее истинным, что ни для кого нет места, предназначеннego только для него, где бы то ни было. Существуют варианты, предлагаемые на выбор, и ситуаций, которые либо принимаешь, либо отбрасываешь. Человеку придано вертикальное положение, и у него есть ноги, чтобы уходить, и руки, чтобы удерживаться на месте, и дана голова, чтобы приказывать и ногам, и рукам. Если дух угасал в общине Акко, следовало ли повернуться к ней спиной или пытаться возродить его? Если уровень гигиены был там в плачевном состоянии, следовало ли только констатировать это или необходимо было действовать, чтобы стало лучше? Тот, кто приобрел какие-то знания и пользуется

ими только для своего личного удовлетворения, подобно скupцу, сидящему на своем добре, достоин осуждения и анафемы.

Не настаивая на этом прямо, я сумел убедить отца сопровождать меня. Мы посетили мастерские красильщиков, одну за другой, и это было безутешное зрелище. Я не знаю, материален ли ад и занимаются ли там стряпней; я не знаю, убедительно ли сравнивать такую жестокую действительность с туманным образом. Мне уже до этого приходилось видеть рабов, закованных в кандалы, каменотесов, с легкими, набитыми кремнеземом, носильщиками, надрывающихся под своей ношей, гребцов на галерах, убивающих свою жизнь на морских волнах; но если раба принуждают кнутом работать, то в какой-то мере его охраняет рыночная стоимость, его жизнь оценивается возрастом, силой, покупной ценой: он стоит чуть меньше, чем вол, пашущий землю, и чуть больше, чем вьючный мул, и никто не желает, чтобы его рабочий скот сдох.

Жизнь красильщиков Акко, очевидно, не стоила ничего, и каждый нес в самом себе кнут принуждения. В равной мере поденщик, раб и надсмотрщик, три личности здесь были сосредоточены в одной, и от этого вваливаются глаза и щеки, сходит кожа на руках, опухают ноги от отеков. То, что называлось мастерской, было сделано из прогнивших от сырости досок, меж которыми оставались частые просветы, и проникавший внутрь воздух не мог удалить сладковатые испарения, выплевываемые чанами для обезжикивания и проправы, и горячий пар от котлов, где заваривались краски. Ноги женщин, полошущих ткани, омывались потоком красноватой грязи, и руки их по плечи были погружены в ту же жидкость. Дети возили чистую речную воду. Кому принадлежали мастерские? Всем и никому; королю, без сомнения, как и Квадумен, улица, дома, люди.

Красильщикам принадлежало только право выбирать: медленно губить себя или сразу покончить с собой, и в этом смысле они, по видимости, были свободными людьми. Они не стоили ничего, а приносили много дохода.

Я задумался о необходимости врачебной помощи, о предупреждении заболеваний, о том, как защитить работающего человека от преждевременного проржавения всего организма. И пока я не мог глубоко изучить это, я вооружился корпией и мазями, чтобы перевязывать открытые раны, смягчающей микстурой и рвотным настоем против мокроты, опустошающей грудь, наполненную испарениями. Я переходил от одного к другому со своими снадобьями, так как никто пока не соглашался идти ко мне.

Безразличие красильщиков к своему состоянию вызывало у меня такое же беспокойство, как и общий упадок, постигший их. К чему менять то, что существует со временем возникновения ремесла? — говорили мне. Нам нужно только зарабатывать немного больше, платить меньше податей и иметь чуть-чуть времени для отдыха. Перевязки, микстуры — это хорошо для богатых. Мы живем без лечения с тех пор, как Богу было угодно призвать нас в этот мир, и все те долгие годы, которые Он отпустил нам, а Он хорошо видит, как нам тяжко. Если Он не оказывает помощи, значит нельзя оказать помощь. К чему все это? Мне приходилось спорить, убеждать. В конце концов разум одерживал верх, и красильщики стали позволять лечить себя. Я рассчитывал на благотворное воздействие бальзамов и снадобий, чтобы укрепить мое влияние.

Отец тоже нашел себе дело. Детям давалось четверть часа, чтобы перекусить, и у отца возникла идея собирать их в это время и обучать алфавиту, ведь они не знали букв. Но это значило идти против их естественных желаний и против воли

родителей. Чему это может послужить, уметь читать! Когда-то наши отцы и деды учились. К чему это привело их? К тому, что их перерезали и сожгли вместе с книгами. Достаточно того, что Ефет рассказывает нам о написанном. Такие прекрасные истории, что сердце разрывается, но в них нет ни слова правды. А ведь Господь, вероятно, хорошо знает ремесло красильщика, если Он создал столько красок в небесах и на земле. И опять приходилось спорить и убеждать. В конце концов, все оказалось легче, чем думалось вначале. Там, где Ефета и слушать бы не стали, уступали отцу и мне, ибо мы были чужестранцы, прибывшие издалека, ибо, может быть, сама судьба послала нас. Спорить с нами – значило уже признать, что мы можем дать нечто. Ни мужчины, ни женщины, ни взрослые, ни дети не проявляли ни малейшего интереса, но и не мешали нам действовать, хотя и не считались с тем, что мы работаем добровольно и что за все отец платит из собственного кармана.

К счастью, и на этот раз выручил нас Давид. Едва успели мы прибыть в Акко, как он завязал деловые сношения с греком, державшим лоток в порту напротив причала. Они стали торговать новинкой на берегах Галилеи – памятными мелочами из Святой земли, и каждый паломник хотел привезти их близким, оставшимся в его стране. Кольца, подвески, ожерелья, перстни хорошей работы из серебряной нити по обычаям Кордовы и такой малой цены, что ни один покупатель не мог оставаться безразличным. Вскоре двух мастеров, оплачиваемых греком и обученных моим братом, стало не хватать и пришлось набрать еще и других. И случай помог делу. При разгрузке какого-то каравана Давид обнаружил мешки, полные камней из медных копей царя Соломона. Этот красивый, зелено-голубой однокаменный или с прожилками камень легко поддается

расслоению, шлифовке и отделке и может по справедливости соперничать с индийским корундом. Давид приобрел часть груза за бесценок. Сделанные им изделия выглядели так благородно, что мгновенно раскупались, и греку постоянно не хватало их. Брат держался в тени, впрочем, не задумываясь об опасности, которой подвергал себя. Его сотоварищ, хотя и был жаден, оставался честен и не пытался переменить заключенный на словах договор. Торговля процветала, и с каждой неделей Давид давал отцу все большую сумму, часть которой шла на лекарства, а другая — на наше прожитие.

Окажется ли утверждение Ефета ошибочным и мы найдем свое место в городе Акко? В одном он был прав: умственный труд не имел здесь ценности. В свободное от занятий медициной время я стал обдумывать обширное философское исследование. Оно должно было быть попыткой синтеза истин, данных нам в Откровении, и истин, добытых опытом человека; или, чтобы быть более точным: синтез Писания и учения Аристотеля. Сравнивая их в их сущности, я находил больше сходств, чем расхождений, и у меня было ощущение, что строгий анализ обязательно сократит или даже совсем устранит многие разногласия, по виду кажущиеся важными. Этот труд должен был вывести меня к диалектике, столь же тонкой, сколь и строгой, и отныне я считал, что у меня верная исходная точка. Я не мог допустить, что между гением греков и гением евреев зияет непроходимая пропасть. И там, и здесь человеческий разум был близок к совершенству, и по строю мысли совершенство должно было стремиться к единению. Пройти от одного строя мысли к другому, как акробат по канату, — вот каковы были мои устремления. Я мечтал об этой книге, но не написал даже первой строчки: как-то не лежало сердце. Для кого писать ее, раз Израиль

разучился читать и на своей древней земле, и в далеких странах? В действительности занятия медициной удерживали меня слишком сильно, и мой замысел все откладывался. Прежде чем заняться вопросами духа, следовало привести в порядок физическое здоровье. Я слишком страстно отдавался искусству врачевания, как если бы оно было создано для моего личного удовлетворения.

Я добился, конечно, некоторых успехов и подытоживал их во славу себе. Я был глупцом! Я не замечал, что лица красильщиков, вначале безразличные и равнодушные, все больше замыкались при моем приближении. Я принимал тягостное молчание за одобрение, ускользающие взгляды — за ободрение, отвергающие мою помощь жесты — за благодарность. Потом произошло что-то, чему я не придал особого значения, ибо был далек от мысли, что этим завершится моя практика. Однажды утром у проправочного чана я увидел человека, харкающего красной мокротой. Почти силой я подверг его врачебному осмотру: у него была острая форма чахотки. Уверенный в своем авторитете, я приказал ему немедленно оставить работу и идти лечь в постель и обещал навестить его. Тяжело дыша, он ответил, что харкает не кровью, а кармином и что это пройдет в течение дня безо всякой помощи. Жена его работала в соседней мастерской полоскальщицей, и я позвал ее, чтобы она помогла вразумить мужа. Когда я объяснил, насколько серьезно заболевание, она мгновение колебалась, но потом, ничего не сказав, вернулась к работе. Не желая уронить себя в глазах этого упрямца, я дал ему кровоостанавливающее, надеясь, что он станет более покорным. Я оцепенел, увидев, как он бросил пузырек с микстурой на землю и вернулся к своему чану, на ходу выплевывая в ладонь красную мокроту.

Мне следовало немедля поговорить с Ефетом. Он первый заговорил со мной. К нему еще до

этого приходили красильщики и просили вежливо, но твердо сказать мне, чтобы я больше не занимался их делами. Так я узнал, что накладываемые мной повязки часто срывались, как только я поворачивался спиной, что даваемые мной рвотные и мягчительные снадобья сразу выливались в сточные желоба, потому что корпия делала движения тяжелыми и замедленными, а микстуры были слишком горькими. И еще более серьезное: один мальчик, начавший различать буквы, однажды непочтительно ответил своему отцу, что угрожало общественному укладу, и за это вся корпорация возлагала ответственность на нас. И вот было решено, что Маймонам больше не будет доступа в мастерские и что если они пренебрегут запретом, то рискуют быть выброшенными из общины.

Отец, по своему обыкновению, принял обиду невозмутимо. Я — нет. У меня выступили слезы ярости и печали — слезы, которые и старость не иссушила, — и я почувствовал потребность в просторе, в свежем воздухе. Я оседлал коня и помчался в сторону дюн навстречу ветру. Когда я приблизился к берегу и конь с радостью почувствовал под копытами песок, я испытал некоторое успокоение. У моря я не встретил ни души, и уединение тоже было для меня благотворно. Вдалеке сквозь рваную дымку тумана показалась деревня Каифа¹¹⁴ и нависшая над ней гора Кармел, которая, казалось, шла по морю.

В давние времена, после смерти Соломона властвовал над Израилем царь Ахав, сын Амврия, и был он царем нечестивым и причинил многим зло. Его первой женой была кровожадная Иезавель, и она поклялась истребить всех пророков Господних и заставила Ахава построить жертвенник Ваалу, ибо поклонялась ему. Но начальствовавший над дворцом по имени Авдий скрывал пророков Израиля в пещерах Самарии, по пятьдесят в каждой, и питал их хлебом и водой, чтобы они

выжили во время засухи и голода, которыми Бог покарал царство. В течение трех лет с неба не упала ни одна капля дождя, и трава полностью исчезла, и скот погиб от жажды, и много людей умерло от истощения и слабости. И сто пророков жили во здравии в пещерах в ожидании, пока Ахав и Иезавель признают свои заблуждения и искупят свои грехи. Когда прошли так три года, Господь послал Илию навстречу царю, и Илия собрал здесь, на вершине горы Кармел, между небом и землей, весь народ Израиля, дабы совершить чудо перед четырьмястами пятьюдесятью пророками Ваала. И чудо свершилось. И народ Израиля вернулся к Предвечному Господу своему. И Илия отвел четыреста пятьдесят пророков Ваала к потоку Кишон и там заколол их собственными руками.

Когда я приблизился к вершине горы Кармел, то увидел в вышине на полянке колокольню. Это была часовня, которую держали два монаха и один сборщик пошлины. Они предложили мне посетить алтарь, воздвигнутый Илией. Я отклонил предложение, ибо знал из Писания, что чудо произошло не среди деревьев, где была построена часовня, а на юго-востоке горы, на высоком выступе, нависавшем над морем. Не послушавшись сборщика податей, я двинулся вперед по тропам и вскоре достиг отрога, который мог быть тем, что описан в Книге. Это была полукруглая площадка, открытая со стороны моря, и в середине ее что-то звонко цокало под копытами коня. Я разгреб мох и увидел четыре плиты, расположенные под прямым углом на площади в восемь квадратных локтей. Без сомнения, это было творение человеческих рук. Хотя поверхность камня была вся изъедена непогодой и растительностью и хотя было всего четыре камня, а не двенадцать, как сказано, можно было различить с краю желоб, выдолбленный для стока воды,

которую лили прислужники. Но уже на море опускался вечер. Я пустил лошадь пастись и разровнял мох. Мне нужно было поразмыслить о себе и о своем народе, что, в общем, едино.

Ночь была на редкость светлая, небо усыпано звездами, море мерцало, как серебряный покров. Изредка легкий ветерок шевелил кроны сосен, и их шум казался говором, доносившимся из глубины веков; я ощутил легкую дрожь. Даже не предполагая заранее, сколько мне осталось жить, я знал, что достиг середины своего существования. В лучшем случае, во второй половине свершатся обещания первой и не добавится ничего нового, то есть продолжится и углубится диалог, начатый с самим собой, но уже под сенью моего пробуждения. Мне ничего не стоит повторить признание, что мои стремления были велики и что они все время росли и превысили возможности. Итак, я наполнил свое гумно всем зерном и всем сеном, предложенным познанием мира, и взял на себя труд перебрать и перемолоть его, чтобы сохранить для выпечки хлеба только лучшую муку. И второе признание, более трудное: я хотел сначала сам насытиться этим хлебом. Я серьезно задумался о своем прошлом. Я делил человечество только на два вида людей: необразованных, обреченных на несчастье, и ученых, уготованных блаженству. Может быть, я и считал верным, что прегрешения одних смягчались добрыми делами других, но такое перемещение не казалось мне существенным. Осознавал я это или нет, но целью моего замысла было определить свое место и обеспечить мое собственное спасение. Эгоистично, я признаю это. Поскольку мне предлагался выбор между неизбежным несчастьем и возможным счастьем, как мог я колебаться? Я хотел быть безупречным и, думаю, ничего не упускал для достижения этого. В глубине души негромкий внутренний голос не переставал осто-

рожно нашептывать, что уравнение составлено неправильно и что мои расчеты неверны. Опыт, который я приобретал в жизни, говорил мне то же самое еще более ясно. Неизбежное несчастье и возможное счастье не суть противоположности, а — одно и то же состояние. Человечество не разделено на два клана: невежды с одной стороны, а утонченные люди — с другой, нет, одни и те же люди, сжатые с одной стороны природным естеством, а с другой стороны — требованиями цивилизации, одинаково страдают в борьбе за выживание. Если мне нужно было еще доказательство, небо Галилеи дало мне его. Огромное, светлое, непостижимое, с дождем падающих звезд, со своим безмолвным шепотом, оно возвещало мне мою незначительность и неприятие меня, как за несколько часов перед тем это сделали красильщики. Мои закрома были полны, но мне нечего было дать ни Богу, ни людям. Ибо давать — это целая наука, а я пренебрег и освоением, и применением ее. Я наивно понадеялся, что это содеется само собой, как своего рода извержение, как излияние из-за сверхнаполнения. Я ждал часа. Я ждал зова, ибо рано или поздно Господь дает знак блаженным. По правде, с самых юных лет я был всегда начеку. Быть тем, с кем говорит Господь, навій¹¹⁵, — пророком. Быть Илией или никем. Быть голосом, к которому прислушиваются. От природы человеку дано формировать слова в гортани: большинство издает только шум, лишь у некоторых он превращается в речь. Если красильщики отвергли меня, значит, я не сумел говорить с ними. Илия, может быть, заколол бы их, но заставил бы слушать себя. Если поразмыслить и представить, как он описан нам, он был просто кровожадный мужлан, разве что он был более других послушен приказам и закалывал из добрых побуждений. В глубине души я вовсе не был уверен, что есть добрые или злые побуждения,

позволяющие убивать людей; судьба сама заботится об этом, нет нужды помогать ей; и к этой простой истине красильщики были ближе меня. Но не все пророки Израиля обязательно были убийцами. Существует традиция предсказывать наихудшее, что сравнительно удобно, потому что плохое случается почти всегда, хотя и оно не всегда обязательно свершается. Ни у одного народа не было такого обилия чудес и пророков, а это значит, что наихудшее всегда было угрозой. Не сказано, сколько пророков убили по приказу Иезавель, но сказано, что Авдий спас сто, по пятьдесят в пещере, и что четыреста пятьдесят еще раньше перешли к Баалу.

Совсем не мало людей беседовали с небесами, и их положение, без сомнения, имело определенные преимущества. В то время как народ погибал от голода из-за засухи, посланной Богом, чтобы покарать только царскую чету, сто пророков в своем укрытии имели и хлеб, и воду; значит, Провидение дорожило их жизнью больше, чем жизнью крестьян. Неисповедимы пути такой справедливости, которую никто не должен понимать, но все обязаны восхвалять. И потребовалось три года подобной косности и застоя, прежде чем Илия положил этому конец чудом и убиением на том самом месте, где я теперь стоял. Горе! Горе народам, которым нужны чудеса и пророки! Это — установление истины, а не проклятие. Пока Израиль и Иудея жили в лишениях и бедности, им время от времени требовался один пророк для скверных дней. Избыток пророков возник при изобилии, а оно само по себе умножало наихудшее. И наихудшее свершилось. Народ распался. Люди рассеяны и преследуемы во плоти и в духе. И над всем этим великое молчание неба, столь разговорчивого прежде! Я очень хорошо понимал, почему вдруг стало недоставать пророков. Не требовалось больше предрекать бедствия, угрозы.

жать карами, показывать пример. Нужна была новая порода пророков, а она медлила и не нарождалась; понадобилось новое толкование Учения, а оно медлило и не появлялось. Нужно было помогать людям жить, как они могут, в условиях, которые даны, в надежде, которая еще позволена. Я впряжен в создание нового понимания Учения и довел его до конца: четырнадцать книг, созданных за десять лет упорного труда¹¹⁶, еще не переворот, но определенный поворот, достаточно новый, чтобы быть плохо понятым и злобно отвергнутым, как я был отвергнут красильщиками. Но я, повторяю это еще раз, не искал побед для себя. Я еще ждал знамения свыше. Не слишком ли поспешно судил я о своих намерениях? Я считал справедливым, чтобы отныне слово было обращено к тем, кто знает, а не к тем, кто придумывает басни. Если в поэзии есть истина, то ведь и в истине не меньше поэзии. Во времена, когда пророков было великое изобилие, Господь охотнее всего выбирал посланцев среди простых людей, одетых в звериные шкуры и в лохмотья, пастухов, скотоводов, плотников, погонщиков верблюдов — они были провозвестниками его гнева, предвестниками суда, носителями возмездия. Тщетно искать праведника в этой толпе правдоносителей, мудреца среди этих вершителей чудес, знатока меж этих глашатаев. Пророком был тот, кто провозглашал себя им. Он говорил с Богом притчами и требовал, чтобы ему повиновались. Праведник, мудрец и знаток стараются беседовать с людьми и хотят понимать и быть понятыми, ради того, чтобы из растерянности родилась ясность, как реальный мир родился из хаоса. Слово — как запечатанная книга, но настало для нас время снять печати с книг, открыть мертвые буквы и извлечь их содержание, отлить метафоры в правила. Иди! сказал мне мой внутренний пророческий голос. Возвращайся к твоим занятиям, к твоим

размышлениям, к твоим сочинениям! Иди к твоим ближним и принеси им в знак союза твою помощь, ничего не требуя взамен, ни покорности, ни признания, не спрашивая их, кто они и откуда, но спроси, в чем их страдание, и если они сто раз отвергнут тебя, приблизься к ним еще раз, упорно и смиленно, не считая себя героем, до тех пор пока они не поймут тебя и не приемлют от тебя и добро, и зло, и тогда ты станешь тем, на кого уповают в беде.

В ветвях начали просыпаться птицы. Близился рассвет. Еще немного терпения, и вокруг станет светло, как стало светло у меня на душе. На Кармел поднялся уже старый человек. С наступлением дня с горы спустился новый человек.

* * *

Кончалось лето и с ним наплыv паломников. Но суета в порту не уменьшалась; только теперь там можно было видеть больше носителей тюков, чем носителей крестов, и поредели ряды нищих и торговцев реликвиями. Давид удачно продал свою долю в деле некоему армянину, который рвался к богатству. Ничто больше не удерживало нас у берегов Акко, поскольку все мои попытки быть полезным красильщикам провалились.

Мы пустились в путь к Иерусалиму не без опасений. Вел нас Ефет. Несмотря на преклонный возраст, он прекрасно держался в седле; но, не желая утомлять своих лошадей, мы продвигались медленно, как в библейские времена, как течет старинная легенда. Мы ехали по мягким землям Нижней Галилеи, по краям Изреельской долины, среди холмов, которые видели, как проходили стада патриархов из Ура Халдейского на пути к обетованной земле Ханаана. *Иди из дома твоего в место, которое Я укажу тебе, и Я произведу от*

тебя великий народ. Никогда прежде переселения пастухов не вызывали таких водоворотов в истории. И Аврам до того как стать Авраамом, прародителем множества людей, взял Сару, жену свою, и Лота, сына брата своего, и прошел с ними по земле сей до места Сикема, до дубравы Море, а тогда жили в этой земле хананеи. Ибо была там сочная трава, та самая, в которую погружались сейчас копыта наших коней, — вдалеке от дорог, где кишили эдомитяне. *Потомству твоему отдаам Я землю сию.* Старый пастух и его бесплодная жена, может быть, вдыхали теплый аромат этой кипарисовой рощи и этого кедрового леса. Мы ехали, потонув в мыслях, в вихре образов, по ковру воспоминаний, и легкий ветерок насыщивал у моих ушей неясный напев и отзвук несбывшихся обещаний. Изредка Ефет поднимал руку и указывал на что-то вдали, стрелу колокольни или нагромождение серых камней, и он произносил только одно таинственное слово, например Нацрат, и это был Назарет; Айн-Ганим, и это был Дженин; Сикем, и это был Наблус, Бет-Эль, и это был Бейтин. У меня было чувство, будто я перевоплощаюсь в символ, в представление, до такой степени легенда оживала в действительности и действительность обретала плотность легенды. Уже не Ефет вел нас, а сам Авраам, и шли мы в Шалем¹¹⁷, в наш так никогда и не обретенный мир.

Мы прибыли в Иерусалим на пятый день. Я не хотел ничего знать об этом оскверненном городе, отданном монахам, воинам и сборщикам пошлин. В наших сказаниях есть другой Иерусалим, истинный, расположенный высоко в небесах, на вертикали земного города, нетронутый и великолепный, вечно возрождающийся, такой, как во времена Соломона, и хранимый до той поры, когда настанет его час и когда Бог решит, что его час настал. Да, я построил тебе дом для обитания,

жилище, где ты будешь находиться всегда, дом, сделанный из хорошего камня, обтесанного в каменоломнях, чтобы не слышался звон железного орудия на священной горе, где был скреплен завет, и я обшил этот дом и внутри и снаружи кедровым деревом и вырезал на нем цветы и пальмы и обложил кедровое дерево по всей протяженности его чистым золотом и сделал сосуды для омовения из меди полированной, и жертвенник, и стол, и светильники, и щипцы, и чаши, и курильницы из чистого золота. И остался от этого кусок Стены¹¹⁸, и там растут иссоп и листовик сколопендровый. Три дня и три ночи провели мы в пыли среди развалин Стены в посте и в молитве, души наши находились высоко в небесном доме и их возвращали на землю силой только голоса сборщиков пошлин; наше упрямое пребывание перед тем, чего уже не было, с восхода до заката стоило нам четырём цены доброго коня. На Храмовой площади франки устроили дом воинов в мечети Святой Скалы и хозяйственный двор в развалинах мечети Аль-Акса. В месте, где должен царить мир, где не должен был быть слышен звук железного орудия, беспрестанно раздавался звон шпор, мечей и доспехов.

Только один короткий дневной переход отделял нас от Хеврона и от купленной Авраамом за четыреста сиклей чистого серебра пещеры Махпела, где покоятся наши патриархи. Арабы построили мечеть на месте нашего святилища; эдомитяне переделали ее в церковь. Минута молитвенной сосредоточенности у гробниц стоила нам тех же денег, что заплатил за пещеру когда-то наш праотец. По дороге Ефет показал нам вдали город Бет-Лехем, *Дом хлеба*, переименованный эдомитянами в Вифлеем, город, где родился царь Давид, первый монарх объединенных Иудеи и Израиля, и там, в Бет-Лехеме, он был помазан священным елеем, как это написано, и в ознако-

нование на небе появилась звезда, которая уже не угасала над городом.

Внезапно я почувствовал себя усталым и отяжелевшим от этого паломничества в царство теней. Уже начался период дождей. Ефет страдал от лихорадки и злого кашля. Нам пришлось поторопиться с возвращением, не заботясь об опасностях, поджидавших нас на дорогах. Менее чем через неделю наш хозяин, успев выздороветь благодаря моему врачеванию, плакал, прощаясь с нами, а мы поднялись на грузовое судно, одно из многих, носящих имя "Алекс" и осуществлявших постоянную связь между Акко и Александрией.

* * *

Война догнала нас на земле Египта. Если можно сказать, что история — это застывшая политика, то политика не что иное, как текущая история; в ней можно утонуть, если попадешь в завихрение между волнением на поверхности и мертвой зыбью, а самыми обманчивыми являются тихие воды. И однако так и живут народы, и судьбы их зависят от невидимых течений.

Мы прибыли в Александрию в неудачный момент, ибо у города как раз было тайное свидание с историей. Будь мы более проницательны или лучше осведомлены, мы могли бы догадаться об этом или предвидеть; но судьбы людей осмысляются лишь после того, как они совершились, а мы были ослеплены и утомлены тем, как нас швыряло в поисках места, где можно бросить якорь. Испытав превратности судьбы, мы стали непрятязательны. Мы стремились обрести только несколько квадратных метров, место, где можно было бы разместить стопки книг и лечь самим; и соседей, с которыми можно было бы обменяться несколькими словами и мыслями. В этом смысле

Александрия была заманчива.

Александрия рождена из моря, не из земли. У нее высокий лоб, открытый взгляд, глубокое дыхание. В ней обменивались разными товарами и разными идеями. В ней были смешаны разные люди в такой пестроте, что единообразие не грозило им. В ней были школы, университет, воспоминание о сказочной сожженной библиотеке, которую почитатели книг в течение веков терпеливо пытались восстановить. Была в ней также еврейская община из трех тысяч душ, правда, придерживающаяся обрядов караимов¹¹⁹, но очень сплоченная и открытая, расположенная к обсуждениям, как об этом свидетельствовала переписка, которую отец поддерживал из Кордовы и Феса с главой общины — нагидом¹²⁰ Звулуном. И, наконец, Александрия была прозрачным городом, прорезанным такими прямыми улицами, что от одних городских ворот до других взгляд проникал либо до зелени полей, либо до синевы моря. И ветер, и люди свободно гуляли там.

Звуун, хотя и не был особенно расположен к нам из-за разногласий в теории, принял нас у себя в доме в ожидании, пока сможет раздобыть нам кров в этом перенаселенном городе, где постоянно свирепствовала нехватка жилищ. Едва мы успели расположиться временно и пуститься на поиски обиталища, как на нас обрушилась война. Чтобы дать представление об этих событиях, я должен немного отступить назад и бросить на них взгляд сверху. Как тебе известно, в Египте правила династия Фатимидов, отколовшаяся от суннитской династии Багдада, объявившей себя единственной хранительницей истинной веры и время от времени призывающей к священной войне против братьев по исламу. В действительности же халифы Багдада, которых считают сирийцами, и атабеки Алеппо, которых считают турками, жаждали распространить свою власть на

плодородную долину Нила и ее богатства, столь неравномерно поделенные. С начала века на нашей древней земле, текущей молоком и медом, обосновалась третья сила: королевство франков в Иерусалиме — и оно тоже жаждало поглотить Египет. Три огромные разинутые пасти — это уж было слишком. Ни одна не рисковала попытаться укусить, ибо сразу начинали тякать две другие; и это напряженное соперничество предоставляло отсрочку Египту.

Но за год до нашего приезда в Фустат Эль-Кахири, который вы на Западе называете Каиром, произошел переворот во дворце. Халиф Аль-Зафир был убит, и власть захватил узурпатор Диргхам, о котором говорили, что он был предводителем войска наемников. Не имея поддержки изнутри и чувствуя угрозу извне, этот военачальник решил вступить в союз с турками, чтобы защититься от франков, и тут же вступить в союз с франками, чтобы защититься от турок. По его мнению, это был удачный политический шаг. И действительно, ход был неглуп и мог бы удастся. К несчастью для Диргхама, его союзники слишком всерьез приняли свои обязательства. Армия франков и армия турок, ничего не ведая одна о другой, пустились в путь, чтобы защитить Египет, то есть захватить его, может быть, без боя и кровопролития. Обе армии нос к носу столкнулись у Александрии, невероятно удивленной этим обстоятельством. Торговцы, купцы, ремесленники, ученые ничего не выигрывали, а теряли все в звоне боевого металла, который внезапно оглушил их. Первыми в ворота города постучали турки под водительством Салах ад-Дина. Их вежливо впустили. Франки под водительством короля Амори расположились вокруг для осады. С утра до вечера с той и с другой стороны стреляли из катапульт, метали стрелы, швыряли горящие факелы. Все сады сгорели, все луга и

поля были вытоптаны, многие дома сожжены и многие бедняки погибли от голода. После трех месяцев таких идиотских развлечений дело нисколько не продвинулось, и тогда Салах ад-Дин и Амори встретились в шатре и обсудили положение. Они договорились, что каждый с войском уйдет своей дорогой и оставит в покое Египет. В Фустат Эль-Кахире полководец Диргхам облегченно вздохнул и совершил продолжительный визит в свой гарем. А Александрию разрушили.

Девяносто дней осады мы прожили в подвале Звулуна в постоянных спорах с ним. Если ты не знаешь, что такое секта караимов, я на всякий случай расскажу о ней, хотя это в какой-то мере второстепенно для моего повествования. Караимы признают закон Моисея и все, что сказано в Писании, но отвергают Устную традицию, признанную и узаконенную Талмудом. Такое заблуждение не было бы столь существенным само по себе, если бы Звулен не оказался воинствующим проповедником: он требовал одобрения и стремился всех обратить в свою веру. Отец противопоставлял ему строгость традиции. Мое мнение было более мягким. Я был готов признать, что мнения и сомнения Звулуна достойны уважения, как, впрочем, любые мнения и сомнения, основанные на разумных доводах, при условии, что он не станет столь пылко обращать в свою веру других, особенно в то время, когда происходит упадок иудаизма во всем мире. На этом наш диспут мог завершиться, ибо было много других, более срочных и требующих решения проблем, таких, как головокружительный взлет цен на продукты и воду, нехватка свечей, угроза эпидемий и растущая тревога из-за падавших повсюду ядер. Благодаря предприимчивости Давида, у нас было все необходимое. Он был способен сорвать плоды с бесплодного дерева, собрать муку с голого камня, заставить бить ключом воду из стены в

подвале, настолько легко он приспосабливался к новому положению. Самое неприятное заключалось в том, что Звулун и катапульты мешали мне сосредоточиться на моей работе. Задолго до снятия осады мы, отец и я, решили, что покинем Александрию, как только это станет возможным.

И вот, в то время как Салах ад-Дин, верный данному слову, вывел своих конников из стен города и направился к Алеппо, король Амори на обратном пути вдруг утратил память: он просто забыл о заключенном соглашении, вновь повернул свою рать и вошел в Александрию, тут же объявив ее франкским городом, принадлежащим короне Иерусалима. Безусловно, это был не первый случай, когда монарх проявлял вероломство, и история привыкла к более серьезным изменениям; но молодого эмира, турка с гор, предательство обожгло в первый раз. Его представление о чести вообще и о чести королей в частности можно было бы назвать наивным, настолько оно было устаревшим. Салах ад-Дин поведал мне впоследствии, что он даже заболел от стыда и досады. Он дал себе торжественную клятву не иметь ни отдыха, ни покоя, пока не выбросит этого коварного пса из Земли плодородного полумесяца. Ты знаешь, что он сдержал слово. А пока, как и Египетский халифат, франкское королевство Иерусалима получило отсрочку. Амори тем временем обложил военачальника Диргхама податью в сто тысяч золотых монет и послал знатного сборщика податей в рясе, епископа Уга из Кейсарии, в столицу собрать причитающиеся деньги.

Случаю было угодно, чтобы мы оказались в одном караване. Не знаю, как епископу стало известно, что я врач. Он поровнялся со мной, пустил коня шагом и стал меня расспрашивать о моем происхождении и о моих занятиях. Епископ хорошо говорил по-арабски, ибо родился в Кейса-

рии. Несмотря на то, что епископ был еще молод, самое большое лет двадцати пяти, он весь был пропитан жеманством и меланхолией. Но у него было красивое лицо и прямой взгляд. Исчерпав предварительные вопросы и воздав должное славе Кордовы, он спросил у меня, сведущ ли я в необычных болезнях. Я ответил ему, внутренне посмеиваясь, что всякая болезнь — необычна, ибо обычно — быть здоровым, а болезнь чужда телу и духу и приходит неизвестно как и уходит неизвестно куда, всегда в свой час по воле Господа. А все же? сказал епископ. Болезнь до такой степени необычна, что до сих пор ни один врач не смог назвать ее. Можно получить много денег, разгадав загадку и излечив болезнь. Я сухо ответил, что не заинтересован в наживе, но что не отказал бы высказать свое мнение, если бы случай представили мне на рассмотрение. Епископ попросил меня пообещать не разглашать того, что он мне откроет. Но, сказал он, можно ли верить слову еврея? Больше, чем слову короля франков, сказал я раздраженно и пришпорил коня, чтобы прервать разговор. Когда мой конь снова пошел шагом, епископ вновь оказался рядом. Простите меня, сказал он. Я не хотел оскорбить вас. Но вы сделали это, сказал я. По меньшей мере милю мы проехали молча. Мы двигались вдоль крупного рукава Нила среди маленьких огородиков. Копыта мягко стучали по рыхлой почве. Епископ сказал: Я искуплю свою вину проявлением доверия. Речь идет о дофине, наследнике иерусалимского трона. Я еще не остыл от гнева. В Иерусалиме, сказал я, есть только один трон — Господа Предвечного, заключившего союз с еврейским народом. Епископ ничего не ответил на мое замечание. Он поведал мне, что юный Балдуин, единственный сын короля Амори, — мертвенно-бледен, страдает от слабости, и это сопровождается такими неслыханными явле-

ниями, как отсутствие бровей и ресниц и отпадение ногтей, совершенно безболезненное. У него целыми прядями опадают волосы, как осенью листья деревьев. А что до остального – у него прекрасный аппетит, хороший стул, светлая моча и нормальное отправление всей деятельности организма, как если бы все было в порядке. Нет смысла делать тайну: король осыпет богатствами врача, который выведет сына из этого состояния. В настоящее время принц вместе с королем в Александрии. Не соглашусь ли я сейчас же вернуться и обследовать его? Я не был согласен. Однако, если юного больного привезут в Фустат, куда я сейчас направляюсь, я не откажусь осмотреть его. Епископ спросил, есть ли у меня уже какое-нибудь мнение. У меня есть мнение. Довольно определенное. Я скажу свой диагноз, когда смогу увидеть ребенка.

Не прошло и недели после нашего приезда в Фустат, как меня, в условиях строжайшей тайны, вызвали во дворец халифа. Мне показали мальчика восьми или девяти лет и предоставили возможность как следует осмотреть его. То, что я и думал, сказал я епископу Угу, когда мы остались одни. Все симптомы налицо. Это проказа. Будущий король франков в Иерусалиме – прокаженный король. Это, конечно, ошибка, сказал епископ. Бог не может хотеть этого. Бог может все, сказал я. Что касается меня, то я не ошибся. Меня отпустили даже без единого слова благодарности.

Я не стану говорить тебе о Фустате, который ты знаешь, ибо был там со мной. Может быть, только о том, как он был основан, ибо в этом заключена поэзия пустыни. На восемнадцатом году после хиджры¹²¹ полководец Амр выступил на завоевание Египта для халифа Омара, преемника пророка. Оказавшись на правом берегу Нила, против римских развалин Мемфиса, Амр разбил там стан. Утром он заметил, что пара голубей

свила гнездо в его шатре. Амр покинул шатер, который и стал первым обитаемым домом в Фустате. На этом месте раскинулся тихий городок, обнесенный кирпичной стеной. Позже другой город вырос рядом с первым — Эль-Кахира, с богатой новой мечетью, дворцом халифа и множеством красивых домов. Когда Салах ад-Дин стал владельцем Египта, после той войны, что известна тебе и которую ты возненавидел так же, как и я, он приказал соединить оба города единой каменной стеной. Такова эта столица теперь, когда я пишу тебе. Но когда мы прибыли сюда, отец, Давид и я, Фустат, еще обнесенный кирпичной стеной, был тенист, цветущ и по небу его проносились ласточки. Как только я ступил на его землю, я почувствовал, что на меня спустилась благодать, как если бы я вновь обрел Кордову.

Еврейская община здесь не была самой древней или самой сильной, но она была одной из самых процветающих в мире. По существу, были здесь две различные общины: одна — вавилонского толка, другая — иерусалимского. У каждой — свои школы и синагоги, но ни раскола, ни соперничества. Всего около двух тысяч семей, все объединены правлением нагида Натаниэля, судьи и врача, весьма добродетельного; он выполнял также обязанности главного казначея при последних халифах. По странному совпадению члены одной общины были почти все очень богаты, а другой — почти все очень бедны. Первые — купцы, торговцы, зодчие, банкиры; вторые — ремесленники, каменщики, водоносы, красильщики. Однако рвение к изучению Закона уравнивало их и объединяло в набожности и благочестии. Я не слышал ни в том, ни в другом городе, чтобы кто-нибудь усомнился в честности одних или в порядочности других. Богатые и бедные пользовались глубоким уважением. Помнишь ли ты Кармá, водоноса? Ни один ученый в столице, даже сам Натаниэль, не

мог сравниться с ним в знании канонического права. Случалось, что прямо на улице спрашивали его мнение. Тогда Карма ставил свою ношу на землю и говорил просителю: Отнеси воду вместо меня, чтобы моя семья не имела убытка, а я поразмыслил над твоим делом. Ибо никогда он не принимал вознаграждения за благочестивый совет. Я пишу это, чтобы дать тебе понять: разница в положении не вела к подлинному неравенству в общине. И хотя нагид ездил верхом на племенной кобыле с кожаным, инкрустированным серебром седлом, а водонос передвигался только пешком, как люди они были равны и могли смотреть друг другу в лицо и говорить как равный с равным. К тому же, в Совете общин было одинаковое число представителей обеих общин. Ценность личности определялась суммой присущих ей знаний, а не суммой наличествующих у нее денег. Те, кто мало зарабатывал, имели больше времени для учебы; те, кто имел большие доходы, украшали синагоги, содержали больничные дома и школы, наполняли книгами полки библиотек и выкупали рабов-евреев, чтобы вернуть им свободу. Наличие богатых не было вызовом, как не было обидой наличие бедных, ибо не было неимущих. На наносных землях реки жизнь была легка для всех. На илистой почве в изобилии росли фрукты и овощи, и достаточно было опустить удочку в Нил, как рыба цеплялась за крючок. Салах ад-Дин приказал поставить обелиск на острове Гезирех; на этом монолите отмечается точная высота воды при разливе, и это позволяет заранее определить размеры урожая. Теперь уже не те времена, когда эту плодородную долину поразили десять казней. Значит ли это, что люди стали более угодны Богу?

Отец должен был для нас купить жилище. Он выбрал дом вне городских стен, выходящий на север, просторный, потому что он задумал жениться,

а также в предвидении того, что, может быть, и я вскоре захочу основать семью. Натаниэль предложил ему ссуду из своей личной казны, и это позволило не трогать пока наши запасы драгоценных камней. На всю зиму судья Маймон превратился в строителя, распоряжался каменщиками и штукатурами, приказал вырыть водоем и наполнить его водой, закрепить деревянные части кроватей и столов, посадить гибискусы и бугенвиллии и принялся искать служанку. По предложению нагида он получил место в Совете общин. Терпеливо, двигаясь быстро, мелким скользящим шагом, по-прежнему цельный, без единого сомнения и без единой слабинки, после пятнадцати лет рискованных странствий, полных опасностей, печалей и усталости, он восстановливал на нильском берегу нашу родину на берегу Гвадалквивира. Андалусия в Египте? Кордова в Фустате? Здесь нет ошибки: мы были подобны тем шмелем, которые переносят на ресничках пыльцу уже давно увядших цветов.

В тот вечер отец выглядел особенно довольным. Последний работник ушел из нашего дома, мебель и все предметы хозяйства были расставлены по своим местам, в фонтане плескалась вода, служанка Тамар хлопотала на кухне. Когда мы выходили из-за стола, прежде чем уйти в свою рабочую комнату, отец приблизился ко мне — потому что я был старшим, и сказал голосом, смягченным волнением: Ты видишь, сын мой? Мы все же прибыли сюда.

На следующий день он умер.

* * *

Не знаю, каким образом распространилась молва, что я поставил наследнику Балдуину диагноз проказы. Я понес от этого значительный урон и преодоление его заняло долгое время. Даже

думать об этой болезни — уже было грехом и следовало как можно скорее спешить искупить его. Назвать ее — значило непоправимо осквернить уста. Больше любой другой болезни эта была следствием порчи, бичом Божиим и исчадием ада. Как я мог опознать ее в самом ее начале, не будучи сам в сговоре с темными силами? Я мог бы в свое оправдание сослаться на то, что симптомы проказы прекрасно описаны у Гиппократа, Галена и других добропорядочных авторов, но такая самозащита не принесла бы пользы моей столь внезапно опороченной репутации. Разве, произнеся это позорное слово, я не призвал несчастье на голову бедного ребенка? Его отец, король, защищает Египет; даже если отвлечься от моих связей с гееной огненной, я повинен в преступлении против защитника страны. И даже если бы подтвердилось, что я не повинен в кощунстве, я своими руками касался прокаженного, и отныне на моих руках зараза. Какой здравомыслящий человек согласился бы отдать себя в мои руки?

Я оповестил Фустат, что готов к услугам для тех, кто пожелает воспользоваться моими познаниями, и вынужден был признать, что никто не захотел: моя приемная была безнадежно пуста — ни больных, ни раненых. В другое время я бы не был озабочен этим. Чем меньше я был вынужден заниматься другими, тем свободнее я мог черпать удовольствие в собственных занятиях и писаниях. Были уже определены большие разделы *"Наставника колеблющихся"*¹²²: это должен был быть итог трудов, не имеющих себе равных, настоящий на самых высоких познаниях и размышлениях. Мне не нужно было вносить ничего нового. Истина уже сказана. Моя задача состояла только в том, чтобы освободить ее от оболочки, закрывающей доступ к ней. Работа по очищению, по приданию формы; в какой-то мере работа золото-

искателя. Я издавна добросовестно готовился к ней. Я исследовал все участки, все рудные жилы, русла всех рек. Я знал, где лежит металл, а где — песок и грязь. Настал момент все просеять; но он пришел не в добрый час. Смерть отца поставила меня в такое положение, что я оказался обезоруженным. Я унаследовал его долги, в то время как остатки состояния Маймонов перешли к брату, и ему вменялось в обязанность содержать меня.

Давид тосковал в Фустате. Он не был счастлив здесь. Торговля драгоценностями была в руках нескольких семей вавилонян, и ни одна из них не желала хоть чуточку потесниться и дать место пришельцу. Многочисленные попытки брата пробиться куда-нибудь провалились одна за другой. Сделку, которую он намеревался заключить сам, увили у него из-под носа перед самым ее завершением. Ничуть не упав духом, Давид придумал новый ход: семья Нидьян владела многими богатствами и среди прочих — дочерью на выданье. Задумка, может быть, требовала некоторых трудов, но стоила того, тем более, что у брата был крупный козырь: он был красивый, высокий, стройный парень с черными кудрями, а девушка уже слегка расплылась. Итак, Давид предпринял некоторые меры к сближению и его достаточно поощрили, чтобы продолжать, как вдруг однажды вечером братья Нидьян осуществили карательную экспедицию, и Давид вышел из нее с подбитым глазом.

Клан золотых дел мастеров держался крепко. Было бы безумием атаковать его в лоб с таким жалким капиталом, как мешочек изумрудов, да и то часть из них нужно было продать в счет долга Натаниэлю. Оказавшись в тупике, удрученный, Давид замыслил отважный план: он отправится в Индию и там наверняка продаст камни по высокой цене; на полученную сумму он закупит наилучший

корунд-сырец, аквамарин, рубины, сапфиры, топазы, а потом создаст в Фустате мастерскую, где будут их обрабатывать и шлифовать. Благодаря этому делу он сумеет — а расчеты Давид производил бесконечно и всегда получал один и тот же итог — удешевить то, что имеет, и тогда вступит в соперничество с вавилонянами. У него даже было твердое намерение вытеснить их из их наследных владений.

Как ни дерзок был этот план, я дал свое согласие, тем более, что у меня были все основания верить в способности брата. Неуверенность была только в отношении опасностей путешествия; но переезд из Фустата в Индию представлял не больше риска, чем из Кордовы в Фустат, и с этим можно было примириться. Давид поспешил с подготовкой, и вот настал день, когда он бросился в мои объятия скорее радостный, чем опечаленный. Бедуин по имени Селим должен был повести его по дороге евреев в Рас Абу Мусса, а там он рассчитывал сесть на судно, идущее по Красному морю. Он предполагал отсутствовать самое большое шесть месяцев. Давид заранее договорился с лучшим шлифовальщиком и оправщиком, служившими у семьи Нидьян, о том, что они станут работать у него после его возвращения, и радовался, что ему удалось это проделать в отместку за синяк под глазом. Я проводил его до городских ворот. Только когда я увидел его в седле, такого юного и стройного, с *красивыми глазами и приятным лицом*, как сказано о Давиде Вифлеемлянине, который был царем Израиля, сердце мое наполнилось печалью, ибо я вдруг осознал, что остаюсь один. Скаакун уносил моего брата, а он еще долго махал мне рукой.

Смерть отца и отъезд брата, если рассматривать оба эти события в отдельности, принадлежали к того рода неприятным неожиданностям, которые

можно предвидеть. Что до моего одиночества вообще, оно было вполне закономерным. С самого юного возраста я находил в нем удовольствие, создавал для него условия, наслаждался им. Я стремился к нему не как к способу разобщения, а как к посреднику, который сближает. Одиночеству я обязан всем лучшим в моем становлении и моим самым глубоким удовлетворением. В одиночестве я никогда не был одинок; в мое одиночество ко мне приходили всегда те, с кем я хотел быть, и выбор мой был велик и разнообразен. И вот, нежданно-негаданно оно до боли сжало меня со всех сторон. И это потому, что оно внезапно изменило свой характер: я оказался покинутым.

Отец покинул меня, не было иного слова, чтобы выразить его отсутствие. Когда он был жив, если он и не был рядом, все равно необыкновенным образом проявлялось его присутствие и воздействие; его умение молчать стоило многих речей. То, что он принадлежит к незаменимым людям, я знал всегда. Со временем его кончины я только чуть меньше видел и слышал его, чем при жизни, то есть совсем нет; и вот эта небольшая разница и создавала ощущение полной покинутости. Как-то в поисках чего-то я переходил в обширном молчаливом доме из одной комнаты в другую и вдруг почувствовал, что иду мелким шаркающим шагом, и звук был такой, как будто отец прошел здесь. Вот так я начал соскальзывать в воспоминания в ожидании, пока сам не стану воспоминанием. И чем больше времени проходило, тем более ярким и плотным становился образ умершего. То, что община Фустата объявила день траура по случаю похорон, казалось мне подобающим со всех точек зрения: как для покойного, так и для живых. Отец гордо пронес одно из известнейших имен Израиля, он не упустил возможности усилить его значение как

символа, и потому это имя оказывало честь местному кладбищу. Но в течение последующих недель велико было мое удивление, когда я узнавал, что и другие общины, получив известие о кончине моего отца, тоже объявляли день траура. Мне писали, что я понес большую утрату, а я еще не осознавал этого; мне писали, что эта утрата касается всего Израиля, и я начинал понимать это. Инстинктивно я питал недоверие к той прямой борозде, которую отец, всегда невозмутимый, проложил в толще нашей традиции. В избранном им направлении нельзя было действовать лучше; действовать столь хорошо уже было подвигом; и больно было думать, что такая сила воли могла не дать других плодов, кроме дня траура в том или ином городе. Перемены, происходившие в нашем веке, были нацелены на отмирание символов, и это было только началом, я был глубоко убежден в этом. То, что жизнь у символов нелегка, не ново. Я с испугом открыл для себя, что даже мертвыми они сохраняют свою притягательность. Скончавшийся, гниющий под могильным камнем, отец все еще тянул меня к себе. Сколько осмотрительности должен был я проявить, чтобы вслед за этой утратой не утратить самого себя!

У меня оставался сын — мой брат, которого я воспитал, сделал свободным и отпустил на волю. Я заложил в него росток справедливости, который вовсе не был отростком с древа страданий. Если бы отец получил удар в глаз, он пробормотал бы, что на то была воля Божья, и облегчил бы свою душу молитвой. Если бы я получил удар в глаз, я задумался бы над тем, какой грех я совершил, — чтобы понять это, стать лучше и не совершить его в будущем. От удара в глаз Давид, мой брат, не втянул бы голову в плечи и не стал бы задавать себе вопросов; он приготовился бы воздать за него в нужный час и нужным способом,

как сам Господь Бог, который карает за прегрешения. За пять веков, пока мы варились в соусе ислама, соль самосохранения проникла в нашу слишком нежную плоть. Давид был уже новым видом еврея, который рано или поздно выйдет из горнила испытаний унижением и свяжет нити древней истории. Это не было программой мщения; это было программой утверждения. Это не было мелкое "око за око"; это был великий удар за удар. Как легко и удобноказалось тому, кто имеет численное превосходство, использовать удар для унижения другого, уже познавшего многие унижения. Епископ Уг может быть и не думал плохого, выражая сомнение, может ли еврей сдержать слово, иначе говоря, есть ли у еврея честь. Друг мой, я должен сделать признание: я не был огорчен тем, что поставил диагноз проказа. В глубине души я испытал удовлетворение от возмущения этого эдомитянина. Если еврей не может сдержать слова, почему бы спесивому принцу не быть прокаженным? Ведь не случайно эмблемой правосудия являются весы. Я, Моше из Кордовы, имел замысел отрубить когти унижению безукоризненностью своего поведения, широтой безупречных знаний, точностью рассуждений, особым стилем. Это были хорошие орудия и хороший панцирь, я испробовал их; но могло случиться, что этого окажется недостаточно. Давид был на лучшем пути. Как я любил его! День за днем я мысленно плыл вместе с ним меж рифов Красного моря к открытым просторам Индийского океана. Я участвовал в его озорных замыслах, я присоединялся к ловкости его мускулов, я проникал в его *красивые глаза и приятное лицо*. Я думал уже о его возвращении, и я думал только об этом — о том, как он сумеет проучить гордецов, и я заранее смеялся вместе с ним, ведь он умел так хорошо смеяться.

Через несколько дней после отъезда Селим

привел лошадь моего брата. Давид удачно погрузился на крепкое сомалийское судно. Он прислал нацарапанную наспех записку и сообщал мне свой путь: через Хулам в страну Куши, где проживают около сотни евреев с черной кожей, и они говорят на чистом арамейском языке долины Иосафат. Оттуда он направится к северу вдоль побережья. Он надеялся уладить свои дела как можно лучше и как можно быстрее и вернуться раньше, чем рассчитывал.

Второй раз я увидел Селима, когда миновал месяц. Как только он предстал предо мной, он упал лицом на землю и воскликнул дрожащим голосом: Не проклиной приносящего тебе дурную весть! Судно, на котором был твой брат, затонуло в заливе вместе с грузом и людьми.

* * *

Внезапно моя плоть, то, что всегда было самым верным, изменила мне. Я ждал, чтобы ко мне пришли больные, но вместо них пришла болезнь, которую я не ждал. Она была коварной, грубой, упрямой. Откуда пришла эта облезлая девка, из моих утомленных внутренностей или из моей истерзанной души? Это дает еще один повод порассуждать и построить теорию о единстве плоти и духа, теорию, доставившую мне столько неприятностей. С каждым днем мне все больше не хватало воздуха, того воздуха, что наполняет бесконечные просторы. Мне казалось, что я дышу водой. Вся тяжесть залива давила на мою грудь. Вцепившись в деревянную кровать, выкатив глаза и раскрыв рот, я пытался поймать дуновение воздуха, но оно ускользало от меня. Мое сердце бешено колотилось, и в глазах стоял туман. Приступ длился целую ночь. Утром он ослабел как раз настолько, чтобы я почувствовал: это

только передышка перед более сильным наступлением. Я выпил настой корней горечавки, и мне стало немного легче. Но к полудню приступ возобновился и тянулся много бесконечных часов. Хотя удушье почти не давало мне возможности мыслить, я пришел к очевидному заключению: задета моя жизненная пневма.

Все больные задают глупые вопросы, и я был, как большинство: Почему именно я? Почему именно в тот момент, когда мне нужны все мои силы и весь мой разум? Гален рекомендует дышать воздухом, лишенным дурных запахов; я с наслаждением вдыхал бы испарения клоаки, если бы мог свободно дышать. Тиски сжимали мне ребра. Воздух со свистом входил в узкое отверстие голосовой щели и выходил оттуда со зловещим бульканьем, наполняя рот пузырями. Я тонул на суще, как Давид, мой брат, мой сын, мой херувим тонул в волнах, и он умер, а я не умирал. Приступ поднимался из глубин моего существа шагами хищного зверя, описывал вокруг меня все более тесные круги и в ту минуту, когда он угрожал опрокинуть меня, вдруг отпускал свои объятия и отступал. Такими я представляю себе пытки, применяемые азиатами при допросах. Вероятно, никто не выдерживает это долго; и все же я выдерживал. Каждый день я почти умирал и желал только, чтобы это скорее кончилось, настолько страдания сделали меня равнодушным к моей собственной судьбе; а потом вкус воздуха возвращал вкус жизни, и я радовался, чувствуя себя почти заново рожденным.

И такое чередование длилось месяцы; больше, чем целый год. Я прописывал себе множество испытанных средств — укрепляющих, желудочных, очищающих — и все без всякой пользы, я лишь исчерпал весь свой запас лекарств и все свои познания. Я делал что мог; но болезнь делала что хотела. Мы следили друг за другом насто-

роженными глазами, как в джунглях, готовые к прыжку или к отступлению, в зависимости от обстоятельств и от стратегии данного часа, осужденные быть вместе, но каждый сам по себе, как Бог и Его творения, как день и ночь.

Эта война все же давала мне минуты передышки, иногда достаточно долгие для того, чтобы появился вкус к работе. Я брал в руки перо, но не мог писать. Как можно сосредоточиться на рассуждениях, когда дом пуст, когда служанке не уплачено, когда из еды есть только жидкий суп и травы, когда крыша и кровать должны быть отданы за долги, когда будущее – темная бездна. Община, безусловно, распространяла бы на меня свою благотворительность, но я рожден и воспитан в Испании. Достаточно того, что Тамар оставалась со мной из чувства сострадания. Она называла меня *мой бедный хозяин*, а я говорил ей *моя добрая толстушка*, ибо она была настолько грузна, что едва проходила в дверь, и этот обмен любезностями скрепил наше взаимопонимание. Она разогревала мне снадобья, когда я задыхался, приносила полные фартуки мятых фруктов, упавших с деревьев, и сухой навоз для жаровни, а когда она говорила о Давиде, глаза ее наполнялись слезами. Такой красивый молодой человек! И такой смешливый! Такой жизнерадостный! Такой способный! Я приказывал ей замолчать. Она повиновалась, но назавтра начиналось все сначала.

В самый разгар моих бед ко мне неожиданно явился епископ Уг. Дворцовые врачи в конце концов присоединились к моему мнению и теперь подтвердили мой диагноз – проказу. Нечувствительность ребенка к боли и появившийся хронический катар носовых оболочек не оставляли больше места сомнениям. Хотя слух о проказе распространялся повсеместно, диагноз по-прежнему оставался государственной тайной. И речи быть не могло о том, чтобы отослать принца в уединенное

место или надеть на него капюшон и привязать колокольчик, чтобы люди не приближались к нему. Он предназначен когда-нибудь стать королем Иерусалима, и он будет им, когда придет час наследования престола; тем более, что у него живой ум, крепкое тело, сильный характер и его отец обожает его. В связи с этим Амори вспомнил обо мне, и епископ передал мне расшитый и довольно увесистый благодаря своему содержимому кошелек.

Впервые я получал плату за врачевание, и момент для этого не мог быть более подходящим. Я был смущен и растерян, а Уг был достаточно учтив, чтобы не заметить этого. Он спросил меня от имени Амори, знаю ли я лекарство, способное, если не излечить, то, по крайней мере, замедлить развитие болезни. Я сообщил ему, что такое лекарство упоминается многими авторами-арабами, в частности Ибн Синой. Речь идет о масле, извлеченном из семян плода, называемого *коба* или *анкоба*. Его собирают с дикорастущих кустов в центре Африки, недалеко от больших озер; это масло, называемое *хаульмоогра*, — лучшее снадобье от этой болезни. Уг попросил меня описать ему куст и плод. Я никогда не видел их. Но местные жители в тропиках не ошибутся ни в отношении куста, ни в отношении плода. Пусть король Амори срочно отправит караван; нет никакого сомнения, что привезут то, что нужно. Я же брался извлечь масло из плодов и приготовить лекарство.

Так было решено, и епископ удалился. Я видел его еще много раз, до того как он был убит на иерусалимских стенах в пору падения королевства. Этот человек, унизвший меня, впоследствии сделал мне много доброго. При каждом его посещении кошелек от Амори прибавлял в весе, и это свершалось не без содействия самого Уга. Благодаря ему, ты, его двоюродный брат из

Бокера, прибыл и скрасил мое одиночество, ибо он рекомендовал тебе учиться у меня. Он же посоветовал королю Ричарду, прозванному Львиное Сердце¹²³, совершить путешествие из Ашкелона в Фустат, чтобы попросить у меня лечение от болей в суставах. Странный человек этот Ричард! Поскольку благодаря моим стараниям он почувствовал облегчение, он решил обязательно купить меня у моего хозяина и увезти на свой остров, в Англию, и был очень удивлен тем, что я не расположен последовать за ним добровольно и что меня нельзя купить. Полный недоумения, он все золото, которое было при нем, — а его было немало, — оставил мне. Я упоминаю о его щедротах только потому, что в то время они были очень нужны мне. Самое чистое золото, полученное мною благодаря посредничеству епископа Уга, — это твоя дружба, которой так жаждало и по которой так изголодалось мое сердце.

Примерно к тому же времени относится и другое посещение: старухи, которую привела Тамар и имени которой я так никогда и не узнал. Я как раз отдыхал между двумя приступами, и дыхание мое только что успокоилось, когда эта старуха вдруг предстала передо мною. У нее во рту оставался лишь один зуб, и кончик языка все время натыкался на него, так что слова как бы раскальвались. В конце концов я все же понял ее. Она знакома с неким молодым человеком, Абульмале, управляющим халифским дворцом, сиротой, без отца и без матери, серьезным юношей, я могу справиться о нем сам. Он из общины вавилонян и из очень уважаемой, хотя и обедневшей семьи, что и вынудило его принять эту должность, где его очень ценят и обещают назначить главным управляющим, как только освободится эта должность, что должно произойти скоро, если иметь в виду возраст ныне занимающего

ее. И вот, у Абульмале есть младшая сестра, Бат-Шева, которая дорога ему как зеница ока и счастья которой он желает всем сердцем. Эта девушка — настоящее сокровище: мягкая, работя-щая, хозяйственная, порядочная, можно обойти весь Фустат и Эль-Кахиру и даже Александрию и не найти подобной ей. Только один недостаток: ей уже двадцать пять лет, не то чтобы у нее не было интересных предложений, но она очень разборчива и хочет только ученого мужа, так как сама умеет и читать, и писать. Короче говоря, она, старуха, из дружбы к Тамар и, конечно, ради меня тоже, потому что Тамар так предана мне, она сказала себе, положа руку на сердце, что жалко, что я одинок и несчастлив, а девушка, о которой говорится, засиделась в девках и тоже несчастлива, и вот она сказала себе, что можно здесь кое-что сделать, поэтому она пришла ко мне, а она совсем бескорыстна в этом деле, разве только получит полагающийся по обычаям подарок, если дело сладится, что почти уже решено будет, как только я познакомлюсь с этой жемчужиной, тем более что брат дает за ней немало: полное приданое, кожаный ларь, инкрустированный перламутром, и кошелек с сотней золотых пиастров, отсчитанных тут же, подождите и дайте мне кончить! Как второй управляющий, Абульмале распоряжается доходной должностью в двести пиастров в год и он предназначает ее своему будущему зятю — в данном случае в виде места врача конюшен, то есть всей челяди, свободных, отпущеных и рабов, и место это можно занять назавтра же после свадьбы, которую можно отпраздновать в следующем месяце, при условии, само собой разумеется, что будущие молодые предварительно встретятся и объявят о своем взаимном согласии. А в ожидании этого старуха просила только один пиастр за беспокойство.

Это посещение произвело на меня странное

воздействие: я как бы раздвоился. Одна половина говорила нет, другая — да; и спор был горячий, и он длился целые дни, и ни одна, ни другая половина не могла одержать верх. Каждая выдвигала обоснованные доводы, которые опровергали друг друга. Когда я засыпал с да, то просыпался с нет, а назавтра роли их менялись. Я колебался перед самой тяжкой из философских проблем, когда-либо предлагаемых мне для разрешения, ибо я не знал, на какой текст я могу сослаться. Решение следовало придумать самому, и я был в тупике.

В смятении я пошел просить совета у Натаниэля. Бат-Шева — порядочная девушка, сказал он. Ты получил правдивые сведения. Она своенравна, обидчива, характер у нее не из легких, брат часто жалуется. Что ты хочешь? Кричать, брыкаться — это их вторая натура, у всех у них есть что-то от козы. Если верить Абульмале, у нее чуть больше, чем у других, но ведь он и дает за это цену. Недурна, держится очень прямо, с тонкой талией и, главное, вполне здорова. Она послужит долго. Я нахожу, что у нее глаза немного маловаты, нос немного толстоват, губы немного тонковаты, подбородок немного островат. Но все это мелочи! Привыкаешь и к худшему. Самое главное — что через десять лет она будет в том возрасте, в котором ты сейчас, а старость не украшает коз. У меня есть своя, я знаю, о чем говорю. А должностью врача в конюшнях халифа не следует пренебрегать, когда ты в нужде и когда тебе надо платить долги. Заметь, я не тороплю тебя. У нас впереди много времени. Просто нужно подумать и об этом, вот что я хочу сказать. Если бы твой брат не взял с собой все камни, ты не был бы в таком положении, это точно. Известно, что не следует класть все яйца в одну корзину. Учиться, писать книги? Ничего нельзя возразить против этого, разве только, что человек не живет одной

философией. Она несъедобна, ее нельзя надеть, ею нельзя обогреться, а человеку нужно все, что нужно. Мое мнение, что сваха постучала в подходящую дверь и в подходящую минуту. У тебя есть другое решение, уже готовое, или ты ждешь его? Врачевание, когда им умеют заниматься, — неплохая лошадка. Очень интересно определить проказу у принца. Но к чему это ведет? Принцев не так уж много, да и сменяются они часто. Практика врача строится как дом, камень за камнем, один опирается на другой, и все крепко держится, когда создано каменщиком-мастером. У меня, например, самая лучшая практика в столице, но мне понадобилось двадцать лет, чтобы достигнуть ее. Когда дело пошло, можно уже не заботиться о нем: излечиваешь больного ты, а убивает его Провидение, запомни это хорошенъко. А когда ты лишь начинаешь, наоборот: излечивает Провидение, а убиваешь ты. Прежде чем эти предложения поменяются местами в твою пользу, у тебя есть тысяча случаев прийти в отчаяние и сто случаев умереть от голода. Заметь: в общине есть бедняки, и она заботится о них. Но такой ученый, как ты, не опускает свою ложку в чужую тарелку, он сам варит свою похлебку. Абульмале подставляет тебе стремя? Всакивай в седло. Он знает, что делает? Знай и ты. Кроме того, ты получаешь Бат-Шеву. Бери ее все-таки. Потом увидишь. Есть женщины, которые в замужестве становятся лучше, я знаю такие случаи. Есть такие, что слишком громко кричат, поэтому умирают молодыми, я знаю и такие случаи. И потом, не забудь: женатый мужчина вызывает уважение, это придает вес, это внушает доверие. Для врачей это имеет первостепенную важность. Врач, у которого есть жена и, следовательно, он может рассказывать ей истории своих больных, не рассказывает их посторонним и таким образом сохранность тайны почти обеспечена. Если жена

болтлива, то он, врач, здесь ни при чем. И потом, что говорить! Плоть тоже требует свое, и покой чувств стоит некоторых жертв. У тебя большой дом. Ты заполнишь его детьми. Это требует забот, согласен. Но кто сказал, что человеку не нужны заботы? Чем больше у него забот, тем лучше он себя чувствует, это закон патриархов. Ты спросил мое мнение? Я сказал тебе его. Есть за и есть против. Тебе самому следует видеть ясно, чего ты хочешь.

Я совсем не видел ничего ясно. Как всегда, когда я сталкивался с крупными затруднениями, и несмотря на то, что приступ мог настичь меня в пути, я оседлал коня и поскакал провести ночь под открытым небом. Из всех стран, которые я прошел, Египет, бесспорно, наиболее близок к небу. Совсем не случайно Бог предпочитал являться там. Неисповедимы, но коротки пути Господни. На границе пустыни я лег в дюнах и приказал душе возвыситься. Ей не нужно было совершать долгий путь, чтобы прикоснуться к вечности. В вышине царила тайна, и она содержала и мою тайну. Мои подлинные колебания были совсем не теми, что изложил Натаниэль. Я не искал ни убережения от бедности, ни убережения от неудач. Взять жену, приданое, должность или не брать – это был выбор между мелкими деталями. Настоящий вопрос был в том, что я собираюсь делать со своей жизнью: стать добрым обывателем или одиноко продолжать свой путь в неизвестное; стремиться к благополучию или к спасению? В этом самом месте, этой самой ночью обе дороги пересекались, и я чувствовал всеми фибрами своей души, что отныне они будут отдаляться одна от другой. В конце концов, я был лишь старым юношей, вовремя не принявшим решения. Я слишком долго предавался колебаниям, как осел, умирающий от жажды между двумя колодцами. Быть может, существовала какая-то связь

между нашими странствованиями, смертью отца, гибелью Давида, моими приступами удушья? Путеводная нить? Перст Божий? Невозможно решить, что это; и все же мне необходимо было принять решение: настал час. Пойти по этому пути? Или по тому? Из всех испытаний, через которые мне пришлось пройти, утрата брата была, конечно, самой невыносимой, она ранила мой разум, она разорвала мне душу, она мучила мою плоть. Я не осмеливался спрашивать Бога о ее причине; я заранее знал и форму и содержание ответа. Кто не устрашился бы такого молчания? Я стал человеком благодаря глаголу и ради глагола, и я был связан со словом, а не с его отсутствием. Надо мной мерцали мириады огней, и я мог дотронуться до них, стоило только протянуть руки. Легкий ветерок пробегал по волнистой поверхности песка. Я был ничем, и я был всем, поскольку я был здесь, трепещущий и живой, в этой бесконечности. С той ночи, которую я провел на горе Кармел, ответ уже был во мне: мне следовало прожить жизнь обычного человека и только такую жизнь. Мое спасение тоже было только в этом. Каким высокомерием было с моей стороны думать, что в моей власти уклониться от такого существования! Жена, заработка, дети и камень с выгравированным на нем моим именем. Самая завидная судьба. Самые лучшие чаяния. Самая высокая истина. Итак, мое решение было принято. Я мог отправляться спать. Я возвращался, когда чуть только стало светать, и вдруг с удивлением отметил, что вся эта ночь прошла без обычного приступа удушья.

Встреча произошла в харчевне Аль-Азар, в закрытом помещении. Утром я посвятил несколько часов своему туалету: я принял очень горячую ванну, подточил ногти, подровнял бороду, умаслил волосы и все время улыбался при мысли, что, по крайней мере, двое в Фустате в одно и то же

время совершают одни и те же действия. Меня привела старуха, нарядившаяся во множество одежд, как луковица зимой. Абульмале пришел со своей сестрой и снял с нее покрывало передо мной. Долго мы сидели друг против друга, попивая чай с мятои и пожевывая тягучий ракат-лукум¹²⁴, и не находили что сказать друг другу. Когда мне случалось направить свой взгляд на Бат-Шеву, именно в это мгновение она отводила свой. Это правда: глаза ее были немного маловаты, нос немного толстоват, губы немного тонковаты, подбородок немного остропат; ну, да что уж там! Привыкают и к худшему. А я? Каким она видела меня? Когда чай был весь выпит и тянучка вся съедена, старуха подала знак уходить. Да, сказал я, вставая. Да, ответила Бат-Шева, в то время как брат окутывал ее покрывалом. На следующей неделе Натаниэль совершил над нами обряд бракосочетания в большой синагоге вавилонян. Я еще не знал, что привожу в свой дом лучшую из жен. Что это значит: *лучшая из жен?* Простая оценка хорошего поведения и добросовестного обслуживания? Я никогда не позволил бы себе думать и писать подобные банальности. Совсем просто Бат-Шева открыла мне доступ к обоим путям, и один, и другой были еще не определены. Если мне случалось говорить с Богом, то слова мои проходили через сердце моей жены.

* * *

Вставай, Моше Испанец! Стань в четырех шагах от меня, пред лицом моим! Что ты делаешь? Куда ты идешь? Что можешь ты сказать в свою защиту? — Вот я весь здесь, в твоей воле и предан тебе. Я признаю свою вину, хотя и сознаю, что невиновен. Это трудно понять тому, кто не живет чистым разумом. Это страшный

суд, последний, уже? — Глупец! Нет ни первого, ни последнего в незыблемой вечности, где смыкаются начало и конец. Ты был семенем до твоего существования и будешь семенем после существования; и в каждое мгновение твоего пути ты судим судом, который в тебе самом. Положа руку на сердце, виновен ты или невиновен?

И то и другое. Или ни то, ни другое. Как все это было бы просто, если бы я был уверен, что знаю правила игры. Те правила, которые находят в своде законов, за давностью времени утратили гибкость. Смысл закона уступил дорогу смыслу толкований. Что справедливо и что несправедливо зависит теперь от толкователей. Справедливо ли, что мне платят чисто вымытые и хорошо пахнущие люди за то, чтобы я лечил людей грязных и с дурным запахом? На первый взгляд это вполне морально. Этот поток благотворительности почти похвален и течет в нужном направлении. Те, кто имеет, жертвуют тем, кто не имеет. Это могло бы быть в порядке вещей. Я нахожусь на перекрестке, где уменьшается тяжесть несправедливости. Кроме того, меня это устраивает как нельзя лучше. Плата за занимаемую должность выдается аккуратно, служит мне защитой от нищенства и возвращает мне часть свободы и достоинства, которых мне уже начинало не хватать. Поскольку я честно придерживаюсь условий, предусмотренных должностью, я считаю, что деньги заработаны честно. Я могу заявить, что я удовлетворен и, следовательно, невиновен.

Согласен! Чтобы достичь этого, мне пришлось пойти на двусмысленное соглашение, поступившись частью свободы и достоинства. Злые языки могут сказать, что я отдал себя в обмен на приданое. В этом есть доля истины. Я мог бы возразить, что слащавость куртуазной любви, в том виде как она культивируется иногда у вас в Эдоме¹²⁵, была бы в нашей обстановке непонятна, если не

сказать смешна. Тем не менее, в моем случае соглашение носило на себе отпечаток излишней сухости. На первый взгляд, опять же, это не вполне морально. Тем более, что я сплутовал, скрыв свои приступы удушья, то есть что был почти калекой. Товар, который я предлагал с торгов, был подделкой. Я не был ответствен за это, но чувствовал стыд и, следовательно, виновен. Самое меньшее, чего я мог опасаться, это как бы Абуль-Але не пересмотрел некоторые из своих обещаний, узнав, что он получил за сестру меньше условленного. Этого не случилось. Бат-Шева пришла со всем своим приданым, своим кожаным ларем, инкрустированным перламутром, кошельком, в котором счет пиастров сходился до одного и который я отнес Натаниэлю в счет долга, и я получил должность врача конюшен, и не пришлось еще раз говорить об этом, ибо назавтра же после бракосочетания приступы удушья настолько отступили, что я смог считать себя выздоровевшим. Видно, плоть моя прежде страдала от болезни духа. Изменение состояния, добытое благодаря виновности в трусости и лжи, возвращало мне самого себя и делало меня невиновным.

Напротив, мне понадобилось некоторое время, чтобы понять обманчивую сторону моего положения во дворце. Те вымытые и надушенные, что платили мне жалованье, ожидали от меня только одного: чтобы я защитил их от грязи и вони. Моя служба была для них не только самооправданием; я служил некоей оградой. Моей обязанностью было следить, чтобы страдания и сукровица никогда не смогли излиться за пределы мест, предназначенных для тяжелой и грязной работы. Моей обязанностью было отдавать этой службе свои глаза, уши, нос. Это было еще в порядке вещей: за это я получал жалованье. Но я еще и был обязан сообщать шурину об увечных и больных, непригодных к работе, и эти люди

потом бесследно исчезали. Из неудобной моя служба превратилась в постылую, а моя невиновность утонула в потоках вины. Как бы Абульмале ни был снисходителен ко мне, он и сам был лишь колесиком в машине управления и рисковал своей обеспеченностью так же, как я — своей. Идеалом было бы, если бы я мог сделать неимущих менее несчастными. Мои возможности не шли так далеко, и мои познания, будь они даже в десять раз обширнее, были бы недостаточны. И все же я добросовестно уминал плоды с древа и брал отовсюду, где можно было что-то взять: у эмпириков¹²⁶, которые ничего не знали и ничего не понимали; у Гиппократа, который знал, что он ничего не знает, и все понимал; у Галена, который верил, что все знает, и ничего не понимал; в Торе и Талмуде, которые во многих отношениях являются и медицинскими книгами, исходящими из исторической памяти; у философов и астрономов, богословов и геометров и даже у поэтов. Исходя из всего этого я построил свою теорию и свой метод, столь основательно сдобренный познаниями и добродетелями и столь бесполезный и пустой перед лицом бедствий, обрушающихся на бедняков.

Значит, у тебя есть теория и есть метод? Конечно, как у крестьянина плуг и лукошко для семян, как у кузнеца молот и наковальня. Никто не начинает работу, не имея надежных орудий труда. Я считаю главным, что человек во вселенной и вселенная в человеке, что дух во плоти и плоть в духе устроены по закону симметрии, когда все естественно стремится к равновесию и никогда не достигает его. Я вижу мир как весы, чаши которых постоянно поднимаются и опускаются: чередование связано с самим движением и зависит от того, одним ли атомом больше или меньше на весах. Но при каждом колебании коромысло весов на одно мгновение попадает в состояние

равновесия, и это состояние — здоровье, следовательно, — добро. Случается состояние длительного избытка или недостатка на одной из чаш, и это — страдание, следовательно, — зло. Такова моя теория золотой середины. Разве она безрассудна?

Твой вопрос слишком резок. Я не говорю, что она безрассудна. Я не говорю, что она не безрассудна. Если я так старательно скрыл истину, то совсем не затем, чтобы она попала в ловушку. Продолжай, ты заинтересовал меня. Откуда в мире появляются избыток и излишества, недостаток и лишения? Вопрос не застал меня врасплох, и ответ уже есть в моей теории, давно завершенной. Поскольку я сейчас сдаю свой самый важный экзамен по медицине, я не стану скромничать. Явижу три причины этого. Первая — в излишествах и лишениях, посланных Провидением по незнанию, или по рассеянности, или по злому умыслу, или из мести, и только оно знает, почему; вторая — в излишествах и лишениях, которые люди насылают друг на друга; и третья — в излишествах и лишениях, за которые каждый сам несет ответственность. Я сдал экзамен?

Нет еще. А твой метод? Он совсем прост и естественно вытекает из теории. Он состоит в том, чтобы поддерживать человека в состоянии равновесия в мирном окружении или перемещать его туда; защищать его от вреда, причиняемого Провидением, и от подлостей других людей; предостерегать против разнуданности всякого рода; следить, чтобы он дышал только самым чистым воздухом, пил только не затронутую грязью воду, ел только свежую и питательную, как можно более разнообразную пищу; предохранять его от непогоды и солнечных лучей; стараться сделать его разумным и образованным; избавлять его от неприятностей и досадных обстоятельств. Такой ценой мой метод обеспечивает доброе здоровье и благополучие, конечно, если не брать

во внимание несчастные случаи и исключения.

К сожалению, моя теория ничем не может помочь феллаху, снедаемому болотной, тропической, желтой и чахоточной лихорадкой, нубийскому рабу, превращенному в камень болезнью берегов Нила¹²⁷, каменолому или строителю с кремнеземом в легких; она ничем не может помочь также женщинам, распухшим от избытка клетчатки или измученным беременностями; ничем не может помочь всему этому мелкому люду — возчикам, конюхам, носильщикам и рыбакам.

Я не нашел метода против нищеты, и она изо дня в день взвывает ко мне. Я — врач бедных, и носящий это звание заслуживал бы место в раю, но платят мне богатые, дабы скандал не лишил их аппетита, и из-за этого я могу быть предан проклятию. Виновен? Невиновен? Суждение, которое я ношу в себе, уклоняется от прямого ответа. Я покоряюсь обстоятельствам, у меня нет власти над ними. Я не знаю, что включается в понятие греха; с другой стороны, я признаю проступки, и мне известно по опыту, что они редко совершаются в тех местах, где они строго наказуемы. Бедные отвратительны, это верно: они уродливы, грязны, ленивы, глупы, от них дурно пахнет, они обманщики. И однако я люблю их, ибо я один из них, бедняк, которому повезло и он родился у образованного отца, в цивилизованном городе, полном цветов и книжной культуры, бедняк, не знавший другого голода, кроме голода познания; бедняк счастливый, в то время как они — бедняки несчастные. Как, если не любовью, могу я назвать то волнение души, которое я ощущаю, когда приближаюсь к ним; ту печаль, которую я испытываю, когда их страдания оказываются сильнее моей науки; то отчаяние, которое охватывает меня, когда я должен решить судьбу бессильного раба; ту, ни с чем не сравнимую, радость, когда я в силах утешить, облегчить боль,

излечить. Я люблю их, и они очень быстро заметили это и воздают мне сторицей доверия за то, что я растрочиваю на них. И от этого они становятся красивы, чисты, мужественны, честны, а несколько капель мирры¹²⁸ могут довершить остальное: в каждом из них дремлет принц; и если они все же ниши и остаются нищими, то вовсе не по причине извращенности.

Некоторые теперь находят дорогу ко мне домой и ждут меня, пока я, разбитый и усталый, возвращаюсь из дворцовых конюшен. Они приходят — евреи, арабы, бедуины, эдомитяне, все похожие между собой, свободные люди или беглые рабы, их приводят простодушие, страх или боль, и они уходят, унося немного надежды и оставив кто горсточку бобов, кто корзиночку с плодами или, в лучшем случае, чахлого цыпленка, и я считаю это честью для себя. Нет, я не благороден. Нет, я не кичусь скромностью. Нет, я не упрямлюсь. Я не отказался бы от богатого пациента со свитой посланцев и слуг и с кошельком, набитым золотом. Однажды с большой пышностью пришел такой, бедуинский шейх; щека его распухла и пылала от воспаления коренного зуба. Он хотел обойти всех нищих и быть принятным немедленно. Я заставил его ждать. Он ушел искать помощи в другом месте, а я остался с носом из-за своего промаха.

Посмотри! сказала мне Бат-Шева, и это был один из тех редких случаев, когда она не оправдала моих ожиданий. Посмотри, как умело поступает Натаниэль. Его не смущают принципы. У него нет ни теории, ни метода. Это не мешает ему хорошо заботиться о своих интересах. Она была права, моя жена; если не считать того, что она не должна была говорить мне этого и даже думать так. Натаниэль был врачом при дворе; иногда он посещал халифа — военачальника Диргхама, который укрывался во дворце, опасаясь

покушений на свою жизнь. Диরгхам заставлял рабов пробовать пищу и лекарства, ибо не доверял никому, даже своему врачу. Натаниэль управлял казной халифата и собирал подать для уплаты франкам. Натаниэль следил за здоровьем богатых вавилонян и за порядком в обеих общинах, а также за двумя синагогами. Это был наименее устающий и наименее занятый человек в столице; вместе с тем, он был одним из самых могущественных и богатых. Большую часть времени он проводил у себя в саду, слушая музыкантов и поглаживая кошек. Я охотно переманил бы у него нескольких пациентов, но он крепко держал их в руках. Бедные и богатые — это как масло и уксус, их нельзя смешать.

Каждый раз в конце месяца я относил Натаниэлю несколько пиастров из еще остававшегося долга, и он задумчиво записывал сумму в книгу. О тебе хорошо говорят, сказал он мне как-то. Каким ты пользуешься лекарством против избытка затвердевшей пневмы? Я давал ему и состав лекарств, кроме сбереженных денег, и он записывал их в другую книгу. Я совсем не завидовал его успехам и я совсем не переживал из-за своей бедности. Моими единственными врагами в это время были недостаток времени и усталость; моим единственным истинным огорчением было то, что я не мог ни учиться, ни писать столько, сколько мне этого хотелось. Мой *"Наставник колеблющихся"* писался медленно, строчка за строчкой, темными египетскими ночами, когда веки мои были свинцово-тяжелы, а руки и ноги утомлены. К счастью, в последние годы этого халифата ты был здесь, ты, облегчивший мои страдания и получивший от меня только один очень простой, но достойный широкого распространения урок: врачевание — это наука, взвешивающая ошибки, и искусство выбора между риском и болью.

Внезапно начались волнения и пришла война со своей свитой — неисчислимыми бедствиями; все это вызвало у тебя отвращение, и ты бежал, а Салах ад-Дин вдруг пробудился властелином Египта. Если в некоторых отношениях это было действительно пробуждением, то внезапность его несколько сомнительна, ибо осада Александрии и вероломство короля франков рано или поздно должны были возыметь последствия. Военачальника Диргхама вывели из дворца на прогулку, его, который так страшился покидать свои палаты, и сам победитель — так говорили — отрубил ему голову. Жар битвы еще тлел в Фустате. Позже Юсуф¹²⁹ во всех подробностях рассказывал мне о ходе этого сражения. Он не хотел в него ввязываться. Но как воин он обязан был подчиниться своему халифу из Алеппо. Я пustился в путь как человек, идущий на верную смерть, говорил он. Когда Египет оказался у его ног, голова у него закружилась и он объявил себя султаном. Никогда прежде не мечтал он о таком возвышении. Аппетит пришел к нему во время еды.

Вопреки тому, что говорилось о Салах ад-Дине, он не был ни турком, ни сирийцем, ни принцем. Салах ад-Дин был пастухом-курдом. Ему не исполнилось еще и восемнадцати лет, когда из-за засухи он лишился стада. Захватив все, что у него осталось, — коня, халат, тюрбан и саблю, которую он носил через плечо, как пророк, — он спустился с гор и примкнул к войску халифа. Когда Салах ад-Дин скончался, стоя во главе империи, простиравшейся от истоков Нила до истоков Иордана, в его сундуке обнаружили лишь сорок семь серебряных драхм и одну-единственную золотую монету; он не оставил после себя ни добра, ни домов, ни дворцов, ни засеянных

земель, ни какой-либо другой собственности; ничего, кроме империи, которая, выпав из его рук, раскололась, как фарфоровая чаша.

Как очертить словами такую личность? Без всякого сомнения, он был благороден, тем благородством сердца и разума, которое дается некоторым милостию Божией. Учтивый до жеманства и жестокий до ослепления; щедрый и скопой; бескорыстный и алчный. Что бы ни сказать о нем, противоположное тоже будет верно. Он был создан по образу высоких вершин и глубоких долин, ураганного ветра и обнаженного гранита, палящих дней и холодных ночей: он не только был горцем, он сам был горой, обладающей к тому же прекрасной душой. Он любил все, кроме богатств, которые любили его. Огромные состояния приходили в его руки, и он легко отпускал их продолжать путь. Он принес зло, ибо вел войну; он принес добро, ибо уничтожал мерзость. Не давая врагу покоя, внезапно нападая к вечеру и исчезая на рассвете — уловка, постоянно удававшаяся ему, — он отвоевал у союзников-крестоносцев более пятидесяти укрепленных мест, крепостей и замков, захватил страну Эдом, Иудею, Самарию и Галилею, продвинулся до Евфрата и Тигра, окружил остатки войск франков, германцев и англичан в Акко и сломил их сопротивление после смертоносной осады, но позволил женщинам и детям беспрепятственно погрузиться на морские суда; он пожаловал королю Ричарду охранную грамоту, чтобы тот мог прибыть ко мне в Фустат лечиться, но своими руками убил Рено де Шатийона, оказавшегося в его власти в Хиттине¹³⁰. Непредсказуем? Бессспорно, нет. Неистов? Без всякого сомнения. Его поступки были подчинены молниеносным порывам, источником их было то, что принято называть чувством чести. Мне известно только одно желание, которое ему не удалось осуществить: паломничество в Мекку. Когда он

установил мир на всей Земле плодородного полумесяца и навел порядок в королевствах, он озабочился своим собственным спасением и решил пойти очистить свою совесть у Черного камня Кааба¹³¹. Я изо всех сил старался отвратить его от этого замысла, ибо его подорванное здоровье являлось препятствием к этому. Юсуф не посчитался с моими советами. На третий день путешествия он свалился с коня мертвым.

По отношению ко мне он был чрезвычайно великодушен, и в этом великодушии было столько же снисходительности, сколько и гордости. Проси! говорил он мне. Все, что хочешь, — твое. Он злился на мое молчание и считал его вызывающим, ибо ненавидел, когда ему противоречили. Тогда я, случалось, просил о помиловании осужденного, о пенсии для вдовы, о свободе для раба. Юсуф отдавал приказание, и я был удовлетворен. Но в тот же вечер по его повелению мне приносили какую-либо ценную вещь или кошелек. Невольно мой дом наполнялся коврами из шелка, редкими мехами, золотыми вазами, серебряной посудой; даже если бы число моих рук умножилось, у меня не было бы достаточно пальцев для перстней. Но я помнил Кордову, и в подвале моего дома уже была ниша, которая, если ее замуровать, могла послужить склепом для всех этих предметов роскоши. Взгляду моему были приятны эти сокровища, в чем и было мое единственное удовлетворение от них. Разве стал бы я пренебречь материальными благами меньше, чем курдский пастух? Тому, чьи глаза вожделенно загорались, я говорил: Бери! и никто не заставлял просить себя дважды. Богатства делали в моем доме только короткую остановку: таково было их свойство и такова была моя доля. Конечно, я был спокоен при таком изобилии. Расходы по дому оплачивались. И если слуги приходили ко мне худыми, то уходили дородными. Моя жена больше никого не

приводила мне в пример, мой собственный вполне соответствовал ее желаниям. Бульон утром и бульон вечером — таким оставался мой обычный рацион. У меня не было ни охоты, ни времени для более обильных пиршеств.

В начале царствования Салах ад-Дина во всех городах Египта прошла строгая проверка. Тех, кто был в деловых или дружеских отношениях с франками, преследовали и различным образом карали. Натаниэль вынужден был оставить все свои должности и выплатить большую денежную повинность. Немилость вызвала у него апоплексический удар, и он призвал меня лечить его. Заточенный в своем саду, он теперь слушал музыку только одним ухом и гладил кошек только одной рукой. Хотя он беспрестанно жаловался, не стоило так уж его жалеть: та его половина, которая осталась невредимой, оказалась лучшей его половиной.

Когда еврейские общины остались без нагида, низкий мздоимец по имени Зюта пробрался на его место. Этот ничтожный и к тому же глупый человек причинил неприятности многим, в том числе и мне, ибо он обвинил меня в сотрудничестве с захватчиками-эдомитянами. Мне пришлось предстать перед особым судом, но я явился туда без большого страха. Да, я принимал у себя, и неоднократно, епископа Уга; да, я осматривал юного принца Иерусалима; да, я готовил ему снадобье; да, я принимал за это вознаграждение от короля; все эти деяния связаны с врачеванием и соответствуют морали и правилам медицины. Даже если бы ко мне явился дьявол, я бы тоже лечил его, ибо таков наш закон, закон тех, кто ведет войну только против людских страданий. Я был немедленно оправдан и сохранил свое место в дворцовых конюшнях.

Через несколько дней меня посетили представители общин. Зюту прогнали. С общего одобрения

мне предложили стать нагидом. Я подумал об отце – он бы был доволен – и согласился. Так разорванная нить судьбы семьи Маймон связалась за тысячу миль от Кордовы, через века и распавшиеся царства. Конечно, у евреев прошлого и настоящего была разница в количестве; была разница и в качестве. Вавилоняне Фустата слишком дорожили деньгами; израильтяне слишком погрязли в бедности и в невежестве. Но и тем и другим Бог подал знак, что он их помнит. Может быть, мне, Моше, выпало вывести их, если не из Египта, то из заблуждений и наставить на путь праведный? Здесь был повод для пророчества и было основание для надежды. С незапамятных времен Израиль без конца умирал и возрождался по образу и подобию самой природы, и, может быть, в этих циклах скрывается глубокий смысл Завета¹³²? Я сказал посетившим меня, что я слишком занят медициной и своими сочинениями и поэтому смогу посвящать общине лишь *шаббат*. Они и не требовали большего. Я изложил им свой замысел: знающие должны обучать, праведники – вершить правосудие, философы – организовывать школы, следует собирать книги, чтобы обогатить библиотеки. Они и не хотели меньшего. Прошу тебя, друг мой, поверить, что во время этой беседы мысли роем теснились у меня в голове.

Однажды утром, когда я, как обычно, хлопотал в конюшнях, мне приказали не задерживаться ни на минуту и пройти в палаты. На низком ложе, накрытом мехами, я увидел полураздетого человека, рассматривавшего меня. Йауд, сказал он мне, ты слывешь умелым хирургом. Можешь ли ты снять боль, не умножая моих страданий? И он указал на огромный вспухший гнойник у начала его заднего прохода. Опухоль была фиолетового цвета, мягкая, созревшая для удара ланцетом. Я впервые видел легендарного Салах ад-Дина и

спокойно взирал на него. Представшее перед моими глазами зрелище было не из самых приятных. Туловище его было плотное и мясистое. Стоя, он, должно быть, был среднего роста. Раздвоенная бородка и курчавые, блестящие от масел волосы обрамляли лицо. Чего ты ждешь? проворчал он. Делай, быстро! Мой конь соскучился по седоку.

Две обнаженные до пояса нубийки расположились у его изголовья. Чуть подальше наложница, закутанная до глаз, пощипывала струны издававшего жалобные звуки уда¹³³. По-прежнему не торопясь, я разложил инструменты. Перед тем, как взрезать плоть властелина, стоило поразмыслить. Я не сомневался в твердости моей руки, но опасался реакции пациента. Может быть, на карту была поставлена моя жизнь. Салах ад-Дин думал, что придает мне бодрости, предостерегая: если я буду действовать грубо, он прикажет отрубить мне руку. Я по опыту знал, что воины, испытывая боль, становятся весьма раздражительны и вспыльчивы. Султан, сказал я, указывая на наложницу, можешь ли ты лишить девственности эту женщину так, чтобы она не заметила этого? И так как он смотрел на меня, недоумевая, я продолжал: подобно этому и я не могу вскрыть твой нарыв так, чтобы ты этого не почувствовал. Смех, безудержный смех был мне первым ответом, и я понял, что выиграл партию. Не бойся ничего, йауд! сказал он. Эта женщина уже не девственница. А я постараюсь сдержаться.

Я прибег к уловке, которой меня научил Авенсоль: ладонью я нанес сильный удар по голому телу в тот самый миг, когда острие скальпеля вонзилось в гнойник; неожиданность первого ощущения должна поглотить большую долю второго. Салах ад-Дин приподнялся на локте. Ты ударил меня, собака? Покончим с этим! Уже кончено, султан, сказал я спокойно.

Видишь, течет желтая и густая жидкость? Пошли сказать твоему коню, что завтра ты будешь в седле.

В тот же вечер Салах ад-Дин прислал мне золотой перстень с камнем величиной с орех. Для него, так же как и для меня, этот дар был только знаком внимания. Я взял его; я даю тебе его, сказал он, когда я пришел сменить перевязку. Он выразил самым кратким образом взаимодействие двух противоположностей, чье давление оказывается на весах жизни и смерти. В единстве брать и давать присутствует Бог.

В то утро Юсуф дольше обычного задержал меня. Он расспрашивал обо мне, о моей семье и доверил мне о себе не меньше, чем я доверил ему. Неожиданно это оказалось встреча двух людей, сразу почувствовавших взаимную близость, людей, которые никогда не искали бы друг друга, если бы уже не нашли. Он – в действии, я – в учении, мы давно уже шли сходными путями. Сначала ребенком, потом юношей, он, как и я, внимал гулу бесконечности. Мы были почти одного возраста. Взгляды маленького пленника кордовской иешивы и взгляды маленького пастушка с курдских гор, должно быть, пересеклись в необъятности. Как и я, Юсуф искал истину, не изменчивое и мимолетное ее отражение, но истину в ее материальности и плотности, по образу и подобию зрелого плода, в который можно вгрызться. Мы жаждали ее во всем ее великолепии и сиянии, полную и цельную. О чем бы мы говорили, если не об этом?

Когда перевязки кончились и предлог для встреч отпал, они все равно продолжали быть ежедневными, если султан был во дворце. Он дал особый приказ, и я входил к нему как к себе домой. Часто зал был полон нерадивых слуг и заискивающих советников. Юсуф отворачивался от них, брал меня за руку и мы уединялись в

одном из его покоев. Я проверял его дыхание, рассматривал на свет его мочу, исследовал его испражнения. Все это делалось по его просьбе и не потому, что он беспокоился о своем здоровье, а чтобы оправдать его щедроты по отношению ко мне. Чаще всего именно он расточал мне советы: я слишком много работаю; у меня слишком короткое дыхание, как у людей с усталым сердцем; я должен позволить себе отдых в Александрии, в его дворце, морской воздух будет мне полезен.

После этого мы некоторое время беседовали о том, к чему тянулись наши души. У Юсуфа не было образования, и в этом крылась одна из причин его привязанности ко мне; в нем была одухотворенность, и в этом крылась одна из причин моей привязанности к нему. Его называли фанатиком; нет ничего более ошибочного: он в высшей степени обладал даром абстракции, и его мысль естественным образом воспаряла к вершинам. Его склонность к философии отражала устремленные ввысь горы. Мир для него застыл в чистой вертикали. Сам того не зная, он сделался сторонником теории мутазилитов¹³⁴, для которых религия — источник любых знаний. То, что какое-либо явление могло быть непосредственной или опосредованной причиной другого, было для него непостижимо. В явлениях, говорил он, нет и искры разума, и, следовательно, они не могут приказать чему-либо свершиться. Бог, создав мир, придал ему незыблемые привычки, которые никто, кроме него, не в состоянии изменить. Тучи и дождь появляются вместе по привычке. Брошенный камень падает по привычке. Поэзия и истина, которые дремлют в священных текстах, по существу, только поэтические и действительные волнения, рождающиеся в душе верующего. Душа Юсуфа была богаче поэзией и истиной, чем Коран,

который он знал наизусть. Он охотно цитировал Коран; и в его устах стихи Корана приобретали большую значимость. Ни одного мгновения он не сомневался, что находится на пути возвышения и что идет прямо в лоно пророка. Война тоже была привычкой, ибо посланец Бога сказал: спасение под сверкающими саблями и рай под сенью мечей; тот, кто сражается ради того, чтобы слово мое было превыше всего, тот на пути ко мне.

С осторожностью охотника на змей я пытался ввести в наши споры более разумный подход. Я отваживался вступать в лабиринты доводов мутакалимов¹³⁵, против которых я и сам выступал, но их теория открывала доступ разуму. Я прибегал к заимствованиям у перипатетиков, у пифагорейцев¹³⁶ и даже у материалистов, дабы придать блеск моим примерам. Не то, чтобы Юсуф не хотел понимать, он не мог понять. Я говорил на другом языке, и чудом было уже то, что между нами существовало полное согласие. Мне случалось читать ему отрывки из моей большой книги, работа над которой продвигалась. Он внимательно слушал, подолгу размышлял и изрекал: это очень хорошо сказано. Но что ты хочешь этим сказать?

Однажды утром я застал его озабоченным. Он долго не говорил мне причину. Он получил тогда письмо, разоблачающее меня как отступника. Слушаю было угодно, чтобы мой бывший сотоварщик и судья в Фесе Ибн Муса проезжал через Фустат и услышал обо мне. Клянусь Аллахом, писал он, что этот пес был мусульманином под покровительством эмира правоверных Абд-эль-Мумена, и вот — он еврей и раввин и пользуется твоей милостью. Во имя истинной веры я требую смерти изменника. Юсуф много раз провел ладонью по измятому листку, как если бы хотел стереть написанное. Он действительно был огорчен; и я не меньше его. В законе ислама нет возможности

прощения за преступление отступничества, а он, Юсуф, был вершителем закона. Долгое время сидели мы друг против друга, не говоря ни слова, оба опечаленные. Призовет ли сейчас Салах ад-Дин своих стражников и предаст меня в руки судьи и палача? Молчание становилось нестерпимым. Я первый нарушил его. Султан, сказал я, ты сам решишь по совести. В этом письме сказана правда, за одним исключением: я не был добрым мусульманином, я был мусульманином вынужденно. Ты знаешь Коран наизусть, вспомни стих пророка: Я не поклоняюсь тому, whom поклоняется вы. Вы не поклоняетесь тому, whom поклоняюсь я. Вам — ваша вера, мне — моя. Это было сказано и записано в третьем году до хиджры, в городе Мекке и перед лицом Бога. Смех, громкий смех Юсуфа был мне ответом. Не спеша, он разорвал письмо на мелкие клочки. У пророка есть ответ на все, сказал он. Если доноситель повторит свои обвинения, я смогу заставить его замолчать, да услышит меня Бог.

Говорили мы и о ясновидце по имени Ахав¹³⁷, который ездил по Верхнему Египту и провозглашал себя предтечей Мессии. Он призывал евреев и арабов становиться под его знамена в предвидении уже близкого Страшного суда. Многие сотни оборванцев, вытаращив глаза, бежали за ним. Шествие уже подошло под стены Саны, и Ахав вынудил йеменского эмира выйти за стены города и покориться его слову. Эмир приказал разбить шатер и выехал. Как я узнаю, сказал он, что твое слово истинное? Ахав перечислил все совершенные им чудеса, о которых могли свидетельствовать следовавшие за ним: он мог ходить по воде, превращать воду в вино, излечивать прокаженных, возвращать к жизни мертвых. Представь мне доказательство, сказал эмир, и я подчинюсь! Ладно! сказал Ахав. Отрежь мне голову, и через мгновение она снова будет у меня на плечах. Без

сомнения, он думал, что эмир не посмеет; или что Бог отвратит лезвие меча; или что его место займет агнец. Эмир посмел. Лезвие не отвратилось. Агнец не появился. Это могло стать концом Ахава, но не стало. Оборванцы поместили останки в каменную гробницу и долго оплакивали его. У Ахава была семья, и вот родные совершили долгое путешествие, чтобы увезти тело. Когда вскрыли гробницу, она оказалась пуста. Семья распространяла слух, что Ахав воскрес, и шествие направилось к Египту, все время пополняясь исступленными евреями и арабами. Юсуф вынужден был послать отряд воинов разогнать ясновидцев, иначе родилась бы новая секта. В этом мире, и так перенасыщенном сектами, это и в самом деле не самое лучшее из того, что может произойти.

Если флагок на фронтоне дворца был спущен, это означало, что султан сам выступил в поход. Наступали дни, когда Эль-Кахира был пуст; улицы и площади освобождались от густой толпы, и их геометрические линии вырисовывались ясно и четко. Внезапное отсутствие войск возвращало город самому себе, и шум и толкотня сменялись дремлющим молчанием некрополя. У городских ворот и во дворцах больше не видно было воинов, в коридорах не было рабов, в конюшнях — всадников; для меня это было время отдыха, то есть усиленной работы над моей большой книгой. Она становилась все полнее и толще: более ста глав были закончены и уже распространялись в дальних странах. Критика, похвала и хула скапливались на моем столе. Если бы пишущие подозревали до какой степени их мнения, плохие и хорошие, мало трогали меня, я думаю, они воздержались бы и не стали сообщать мне их. В моем равнодушии вовсе не было гордыни. Я заранее испытывал к тем, кто будет читать меня, бесконечную призательность. Я предлагал им лучшие из моих размышлений. Почему я не

мог прямо сказать им, что слишком поспешное суждение равно положительное и отрицательное может ввести их в заблуждение и тем принести вред, но не причинит мне неприятностей.

Юсуф отсутствовал полгода, год, иногда больше. Он возвращался в облаке пыли и в ореоле славы по привычке, а следом за ним неслись славные имена: Газа, Басра, Дамаск, Яффо, Акко и возобновлялись наши утренние ежедневные беседы с того самого места, где их прервала война. И одна, и другая сторона испытывали равное удовольствие от встречи. В то время как народ пировал, повозки, полные военной добычи, прибывали во дворец, Юсуф предавался блаженству размышлений о смысле жизни. Для него существовала только одна добродетель — быть верным, и только одно достоинство — быть покорным. Его победы? Много упорства и усталости, особый метод командовать войском, надежные сведения; ошибки противника и Божья воля довершали остальное. Он был совершенно искренен, когда утверждал, что война против крестоносцев имеет только одну цель: возврат к миру навсегда. Он никого не ненавидел; он презирал только трусость и вероломство. Как распространить в мире убеждение, что у людей есть более достойные занятия, чем убивать друг друга?

В тот год ликовали, как никогда, пышность и веселье били через край. Юсуф привез победу над Иерусалимом. Он казался еще более взволнованным, еще более жаждущим очищения. А ведь он не устроил там резни в отместку за отвратительную бойню, совершенную крестоносцами. Он хотел показать, сказал он, превосходство цивилизованного полководца над полководцами-варварами. Ни один житель не претерпел притеснений. Всем было разрешено покинуть город и унести свое имущество, предварительно уплатив подушную подать в размере десяти бизантинов¹³⁸ за мужчину,

пяти — за женщину и одного — за ребенка. Религиозные ордена — тамплиеры, госпитальеры, нищие и богачи ушли первыми. Оставалось около тридцати тысяч неплатежеспособных, и за их свободу шел упорный торг между султаном и патриархом; торговались за каждого человека и за каждый бизантин. Юсуф привел за собой шестнадцать тысяч рабов, за которых казначеи церкви не захотели или не смогли заплатить.

Иерусалим, сказал он задумчиво. *Иеру — Салем*, город мира¹³⁹. Аль-Кудс Святой¹⁴⁰. С башни Давида, где была его ставка, он видел, как ушел последний житель города. Теперь это был только пустырь меж израненными стенами. *Иеру — Салем*, сказал он еще раз, прижав руки к груди. *Я взял его...* Он протянул ко мне руки и посмотрел мне прямо в лицо. *Я дарю тебе его...* И так как я молчал, не смея понять и не смея не понимать, Юсуф внезапно ожил. Я дарю тебе этот город, сказал он торжественно. Я дарю тебе земли Иудеи от Иордана до моря. Я дарю их тебе, дабы они были твоими и дабы ты вернул их твоему рассеянному народу. Разошли письма во все обитаемые места в мире и объяви новость, что Салах ад-Дин подарил тебе Иерусалим и Иудею. Пусть твои братья во множестве возвращаются туда, ибо нужно восстанавливать стены, сажать деревья, удобрять почву, воссоздавать царство.

Я упал лицом на землю и поцеловал платье Юсуфа. Я отвечу тебе завтра, только эти слова смог я пролепетать. Я вышел из дворца как лунатик. Вместо того чтобы ехать в Фустат, я направил коня к востоку, и вскоре вокруг меня были только песок и небо. Весь остаток дня и всю ночь, палимый солнцем и пронизываемый холодом, я мысленно взвешивал доводы мечты и доводы разума. Наверное, обо мне беспокоились, наверное, меня в смятении искали. Я чувствовал

себя обезумевшим и в то же время спокойным, жалким и в то же время торжествующим. Итак, Бог говорил со мной, и мне нужно было дать ответ Богу.

Наступил час, когда я смог предстать перед Юсуфом. Он так же был напряжен в ожидании, как я в своей решимости. Мой ответ — нет, сказал я. Султан, твои сыновья захотят отобрать то, что ты даешь мне. Их много. Семнадцать, если верен счет. Он грубо перебил меня. Все мои сыновья тряпки и ничтожества. Они думают только об удовольствиях. Тем более, сказал я. Когда они увидят, что стены восстановлены, леса насажены, сады расцвели, они так вожделенно устремятся туда, что ни у кого не достанет сил сопротивляться им. Нам придется сражаться с оружием в руках, чтобы защитить свое добро, а мой народ уже разучился делать это. Твой дар, по справедливому размышлению, будет отравлен этим. Он дается слишком рано и слишком поздно: слишком рано в веках и слишком поздно для меня, я уже стар. Перо падает у меня из рук. А как же сабля? Наступит день, Юсуф, и обещание осуществится, ибо оно переходит от отца к сыну в течение тысячи лет и более, оно найдет свое время, оно найдет своих людей. Но не сегодня. Но не меня.

В следующем году Салах ад-Дин умер, как я уже сказал.

* * *

Друг мой, не я довожу до конца эту книгу, она меня доводит до конца. Оставшееся время так коротко, что дни кажутся мне веками, а годы — мгновениями. Еще вчера я спрашивал себя, что я сделаю в этой жизни; сегодня мне уже следует делать заключение, что я сделал.

Итог тоже краток: накопил усталость. Ее груз скоро станет слишком тяжел, и его нельзя будет вынести.

Как он и предвидел это, сыновья надругались над Салах ад-Дином. Они разорвали империю в клочья, и каждый сжимает в зубах свой окровавленный кусок. Один из них умер от удара кинжалом; другой — от яда; третий утонул в колодце. Оставшиеся в живых в свободное время воюют друг с другом. Иерусалим не восстановлен. Жители Газы селятся на облезлых склонах горы Сион. Пустыня все больше захватывает невозделанные земли Иудеи.

Наследник, захвативший Египет, Аль-Аф达尔, обрюзгший молодой человек, делит свое время поровну между постелью и столом; когда он не у своих жен, он озабочен скоплением газов в кишечнике. И в том и в другом случае он утверждает, что не может обойтись без меня. Я вынужден был написать для него трактат о питании и о болезнях заднего прохода, а также практическое руководство по сохранению и использованию половой силы. Он наизусть знает эти книги, но характер его не знает умеренности. Разнуданность убьет его, если кто-нибудь из братьев не сделает этого раньше. Каждое утро Аль-Аф达尔 требует моего присутствия. Приняв ванну, умастившись благовониями, дряблый, он позволяет мне уйти только после того, как я совершу полный врачебный осмотр его персоны и отвечу на сотню вопросов о его состоянии в этот день.

Когда мой конь поднимается на холм в Фустате, его сердце бьется быстро, но мое — еще быстрее. Иногда мне так тяжело дышать, что у меня темнеет в глазах и гудит в ушах. Отеки, как капканы, сжимают мне ноги. Глаза мои постоянно слезятся, а мочевой пузырь часто переполняется и неподвластен мне. Будет ли у

меня когда-нибудь время посоветоваться с хорошим врачом? Мой двор и приемная заполнены разными людьми, они ждут, когда я смогу их принять. Некоторые приходят из отдаленных мест и даже вынуждены провести здесь ночь. Я испытываю некоторую горечь оттого, что большинство моих пациентов менее серьезно больны, чем я. Однако то, что я могу еще быть полезен, воодушевляет меня. Я проглатываю чашку бульона и до поздней ночи раздаю утешения и лекарства. Мой метод, вероятно, не лишен достоинств, раз столько людей толпятся здесь, желая испытать его воздействие.

Когда наконец наступает тишина и я остаюсь один, я могу взять в руки перо. Заблуждаюсь ли я по-прежнему относительно значения написанного мною? О моих сочинениях яростно спорят, следовательно, они живут. Но когда я перечитываю их, я чувствую себя зажатым между двумя системами, которые представляют собой смесь, но не сплав. Вести Бога в разум и разум в Бога — это безумный замысел. Честолюбивый и робкий, я недалеко зашел в этом безумии. Нет, лев и овца не спят вместе. Я не придумал ничего нового; да и как мог я сделать это? Задолго до того, как я был еще семенем, мир был завершен, наука была завершена, медицина была завершена, философия была завершена. То, что следовало познать, — познано. Ничто другое не будет создано человеческим разумом. Я только ввел в свое полное терзаний существование одну своеобразную черту, древнюю, как судьба Израиля: я сумел сохранить и передать другим, наперекор всем бурям и ураганам, самую сокровенную часть самого себя.

Может быть, это не так уж и плохо.

Да пребудешь ты во здравии.

МОЛИТВА

Боже, наполни мою душу любовью к искусству врачевания и ко всем творениям Твоим. Избавь меня от искушения, чтобы жажда наживы и стремление к славе не воздействовали на меня при исполнении моего ремесла. Укрепи силу моего сердца, чтобы оно всегда было готово служить бедному и богатому, другу и врагу, праведнику и грешнику.

Сделай так, чтобы я видел в страждущем только человека. Сделай так, чтобы разум мой оставался ясным при всех обстоятельствах, ибо велика и благородна наука, цель которой сохранять здоровье и жизнь творений Твоих.

Сделай так, чтобы мои больные питали доверие ко мне и к моему искусству и чтобы они следовали моим советам и предписаниям. Удали от их ложа шарлатанов и армию родных с их тысячью советов и сиделок, которые всегда все знают; этот опасный сброд из тщеславия способен погубить лучшие намерения.

Надели меня, о Боже, терпением и снисходительностью по отношению к грубым и упрямым больным.

Сделай так, чтобы я был умерен во всем, но ненасытен в любви к науке. Отдали от меня мысль, что я могу все. Дай мне силу, желание и возможность все больше углублять знания, чтобы я мог применить их на пользу страждущим.

Да будет так!

Моше бен-Маймон Испанец.

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА

Памфлет "Три обманщика" (или "обмана", в зависимости от перевода) будоражил мир просвещенных людей в течение более чем трех веков. Эту вещь, которую много раз сжигали, а читающих ее приговаривали к повешению, чаще всего приписывали Аверроэсу, "этому бешеному псу, движимому ненасытной яростью и непрестанно лающему на Христа и всю католическую веру" (Петrarка).

Текст "Послания к общинам" рабби Маймона полностью сохранился. Нам все же показалось целесообразным создать его заново, согласно духу, но не букве, и не приводить настоящий текст, хотя бы и в отрывках, поскольку верно, что одни и те же идеи выражаются по-разному в разные периоды Истории.

Редкие цитаты, заимствованные из "Наставника колеблющихся", включены в текст без особых указаний и опять-таки всегда согласно духу, а не букве.

Почти доподлинно известно, что у Салах ад-Дина был план восстановить царство Иудеи и вернуть туда в массовом порядке рассеянных по всему свету евреев, но не только потому, что он верил в особый динамизм еврейского народа, но и потому, что в его интересах было создать автономную политическую единицу, буферное государство, выражаясь современным языком, между

Сирией и Египтом, поскольку их беспрерывное соперничество постоянно угрожало освобожденной от крестоносцев Палестине.

В 1935 году по случаю 800-летия со дня рождения Маймонаида на небольшой площади Иудерии в Кордове был установлен бронзовый бюст, созданный на собранные во всем мире по подписке деньги. Само собой разумеется, что это изображение основано только на воображении скульптора.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Эрнест Ренан (1823–1892) — французский ученый и писатель, известный своими книгами по истории религий.

² Анри де Монтерлан (1896–1972) — французский писатель.

³ Экзегеты — ученые, занимающиеся экзегетикой, то есть разъяснением и истолкованием Библии, классических текстов древности и т.п.

⁴ Дата указана по еврейскому летосчислению. 4960 год — 1200 год по григорианскому календарю. (Примеч. авт.)

⁵ Великое внутреннее море — Средиземное море.

⁶ Янус — в римской мифологии божество дверей, входа и выхода, затем — всякого начала. Изображался с двумя лицами (одно обращено в прошлое, другое — в будущее), отсюда выражение “двуликий Янус”.

⁷ Макама (араб.) — жанр короткой плутовской новеллы в классических литературах Востока и еврейской литературе. Макамы писались рифмованной прозой, излагались от первого лица, изобиловали игрой слов, цитатами и изречениями.

⁸ Пьер Абеляр (1079–1142) — французский философ, богослов и поэт.

⁹ Франкской арабы называли Сирию под властью крестоносцев, а франками — всех европейцев.

¹⁰ Ассасины — мусульманская шиитская секта, основанная в 1081 году. Название ассасины происходит от слова “гашиш”. Так крестоносцы трансформировали звучание

этого слова. Члены секты накуривались гашиша перед тем, как отправиться на очередное убийство. В западных языках (английском, французском) ассассин до сих пор означает "убийца".

¹¹ Салах ад-Дин, или Саладин (1138–1193) — египетский султан с 1171 года. Основатель династии Айюбидов.

¹² Традиционное пожелание евреев в конце пасхального седера.

¹³ Имеется в виду Шмуэль Ибн Тиббон (ок. 1160 — ок. 1230) — первый переводчик трудов Маймонаида с арабского на иврит. Жил в Провансе.

¹⁴ Андалусия — так называли в средние века мусульманские владения, расположенные на юге современной Испании.

¹⁵ Сенека-ратор (ок. 60 г. до н.э. — 39 г. н.э.) — римский писатель и ратор, называемый иначе Сенека-отец; Сенека-философ (ок. 4 г. до н.э. — 65 г. н.э.) — Сенека-сын, философ и автор трагедий.

¹⁶ Иудерия (исп.) — еврейский квартал.

¹⁷ Алькасар (исп.) — крепость.

¹⁸ Мосарабы — христиане Пиренейского полуострова, жившие на захваченной арабами-мусульманами в начале VIII в. территории и воспринявшие арабский язык и культуру.

¹⁹ Эдомитяне — так евреи эвфемистически называли христиан. (В Библии Эдом описывается как вечный враг Израиля.) Здесь слово употреблено в значении "чужаки".

²⁰ Князь иудерии — термин эпохи римского владычества, обозначающий обычно принципала, главу города; в данном случае — глава еврейской общины. (Примеч. авт.)

²¹ Иехуда ха-Леви (Галеви; не позднее 1075–1141) — еврейский поэт средневековья, виднейший представитель

так называемого золотого века еврейской культуры в мусульманской Испании.

²² Суры — главы Корана; хадисы — рассказы о поступках и суждениях Магомета (Мухаммада).

²³ Еврейская община города Вормса (Германия) была почти вся истреблена накануне 1-го крестового похода (1096 г.). Она быстро восстановилась, но в 1196 году вновь подверглась жестокому разгрому.

²⁴ Мутакаллимы — мусульманская философско-богословская школа, возникшая во 2-й половине VIII в.

²⁵ Ибн Нагделя (Ибн Нагрела; 993—1056), Ибн Габирол (1022—?), Моше Ибн Эзра (Ибн Эзра Старший; 1055—1135) — еврейские поэты средневековой Испании.

²⁶ Абу Ибн Сина (Авиценна; 980—1037) — знаменитый арабский ученый, философ и врач. Жил в Средней Азии и Иране. Его наиболее известный труд — “Канон врачебной науки”.

²⁷ Альмохады — название династии и государства в Северной Африке (1121/22—1269).

²⁸ Альморавиды — название династии и государства в Северной Африке (сер. XI в. — 1146). К 1090 г. государство альморавидов включало в себя Марокко, Зап. Алжир, мусульманскую Испанию, Балеарские о-ва, но в 1146 г. оно было уничтожено альмохадами.

²⁹ Апоневроз — сухожилие, которым широкие мышцы прикрепляются к костям.

³⁰ Иехуда ха-Наси (2-я пол. II — нач. III вв. н.э.) — собиратель и редактор Устной традиции. Этот труд получил название Мишна, он является первой частью и основой Талмуда.

³¹ Возможно, имеется в виду Менахем Бен-Яир, один из вождей евреев-зелотов, напавший в 66 году на Масаду и перебивший там римский гарнизон.

³² Суф (араб.) — род длинной мужской одежды.

³³ Ибн Рушд (Аверроэс; 1126–1198) — арабский философ и врач. Представитель восточного аристотелизма. Жил в Андалусии и Марокко, был судьей и придворным врачом. Рационалистические идеи Ибн Рушда оказали большое влияние на средневековую философию.

³⁴ Клавдий Гален (ок. 129–200 г. н. э.) — знаменитый римский ученый, родом из Пергама; врач римских императоров.

³⁵ Зендик (араб.) — еретик, вероотступник.

³⁶ Салат (араб. молитва, синоним персидско-турецкого намаз) — один из главных обрядов ислама, ежедневное пятикратное богослужение.

³⁷ Кади — духовный судья у мусульман.

³⁸ Имам — духовный глава мусульман, мулла.

³⁹ Парафраз из Книги Иова.

⁴⁰ Аллах акбар (араб.) — Аллах велик.

⁴¹ Адонай элохейну (иврит) — Господи, Боже наш.

⁴² Пифагор — греческий философ середины VI в. до н. э.; Эвклид — греческий математик, создатель научной геометрии (IV–III вв. до н. э.); Птолемей — греческий ученый-астроном (ок. 90–168 г. н. э.); Альфараби (Фараби; 870–950) — арабский философ средневековья; Газали (Аль-Газали; 1059–1111) — арабский философ средневековья; Саадия Бен-Иосеф (Саадия Гаон; ок. 882–942) — еврейский философ и грамматик средневековья.

⁴³ Религиозный обряд, знаменующий вступление еврейского мальчика в совершеннолетие.

⁴⁴ Александрийская Птолемея — наиболее известная библиотека древности. Основана в Александрии Египетской

в начале III в. до н.э. двумя первыми царями из рода Птолемеев. В 47 г. до н.э. пострадала от пожара.

⁴⁵ Мутенабби (Аль-Муттанаби; 915–965) — крупнейший арабский средневековый поэт; Абу Михдjan Абдаллах Ибн Хабиб (VII в. н.э.) — арабский поэт.

⁴⁶ Аристотель (384–322 г. до н.э.) — древнегреческий философ и ученый. Был воспитателем Александра Македонского. Сочинения Аристотеля охватывали все отрасли тогдашнего знания. В средние века его учение оказало огромное влияние на арабскую и еврейскую философию, в частности на Ибн Рушда и Маймонида.

⁴⁷ "Органон" — общее название, объединяющее ряд логических трактатов Аристотеля.

⁴⁸ Сирийский — письменный язык арамеоязычных христиан Передней Азии с V в. н.э.

⁴⁹ "Авот", точнее "Пиркей авот", — "Поучения отцов" — название одного из трактатов Мишны, представляющего собой древнейший сборник изречений и афоризмов религиозно-нравственного содержания.

⁵⁰ "Море" — имеется в виду "Морé неву́хýм", трактат Маймонида "Наставник колеблющихся".

⁵¹ Рамбам родился 14 нисана 4895 г. по еврейскому летосчислению (30 марта 1135 г.).

⁵² Таллит и тфиллин — молитвенные принадлежности евреев.

⁵³ Царфаты — от ивритского царфатим — французы.

⁵⁴ Бен-Маймон (иврит) — сын Маймона.

⁵⁵ "Альмагест" — так называли арабы знаменитое сочинение греческого астронома Птолемея, известное грекам под названием "Великое построение".

⁵⁶ Аркатура — ряд декоративных ложных арок на фасаде

здания или на стенах внутренних помещений.

⁵⁷ Калатрава — мавританский замок. В 1158 году христианскими рыцарями в Кастилии был основан духовно-рыцарский орден под тем же названием.

⁵⁸ Алькасаба (исп.) — крепость, построенная на возвышенности.

⁵⁹ В средние века во многих странах Европы евреи были обязаны носить на одежде в качестве отличительного знака изображение колеса желтого цвета.

⁶⁰ Падре Каддафи подразумевает шестиконечную звезду — “щит Давида”, символ иудейской веры.

⁶¹ Иехуда Ибн Эзра — главный сборщик податей при королевском дворе Кастилии, покровитель бежавших из Андалусии на север евреев.

⁶² Адриан — римский император, правивший с 117 по 138 г.

⁶³ У восточных народов считается, что лунный камень (опал) предохраняет своего обладателя от всех бед, как бы препоручает его Богу.

⁶⁴ Герофил (335 г. до н.э. —?) — греческий врач, первым стал производить вскрытия; Диоскорид (I в. до н.э.) — греческий врач; Гиппократ (460—377 г. до н.э.) — великий греческий врач, реформатор античной медицины; Разес (864—925) — известный арабский врач и философ.

⁶⁵ Имеется в виду Гален.

⁶⁶ “Ars parva” (“Малое искусство”) — медицинский трактат Галена.

⁶⁷ Пневма — по теории Галена, вещество, которое якобы пронизывает всю материю и оживляет организм.

⁶⁸ Куфия — арабский мужской головной убор в виде

большого полотняного платка, особым образом закрепляемого на голове.

⁶⁹ Ибн Баджа (кон. XI в. — 1138) — арабский врач, поэт, математик и философ. Жил в Испании и в Марокко. Был обвинен мусульманским духовенством в ереси и отравлен, а его труды были преданы сожжению.

⁷⁰ Миньян — кворум (десять взрослых мужчин), необходимый для совершения публичного богослужения и ряда религиозных церемоний у евреев.

⁷¹ Савл (на иврите Шаул), прозванный Павлом — один из апостолов; родился в иудейской семье, был ревностным гонителем христиан, затем в результате "чуда на пути в Дамаск" (явление света и голоса с небес) перешел в христианство, сменив прежнее имя Савл на Павел. Церковь относит смерть Павла приблизительно к 65 г. н.э.

⁷² Дуар (араб.) — табор бедуинов-кочевников. Йауди (араб.) — евреи.

⁷³ Респонсы — письма-ответы с изложением решений или мнений по проблемам еврейского религиозного законодательства — Галахи. Составлялись вместе с письмами-вопросами в виде сборников.

⁷⁴ Речь идет о важнейшем со временем завершении Талмуда своде еврейских законов, названном Маймонидом "Мишне Тора" ("Повторение Торы") или "Яд ха-хазака" ("Могучая длань"). "Мишне Тора" кодифицирует все законы Талмуда, а также комментарии гаонов (мудрецов) и ученых последующих поколений, включая собственные толкования Маймонида. Этот энциклопедический труд является важнейшим пособием для всех изучающих и исследующих Закон и в наши дни.

⁷⁵ См. библейскую Книгу пророка Даниила.

⁷⁶ Лунь — хищная птица, взрослый самец которой имеет серовато-белое оперение.

11 Оксимел — микстура из раствора воды, меда и уксуса.

⁷⁸ Книга Чисел (или просто Числа) — четвертая книга Пятикнижия.

⁷⁹ Arrieros (исп.) — погонщики молов.

⁸⁰ Bandoleros (исп.) — разбойники.

⁸¹ Rateros (исп.) — воры.

⁸² Bota (исп.) — кожаный бурдюк.

⁸³ Антитетический — противоположный, противополагаемый.

⁸⁴ Иисус Христос и пророк Мухаммад.

⁸⁵ Акциденция (лат.) — случайность. В философии — случайное, преходящее состояние, несущественное свойство предмета.

⁸⁶ Баб-эль-яуд (араб.) — Еврейские ворота.

⁸⁷ Ибн Туфайль (ок. 1110—1185) — арабский философ, врач, астроном, математик.

⁸⁸ Вади (араб.) — обычно сухое русло ручья или реки, наполняющееся водой только в сезон дождей.

⁸⁹ Фундук (араб.) — постоянный двор.

⁹⁰ Шлё — берберское племя, обитающее на севере Африки.

⁹¹ Сук (араб.) — рынок.

⁹² Комнины — династия византийских императоров (1057—1185).

⁹³ Диффа (араб.) — у мусульман Северной Африки прием знатных гостей, сопровождаемый пиршеством.

⁹⁴ Измененная цитата из Книги Бытие, гл. 41. Фараону

приснились семь тучных и семь тощих коров и колосьев, и Иосиф растолковал это как семь грядущих изобильных и семь голодных лет.

⁹⁵ Медресе (араб.) — средняя (реже высшая) религиозная школа у мусульман.

⁹⁶ Меллах (араб.) — еврейский квартал в Марокко.

⁹⁷ Барбакан (араб.) — бойница укрепления.

⁹⁸ Сабеизм — религиозное направление, возникшее в Месопотамии и существовавшее с древних времен до XI в. н.э. Сабеи обожествляли небесные светила.

⁹⁹ Кадариты (от араб. кадар — способность, возможность) — в исламе сторонники учения о наличии свободной воли у человека. Кадариты появились в VII в. и были противниками джабаритов — сторонников предопределения.

¹⁰⁰ Сеид — почетный мусульманский титул. В данном случае — приближенные правящей особы.

¹⁰¹ Иом-Киппур (День искупления, Судный день) — в еврейской традиции самый важный из праздников, день поста, покаяния и отпущения грехов.

¹⁰² Хаджий — у мусульман почетное звание того, кто совершил паломничество (хадж) в Мекку или в Медину, считающееся у мусульман подвигом благочестия.

¹⁰³ Тулуза, Пуату, Аквитания, Анжу, Лотарингия — города и провинции во Франции.

¹⁰⁴ Амори (Амори I; 1135—1174) — король Иерусалимского королевства.

¹⁰⁵ Квадумен — очевидно, искаженное старинное арабское название реки Нааман, протекающей возле Акко.

¹⁰⁶ Крестоносцы захватили Акко при Балдуине I в 1104 г.

¹⁰⁷ Птолемаида — название города Акко в эллинистический и римский периоды.

¹⁰⁸ Атабек (турк.) — военачальник.

¹⁰⁹ Фатимиды — династия, правившая на Ближнем Востоке в 909—1171 гг. Вела свое происхождение от Фатимы, дочери пророка Мухаммада (Магомета).

¹¹⁰ Виа Долороса (Крестный путь) — путь, по которому шел Иисус Христос к месту казни.

¹¹¹ Мечеть Святой Скалы — мечеть над камнем, с которого, по верованиям мусульман, Магомет вознесся на небо. Ее называют также мечеть Куббат ас-Сахра, или мечеть Омара.

¹¹² Стена (или Западная стена, а также Стена плача) — остаток стены, окружавшей Храмовую гору. Со времени разрушения Второго храма и по сей день) — еврейская святыня.

¹¹³ Имеется в виду Второй храм, разрушенный римлянами в 70 г. н.э. Назван здесь так, ибо при Ироде I (73—74 гг. до н.э.) Храм был реконструирован и расширен.

¹¹⁴ Каифа — нынешняя Хайфа. (Примеч. авт.).

¹¹⁵ Нави (иврит) — пророк.

¹¹⁶ "Мишне Тора" Маймонида состоит из 14-ти книг.

¹¹⁷ Шалем — название, под которым Иерусалим упоминается в Книге Бытие и в Псалмах; здесь связывается со словом "шалом" — "мир" на иврите.

¹¹⁸ Имеется в виду Стена плача.

¹¹⁹ Караймы — возникшая в VIII в. в Багдаде еврейская секта, доктрина которой основана на отрицании раввинистическо-талмудической традиции. См. о них дальше.

¹²⁰ Нагид (иврит) — в средние века глава еврейской общины в Египте, Турции и некоторых других странах.

¹²¹ Хиджра (араб.) букв. "переселение" — дата бегства Магомета из Мекки в Медину (622 г. н.э.), которая стала началом мусульманского летосчисления.

¹²² "Наставник колеблющихся" ("Море невыхим") — наиболее известный философский труд Маймона. В нем он четко разъясняет принципы и идеи иудаизма, пользуясь терминами и понятиями логики и философского рассуждения.

¹²³ Ричард I Львиное Сердце (1157–1199) — английский король с 1189 г. из династии Плантагенетов. Во время 3-го крестового похода захватил крепость Акру (Акко) в Палестине.

¹²⁴ Рахат-лукум — восточная сладость, приготавливаемая из муки, крахмала, сахара, орехов и фруктовых соков.

¹²⁵ В Эдоме — здесь, в переносном смысле, в Европе.

¹²⁶ Эмпирики, эмпиризм — греческая философская школа, признающая чувственный опыт единственным источником знаний.

¹²⁷ Болезнь берегов Нила — распространенное в тропиках инфекционное заболевание.

¹²⁸ Мирра (лат.) — ароматическая смола, вытекающая из трещин стволов некоторых африканских и аравийских деревьев; применяется в медицине.

¹²⁹ Имя султана Салах ад-Дина.

¹³⁰ В битве при Хиттине в районе Тивериадского озера Салах ад-Дин разгромил войска крестоносцев, после чего в 1187 году взял Иерусалим.

¹³¹ Черный камень Кааба находится в Мекке и является одной из главных мусульманских святынь. Пророк

Мухаммад утверждал, что он освящен еще Авраамом (Ибрагимом) и Ишмаэлем (Исмаилом).

¹³² Имеется в виду союз, заключенный Богом с еврейским народом.

¹³³ Уд (араб.) — египетский музикальный инструмент, предшествовавший лютне.

¹³⁴ Мутазилиты (букв. "отколовшиеся") — первые представители рационализма на мусульманском Востоке (VIII—X вв.).

¹³⁵ См. примеч. 24.

¹³⁶ Пифагорейцы — последователи учения древнегреческого ученого Пифагора; исходили из того, что количественные отношения являются сущностью вещей.

¹³⁷ Ахав — лжемессия, объявившийся в Йемене в сер. XII в.

¹³⁸ Бизантин — золотая монета.

¹³⁹ Иеру—Салем — название города Иерусалима связывается со словом "шалом" — "мир" на иврите и на арабском — "салем".

¹⁴⁰ Аль-Кудс Святой — с X в. н. э. арабы называют Иерусалим "Байт-аль-Кудс", "Дом святости"; "кудс" — "святость" (араб.).

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Предлагаемый читателю роман французского писателя Эрбера Ле Порре “Врач из Кордовы” посвящен жизни величайшего еврейского мыслителя средневековья Моше бен Маймона (Моисея Маймонида), в еврейской традиции именуемого Рамбам (Рабейну Моше бен Маймон). Создать живой образ философа и кодификатора Галахи, жившего в отдаленную эпоху, — задача нелегкая. Значительная часть обширного наследия Маймонида просто непонятна современному читателю, далекому от эзотерического мира средневековой философии и еще более — от тонкостей Галахи. В то же время писатель, берущийся за роман о философе, просто не имеет права ограничиваться описанием увлекательных событий биографии своего героя и обходить молчанием то, что составляло главный смысл и содержание его жизни, — его интеллектуальное творчество. Чем богаче жизнь мыслителя внешними событиями, тем больше соблазн уделить этим событиям — ради занимательности — главное место: читать такую книжку будет, конечно, интересно. Так, например, можно написать авантюрный роман о жизни Платона или остросюжетную новеллу о Спинозе; но как беллетризовать, скажем, однообразную жизнь Канта? В последнем случае автору потребуется талант Пруста или Джойса. С этой точки зрения жизнь

Маймонида — весьма благодарный сюжет: она полна драматических событий, в ней есть преследования, бегство из страны в страну, трагическая гибель любимого брата, прижизненная слава и благоволение властителя. Но события личной жизни Маймонида — это вехи истории еврейского народа. Писать о жизни Маймонида — значит писать о судьбе еврейства в средние века, когда оно было зажато между двумя могущественными, враждебными друг другу силами — христианством и исламом — и упорно боролось за свое выживание, отстаивало свою религию и свое национальное бытие. Ясно, что биографический роман о Маймониде — это роман, который должен быть проникнут глубоким историзмом.

Что это такое, однако, "исторический роман"? Требует ли этот жанр скрупулезной точности бытовых деталей и выверенных дат? В романе имеются признаки подробного изучения автором исторической обстановки, но ее воспроизведение нигде не превращается в самоцель. Этот исторический роман написан нашим современником для нас. Он говорит о том, что волнует нас сегодня, и говорит не архаичным, а современным, точным и взволнованным языком. В то же время персонажи романа не просто наши современники, наряженные в маскарадные исторические костюмы. Они — люди прошлого, но прошлого, увиденного и заново пережитого человеком, ощущающим связь времен. Автор — не архивариус и не пассеист — эстет, любующийся причудливой экзотикой прошлого. В прошлом он находит явные и неявные параллели настоящему. Соблазнительно увидеть в родном городе Маймонида, Кордове, изображенной в романе с такой идеализирующей любовью, параллель довоенной Франции, где жил и, по-видимому, был счастлив автор.

Идиллическое существование Кордовы, этой "жемчужины Андалусии", земли, которую много-

численные ученые признали "наиболее благоприятной для расцвета человеческой личности", нарушаются вторжением кровожадных варваров-альмохадов, и евреи, благоденствовавшие в этом почти райском городе, вынуждены спасаться бегством. Это подлинные исторические события. Маймонид действительно родился в Кордове в 1135 году, а в 1148 его семья была вынуждена бежать из Испании от преследований фанатичных мусульманских завоевателей и долго странствовала по городам Северной Африки и Эрец-Исраэль, пока не осела наконец в Египте. В то же время это ситуация, знакомая многим тысячам еврейских беженцев, преследуемых по пятам чудовищем нацизма, вынужденных бежать из страны в страну в поисках пристанища.

Возможно, не лишен автобиографических элементов рассказ писателя о детстве Моше бен Маймона, о его мужании, о потрясающем опыте приобщения к медицине и горьком осознании ее бессилия перед безжалостной природой. Быть может, в отчаянной мольбе к Предвечному о спасении жизни чахоточной девочки и в грозном ответе, подобном тому, который дан был некогда многострадальному Иову, заключена для писателя сокровенная тайна еще не сформированной философии Маймонида, чей бесстрашный ум не останавливался перед обсуждением вопросов, питающих сомнение. Так философия вводится в ткань романа. Автор не пытается разобраться в хитросплетениях средневековой метафизики — он говорит о жизненном смысле философских доктрина. Далекий от документальной точности, он произвольно смещает даты, описывает общение людей, никогда не встречавшихся друг с другом, — все это ради воплощения глубинного и вечного смысла давнишних философских споров.

Учителем Маймонида писатель делает арабского философа-рационалиста Ибн Рушда (известного в

христианской Европе под именем Аверроэс), хотя в действительности Маймонид, по-видимому, никогда не встречался с Ибн Рушдом. Чтобы подчеркнуть вольнодумный характер рационализма Ибн Рушда, писатель превращает его в совершенного безбожника и приписывает ему авторство знаменитого средневекового атеистического трактата "О трех обманах". Есть, однако, правда в словах, вкладываемых писателем в уста своего героя, который так оценивает свои отношения с Ибн Рушдом: "Мы были, и я могу уверенно сказать это, он — мусульманин-еретик, я — еврей, исполненный веры, но задетый сомнениями; мы были людьми одного склада".

Зато совсем иного склада другой человек, оказавший в изображении Э. Ле Поррье огромное влияние на формирование духа Моше бен Маймона. Великий поэт и мыслитель-иррационалист Иехуда ха-Леви (с которым в действительности Маймонид встречаться не мог: в год смерти Иехуды ха-Леви ему исполнилось шесть лет) изображен в романе утонченным гедонистом, чья любовь к наслаждениям парадоксальным образом сосредоточена со страстной и самоотверженной верой в Бога и тоской по Сиону. Нерассуждающая и непоколебимая вера оказывается достоянием не только "поэта и распутника" Иехуды ха-Леви, но и прочно стоящего на земле, жизнерадостного простолюдина, резника Йоада, который предпочитает умереть от руки фанатиков-мусульман, но не нарушить запрет работать в субботу. Вера Маймона не такова. Герой романа (как, возможно, и его исторический прототип) ищет и сомневается. Правда, сомнения героя романа выражены совсем иначе, на другом языке. "Видите ли, падре, — говорит герой романа в споре с евреем, принявшим крещение, — меня не учили любить Бога, и я думаю, мы почти все такие. Мое детство было долгим движением во страхе. Вначале этот страх

внушал мне отец, непреклонный хранитель Закона, а затем книги, полные предостережений, предупреждений и угроз... И вот судьба подарила мне милость и охраняла меня справа, и охраняла меня слева, и я освободился от страха. Тот, кто угрожает и мстит, тот, кто сеет страдание и несправедливость, тот, кто отрекается и покидает, тот не мой Бог. Я подверг Его испытанию, и Он сломался. Он сломался здесь, в моей груди, и я бросил на пути обломки. А того, кто сотворил небесные сферы и луну, и существ, живущих и дышащих под луной, того, кто в мире и справедливости мог бы быть моим Богом, того я еще не научился любить всем сердцем. Я сейчас меж двумя вратами, я вышел из ворот страха и не вошел во врата любви". Так не мог рассуждать исторический Маймонид. Но это рассуждение делает сознательный и свободный выбор героя романа религии своих отцов понятным и близким современному читателю, далекому от ортодоксального иудаизма. Ибо "союз между народом Израиля и Создателем всего сущего не может быть разорван. По крайней мере, один из заключивших союз — вечен, и это значит, что обязательство принято навеки".

Одним из главных трудов Маймонида является его систематизированный кодекс законов, догматов и обрядов, основанный на Библии и Устном Законе, — "Мишне Тора". Какие мотивы руководили им в составлении этого кодекса? Маймонид романа берется за этот грандиозный труд "из величайшей любви не к Богу, который забыл Израиль, а к Израилю, который не забыл Бога". Народ Израиля, по мнению героя романа, "не столько нуждался в родине, сколько в том, чтобы быть вместе... Быть вместе, чтобы вместе надеяться, вместе учить, вместе ссориться, вместе умирать. И, прежде всего, говорить друг с другом. Народ утратил эту привычку под давлением

событий. Только небольшому числу просвещенных людей была доступна разносторонность Учения. Невозможно было преобразовать народ, следовательно, надлежало преобразовать Учение, чтобы довести его до его поколения”.

Здесь романист почти не отступает от исторической правды. Грандиозный замысел Маймонида охватить и свести в стройную и сжатую систему огромную талмудическую литературу, добиться ясного, недвусмысленного истолкования запутанных и сложных дискуссий диктовался стремлением “сделать изучение Галахи доступным каждому, чтобы все законы и установления, заключенные в книгах и комментариях, написанные со времен Иехуды ха-Наси и по сей день, стали понятны всем — великим и малым. Иными словами, должно быть так, чтобы еврей не нуждался ни в каких иных сочинениях, посвященных законам; мой труд будет включать в себя всю Устную Тору со всеми галахот (законами), обычаями и гзерот (указами), появившимися со времен Мозе-рабейну и до составления Талмуда. Поэтому и назвал я свое сочинение “Мишне Тора”, предполагая, что человек, изучающий Письменную Тору, сможет из моей книги узнать всю Устную Тору, не прибегая к другим источникам”. Так определил свой дерзкий замысел автор “Могучей дланей” (“Яд ха-хазака”, другое название кодекса “Мишне Тора”).

И герой романа, взирающий из XX века на свой прототип критическим, но сочувственным взором, замечает: “В моем замысле была само-надеянность. Но с первого же росчерка пера я знал, что достигну цели и доведу работу до конца”.

Вполне соответствует учению исторического Маймонида рассуждение героя романа о том, что “не следует понимать откровение буквально, и что уместно воспринимать его как чистую алле-

горио. Значит ли это, что метафизическая истина не может быть высказана? Ни в коем случае. Пророк был достаточно мудр, чтобы не сформулировать ее лишь бы как и лишь бы для кого и чтобы установить ступени посвящения в тайну. Я сравнил это с кем-то, кто кормил бы младенца пшеничным хлебом и мясом и поил бы вином; он несомненно погубил бы его, не потому что сами по себе продукты плохи и противопоказаны природе человека, а потому что тот, кто поглощал бы их, был не в состоянии переварить и извлечь из них пользу. Подобно тому, откровение могло быть изложено только в замаскированной, аллегорической форме, не языком взрослых, достигших высокого уровня знаний и мудрости, а языком детей, которые постигают учение в самом нежном возрасте. Поэтому слово укрыто, чтобы слабые умы не были ослеплены и чтобы совершенный человек, способный проникнуть в тайну, открывал его ясность”.

Таким проникновением в тайну, открытием подлинного смысла Писания и представлялся Маймониду его философский труд “Наставление колеблющихся” (“Море невухим’’). Это грандиозная попытка доказать, что рационалистическая система философии, построенная Аристотелем, вполне согласуется с истиной Откровения. Удался ли замысел Рамбама примирить разум и веру, перевести догматы религии на сухой и точный язык аристотелевской философии?

У читателя романа Ле Поррье создается впечатление, что автор не верит в успех самонадеянного предприятия своего героя. В уста Ибн Рушда он вкладывает саркастические возражения доводам Маймонида. А в самом начале книги, в обращении к некоему ученику-христианину, лучше других понимавшему идеи учителя, Маймонид с горечью признается: “И сегодня, когда я в плену у старости и когда смерть бродит вокруг меня, я

ближе к мраку, чем к свету, заблуждающийся среди заблуждающихся, невежда среди невежд, глупец среди глупцов и более чем когда-либо одинок”.

Для автора романа о Маймониде тайные сомнения его героя едва ли не важнее того, что написано им в его прославленных книгах. И здесь автор уловил тот диссонанс, ту дисгармонию, которые, несомненно, присущи философскому творчеству Маймонида. Ибо этот благочестивый и глубоко верующий еврей был одновременно холодным и трезвым рационалистом, и эти два полюса его духа с трудом поддаются примирению, хотя к этому, может быть, недостижимому примирению были направлены все его помыслы. Но если для средневекового мыслителя такая дисгармония была чем-то предосудительным, подлежащим сокрытию, пороком, в котором мыслитель едва ли мог признаться самому себе, то для современного истолкователя его мысли она выглядят достоинством, признаком вечного беспокойства, той невозможности удовлетвориться достигнутым успехом, каким-либо ограниченным содержанием, что, по мнению некоторых мыслителей, и свидетельствует о божественной природе человеческого духа.

Духовный подвиг Маймонида представляется сегодня тем более грандиозным, что он совершался не в тиши и уединении, где естественно созревают многие философы, но среди бурь и треволнений жизни, в постоянной опасности преследований и нового изгнания, в изнурительном труде врача, отнимавшем у Маймонида большую часть драгоценного времени, которое могло бы быть посвящено размышлению и работе над сочинениями. Поистине удивительно, как удалось Маймониду осуществить свои творческие замыслы и оставить столь обширное и богатое литературное наследие. Читатель романа Ле Поррье последует за его

героем по всем этапам его скитаний, оценит жизненную правдивость описания тех стран, куда судьба заносила героя, и, возможно, задумается над современными ассоциациями с некоторыми событиями его жизни.

Вот Моше бен Маймон живет с отцом и братом в Фесе, пользуясь благосклонностью халифа, хитрого политика, и этот политик соглашается обдумать услышанную из уст рабби Маймона жалобу народа Израиля, имея при этом в виду в первую очередь собственные интересы: "Между континентами идет беспощадная борьба, одни рвутся на запад, другие — на восток... Этот народ (народ Израиля — *Н. П.*) живет на всех континентах, и я не отбрасываю мысль, что он мог бы быть посредником. Ибо наступит день, когда мы заключим мир, как того желает Аллах".

И все же герой романа признается, что не был счастлив в Фесе. Его смущала необходимость постоянно носить маску, держать втайне свою верность иудаизму, вере и обычаям отцов.

Когда вынужденный обман был раскрыт, семья Маймона покинула Магриб и на борту корабля отправилась в Эрец-Исраэль. Несмотря на короткое расстояние между Фесом и Акко, плаванье продолжалось четыре недели. Судно попало в жестокую бурю и едва не затонуло, но в конце концов благополучно достигло берегов Эрец-Исраэль. Впоследствии Рамбам и его потомки непременно отмечали два дня в году: день бегства из Феса — постом и трауром, день прибытия в Эрец-Исраэль — весельем и радостью. Но страна Израиля пребывала под властью чужеземных завоевателей-крестоносцев. Герой романа обуреваем сомнениями по поводу возможности возвращения народа Израиля в страну, "которая породила сильные поколения людей с их неистребимым желанием выжить. Сколько еще времени удастся нам продолжаться? Во всем мире вокруг нас сжимались

стены. Наше возвращение к истокам тоже было признанием поражения. Хотя еще в Писании нам было обещано возвращение как предвестие наступления счастливых дней, человеческие общества так же, как и реки, не способны повернуть вспять. Чужеземцами возвращались мы в страну, преобразованную другими умами и другими руками, не нашими. На месте наших умерших царств варвары устроили ярмарку хапуг. Я не мог уступить искущению и уверовать в то, что еще возможна милость Божия: слишком сильно болело у меня сердце из-за того, что я знал, и из-за того, что предчувствовал".

Ле Поррье ярко и исторически верно описывает пребывание семьи Маймонида в Стране Израиля, опустошенной и разоренной крестоносцами, которые превзошли жестокостью фанатиков ислама и, захватив Иерусалим в 1099 году, перерезали почти всех его жителей. Он описывает нищету и невежество немногих уцелевших евреев, замученных непосильным трудом, не оставляющим времени и сил для учения, убивающим всякие духовные потребности. Маймонид не мог в порабощенной и униженной стране осуществить свой замысел — написать великий философский труд, в котором был бы дан синтез Писания и учения Аристотеля; врачебная деятельность тоже оказалась здесь ни к чему. Одичавшим евреям Иерусалимского королевства не нужны были ни ученые, ни врачи. И семья Маймонида вынуждена была покинуть Эрец-Исраэль и переселиться в Египет. Но герой романа не впал в отчаяние оттого, что люди, ради которых он трудился, не поняли и отвергли его: "Иди! сказал мне мой внутренний пророческий голос. Возвращайся к твоим занятиям, к твоим размышлениям, к твоим сочинениям! Иди к твоим близким и принеси им в знак союза твою помощь, ничего не требуя взамен, ни покорности, ни признания, не спрашивая их, кто они и

откуда, но спроси, в чем их страдание, и если они
сто раз отвергнут тебя, приблизься к ним еще
раз, упорно и смиренно, не считая себя героем,
до тех пор пока они не поймут тебя и не
приемлют от тебя и добро и зло, и тогда ты
станешь тем, на кого уповают в беде”.

Ле Поррье гораздо ближе к исторической правде в изображении второй половины жизни своего героя, чем в изображении его “годов учения”. Здесь главное внимание уделяется медицинской практике Маймонида — области, в которой он приобрел огромную прижизненную славу. Автор создает замечательно живой образ султана Салах ад-Дина, придворным врачом которого стал Маймонид, образ властителя, сотканного из противоречий, — одновременно благородного и жестокого, щедрого и скупого, бескорыстного и алчного. Писатель вводит в повествование эпизод, созданный воображением, но полный глубокого смысла: отвоевав у крестоносцев Иерусалим, Салах ад-Дин отдает его в дар своему врачу: “Я дарю тебе этот город, — сказал он торжественно. — Я дарю тебе земли Иудеи и Иордана до моря. Я дарю их тебе, дабы они были твоими и дабы ты вернул их твоему рассеянному народу”. Но герой романа, потрясенный решением султана, отказывается принять этот драгоценный дар, ибо сыновья Салах ад-Дина (“тряпки и ничтожества”, по словам отца) захотят отобрать его, а у еврейского народа не хватит сил противостоять им. Значит, дар дается слишком рано. “Наступит день, Юсуф, и обещание осуществится, ибо оно переходит от отца к сыну в течение тысячи лет и более, оно найдет свое время, оно найдет своих людей. Но не сегодня. Но не меня”.

На заключительных страницах романа старый и больной Маймонид, вынужденный посвящать почти все свое время попечению о здоровье наследника

Салах ад-Дина, так оценивает труд своей жизни: "Ввести Бога в разум и разум в Бога — это безумный замысел. Честолюбивый и робкий, я недалеко зашел в этом безумии. Нет, лев и овца не спят вместе. Я не придумал ничего нового; да и как мог я сделать это?.. Я только ввел в свое полное терзаний существование одну своеобразную черту, древнюю, как судьба Израиля: я сумел сохранить и передать другим, наперекор всем бурям и ураганам, самую сокровенную часть самого себя".

* * *

Духовное наследие Маймонида неоднозначно: строгий рационалист и систематизатор, он был непреклонным ревнителем соблюдения всех предписаний Галахи и главой еврейской общины Египта, пользовавшимся безусловным авторитетом у самых ортодоксальных евреев в различных частях диаспоры. Вместе с тем, его наследие было принято еврейством не целиком и стало предметом ожесточенных споров.

Если Талмуд приводит различные, часто противоречащие друг другу высказывания разных законоучителей, то "Мишне Тора" формулирует по каждому вопросу одно обязательное решение. Такой подход к многовековому наследию еврейской религиозно-правовой мысли породил во многих кругах еврейства сильную оппозицию. Кодекс Маймонида не сумел занять место Талмуда.

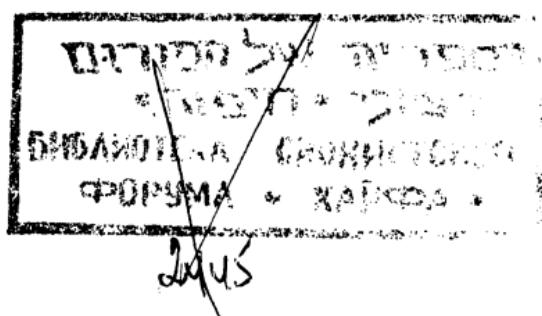
Но еще более серьезную и продолжительную полемику вызвал философский труд Маймонида "Море невухим". Для многих было неприемлемо его стремление примирить философию аристотелизма с еврейской традицией; особенно много возражений вызывал его метод аллегорического толкования библейских сказаний и антропомор-

фических выражений. Многие не соглашались с его интеллектуалистической концепцией воскресения мертвых, с мнением Маймонида, что обучение Торе должно осуществляться безвозмездно.

Произведения Маймонида еще при его жизни приобрели и восторженных сторонников, и ожесточенных противников. Спор о наследии мыслителя продолжался и после его смерти. Лишь вмешательство католической инквизиции, которая подвергла книги Маймонида сожжению, заставило умолкнуть многих из его противников. Произведения Маймонида остаются по сей день важной и неотъемлемой частью еврейского духовно-религиозного наследия.

В настоящее время издательство "Библиотека Алия" подготавливает к печати антологию избранных фрагментов из произведений Рамбама: "Мишне Тора", "Море невухим" и др. Мы надеемся, что роман "Врач из Кордовы" пробудит у читателей желание познакомиться с произведениями этого удивительного мыслителя, о котором в еврейском народе сложилась поговорка: "От Моше и до Моше не было такого Моше"**.

Н. ПРАТ



*Поговорка подразумевает, что после великого Моисея (Моше) Библии не было в еврейском народе человека, подобного Моше бен Маймону.

עיריית חיפה

1925-1926-1927-1928-1929
1930-1931-1932-1933-1934
1935-1936-1937-1938-1939
1940-1941-1942-1943-1944

765

КНИГИ СЕРИИ "БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"

- 1—2. Леон Юрис. ЭКСОДУС
3. Д-р А. И. Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арье (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е. Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6000000 ОБВИНИЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А. И. Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы
в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Ахарон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У. Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И. Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Аллон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. Дневник
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917—1967)
25. Ш. Й. Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести,
главы из романов
26. Элиэзер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Тувия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 2
30. А. Итай и М. Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С. Г. Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. Р. Губер. КНИГА БРАТЬЕВ

34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк
35. Дж. и Д. Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И. Башевис-Зингер. РАБ
37. Р. Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Аvigur. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
49. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
50. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
51. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
52. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО
53. Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА
54. МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в кибуцах
55. Джон Орбах. РИКША
56. Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ ЗА СВОЮ СВОБОДУ
57. Исаак Бабель. ДЕТСТВО и другие рассказы
58. Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
59. Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
60. Андрэ Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ
61. Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ ПЛАНЕТЕ
62. Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
63. Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
64. Макс И. Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ
65. Сол Беллоу. ПЛАНЕТА М-РА СЭММЛЕРА
66. ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ. Сборник:
И. Кауфман. Библейская эпоха; Л. Финкелстайн.
Еврейская вера и претворение ее в жизнь; Ш. Эттингер.
Корни современного антисемитизма
67. А. Суцкевер. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ
68. АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник

69. СКОПУС. Антология поэзии и прозы
70. Ури Дан. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ
71. Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ
72. Л. Коллинз и Д. Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!
73. М. Новомейский. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ
74. М. Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ
75. Ф. Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО
76. Ф. Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ
77. А. Шлионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА
78. Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ
79. Х. Н. Бялик и И. Х. Равницкий. АГАДА
80. ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
81. ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ: Б. Динур. Исторические основы возрождения Израиля; С. Дубнов. Письма о старом и новом еврействе
82. ЕВРЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ В ИСПАНИИ
83. Ханох Бартов. ВЫДУМЩИК
84. Гилель Бутман. ЛЕНИНГРАД—ИЕРУСАЛИМ С ДОЛГОЙ ПЕРЕСАДКОЙ
85. Жак Дерожи. ТАЙНА СУДНА "ЭКСОДУС-1947"
86. Цивья Любеткин. В ДНИ ГИБЕЛИ И ВОССТАНИЯ
87. М. Стейнберг. ОСНОВЫ ИУДАИЗМА
88. А. Кестлер. ВОРЫ В НОЧИ
89. Я СЕБЯ ДО КОНЦА РАССКАЗАЛА. Сборник стихов
90. Ада Серени. КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ
91. Иехуда Атлас. ХОТЬ НА ВИСЕЛИЦУ
92. М. Стейнберг. КАК СОРВАННЫЙ ЛИСТ
93. Н. Полетика. ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ
94. Эли Визель. ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
95. Альбер Мемми. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ
96. Шломо Авинери. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
97. МЫ НАЧИНАЛИ ЕЩЕ В РОССИИ. Воспоминания
98. Хаим Градэ. АГУНА (БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА)
99. Луи Финкелстайн. РАББИ АКИВА
100. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 1
101. Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 2
102. Муня М. Мардор. СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ
103. Феликс Розинер. СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА
104. Владимир Лазарис. МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА
105. Михаэль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 1

106. Михаэль Бар-Зохар. **БЕН-ГУРИОН**. Биография. Книга 2
107. ИВРИТ – ЯЗЫК ВОЗРОЖДЕННЫЙ. Сборник статей
108. Ахарон Аппельфельд. **ПОРА ЧУДЕС**
109. Гилель Бутман. **ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ**
И ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ
110. Голда Меир. **МОЯ ЖИЗНЬ**. Книга 1
111. Голда Меир. **МОЯ ЖИЗНЬ**. Книга 2
112. Василий Гроссман. **НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ**. Книга 1
Василий Гроссман. **НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ**. Книга 2
113. В ОТКАЗЕ. Сборник
114. Гершом Шолем. **ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ**. Книга 1
115. Гершом Шолем. **ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ**. Книга 2
116. Эфраим Урбах. **МУДРЕЦЫ ТАЛМУДА**
117. В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ. Сборник рассказов
современных израильских писателей
118. Владимир (Зеев) Жаботинский. **ВОСПОМИНАНИЯ**
119. Оскар Минц. **ПРИЗМЫ**
120. Игал Аллон. **ЩИТ ДАВИДА**
121. Моше Даян. **ЖИТЬ С БИБЛИЕЙ**
122. Иерухам Кохен. **ВСЕГДА В СТРОЮ**. Записки
израильского офицера
123. Исаэль Таюр. **СИНАГОГА – РАЗГРОМЛЕННАЯ, НО НЕПОКОРЕННАЯ**
124. Виталий Рубин. **ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА**. Книга 1
125. Виталий Рубин. **ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА**. Книга 2
126. Анита Шапира. **БЕРЛ**. Книга 1
127. Анита Шапира. **БЕРЛ**. Книга 2
128. Хаим Гвати. **КИББУЦ: ТАК МЫ ЖИВЕМ**
129. Виктория Левитина. **РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ**. Книга 1
130. Виктория Левитина. **РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ**. Книга 2
131. Януш Корчак. **ИЗБРАННОЕ**
132. Ашер Бараш. **ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ**
133. Ицхак Орен. **СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ**
134. Андре Неер. **КЛЮЧИ К ИУДАИЗМУ**
135. Ицхак Зив-Ав. **ГОВОРЯТ, ЕСТЬ СТРАНА...**
136. Эрбер Ле Поррье. **ВРАЧ ИЗ КОРДОВЫ**
137. **ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ**. Становление
и развитие. Книга 1
138. **ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ**. Становление
и развитие. Книга 2

ТРЕБУЙТЕ КНИГИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА
"БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"
ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ
РУССКОЙ КНИГИ

Наши книги можно заказать
также по адресу:
P.O.B. 4140
91041 Jerusalem
Israel

